

Кияс Меджидов
Сердце оставленное в горах

роман

Авторизованный перевод с лезгинского М. Тучиной

Москва, «Советская Россия», 1971

Кияс Меджидов — автор широко известных в Дагестане повестей, рассказов и пьес, многие из которых переведены на русский язык.

В романе «Сердце, оставленное в горах» рассказывается о жизни русского врача Антона Никифоровича Ефимова, о его большой дружбе с горцами. Действие романа охватывает период с конца прошлого века до установления на Кавказе Советской власти.

Доктор Ефимов был назначен начальником санитарного управления Самурского округа. В его обязанности входило медицинское обслуживание гарнизона русской крепости, но он добровольно взвалил на свои плечи заботу о жизни и здоровье населения всех лезгинских аулов округа и тем самым заслужил искреннюю и горячую любовь горцев. С первых же дней своей деятельности Ефимову пришлось столкнуться с местным мусульманским духовенством — опорой царского самодержавия.

Перед Октябрьской революцией доктор сближается с большевиками. Это естественное завершение его жизненного пути. Советскую власть доктор Ефимов принял как свою родную власть и до самой смерти продолжал трудиться на благо народа.

Молодость моя прошла в городе. Несколько лет я не был в Самурской долине Дагестана, где раскинулось родное село Ахты. Возвращаясь домой, остановился на ночлег в придорожном караван-сараяе. Была осень. Вечерело, или, как говорят горцы, ночь лезла в глаза. Усталые путники грелись у костров. Меня потянуло к огню, у которого сидели старый горец в черной папахе и мальчик лет двенадцати, вероятно, его внук. Старик неторопливо рассказывал что-то, время от времени поглядывая на серовато-розовые утесы горы Китиндаг, как одинокий страж стоящей на пороге нашей долины.

— Меня спрашивают, почему, отец, ты любишь только этой горой? — он вздохнул и посмотрел на внука. — А я отвечаю — все дети нашей долины любят Китиндаг. Оттуда видны все аулы лезгин. Еще прадеды говорили нам, что на Китиндаге жил и творил чудеса славный народный лекарь Лукманал Аким, исцелитель недугов человеческих. Когда лекарь умер, дух его остался жить на вершине горы... А потом переселился в русского человека, доктора Ефимова. В наших аулах его называли кашка-духтур — доктор с белой прядью. Вот так, сынок. Запомни и рассказывай людям.

Русское имя, так поэтично ожившее в народной лезгинской легенде, сразу напомнило мне детство. Всего сто шагов отделяло саклю моего отца от дома доктора Ефимова. Бегая с мальчишками вдоль ручья, я много раз в день видел доктора идущим по узкой улице, прозванной в народе «тропой кашки-духтура». Иногда мать водила меня в его лечебницу. Ни свадьбы, ни многочисленные народные праздники, ни похороны в Ахтах не проходили без доктора Ефимова. Круглолицый, с широкой седой прядью в русых волосах, он среди моих односельчан, черноволосых и худощавых, никогда не казался чужим, свободно говорил по лезгински и знал всех по имени...

Тут же, у придорожного костра, я дал себе слово записать все, что знали горцы об этом самоотверженном русском человеке, прожившем в наших горах долгие годы. Я искал и находил людей, знавших доктора Ефимова. С одними он дружил и работал, другим — спасал жизнь. О докторе мне рассказывали почти в каждом доме, а новая больница, построенная в годы Советской власти в Ахтах, названа его именем.

Я буду счастлив, если в моем романе люди увидят русского врача Антона Никифоровича Ефимова таким, каким его помнит мой благодарный народ.

Автор

Часть 1

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Таял предрассветный туман. Все яснее видел Алияр черную гряду гор впереди за перевалом. Подобно джигитам в черных бурках, они теснились плечом к плечу и ждали старого чабана. И дрогнуло сердце горца, рванулось, перелетной птицей понеслось к родному гнезду.

После долгих скитаний в азербайджанских степях вместе с сыном гнал Алияр отару домой. Торопился пройти трудными тропами, раньше других провести скот на высокогорные пастбища, где уже зеленели молодые весенние травы.

Теперь и не вспомнить, сколько раз за долгую свою жизнь, возвращаясь в родной аул, останавливал Алияр отару на ночлег вот здесь, у самой пасти дьявола — у перевала Салават. И каждый раз с тревогой, не смыкая глаз, ждал рассвета. Аллах свидетель, нечистая сила воздвигла этот перевал — дикие неприступные скалы, покрытые вечным льдом. Здесь обитают злые духи, творящие каменные обвалы, снежные лавины. И не обойти, не миновать опасной тропы чабану ранней весной на пути со степной зимовки в родные места. Нет другой дороги.

Жизнь Алияра клонилась к закату. Привычное прозвище — Авчи — ловкий и сильный охотник — еще держалось за ним, но все чаще и чаще горцы называли его почтительно — Алияр-буба. Что поделаешь, хоть и держится он молодцом, а за семьдесят перевалило. Его сверстники уже упрятали дряхлые немощные тела в бараньи тулупы. Сидят себе на киме возле мечети — излюбленном месте аульных сходок, греют на солнышке старые кости и, важно поглаживая белые бороды, учат уму-разуму безусых юнцов, вспоминают дедов и прадедов до седьмого колена, все их распри, все свои беды-тревоги. И тогда выцветшие глаза их поблескивают, как угли в тлеющем костре.

А вот он, Алияр-буба, все еще мается по белу свету, тянет ярмо чабана. Видит аллах, и ему пора на покой. Но прежде надо женить единственного сына, а там уж и подумать о спасении души.

В отца пошел Салман, такой же двужильный, работящий. А что оставит Алияр в наследство любимому сыну? Сколько лет прожил Алияр-буба, столько дорог исходил, столько труда положил, а вот оно, его богатство, на ладони поместится. Как ни старался Алияр, не удалось умножить стадо, оставленное ему отцом, непоседливым смекалистым Нурали, зычный бас которого до сей поры помнят в ауле. Придется и Салману смириться с судьбой, как полвека назад смирился с ней Алияр.

И все же не напрасно прожита жизнь. Салман — надежда и гордость старого Алияра-бубы... Только бы провести скот через дьявольский перевал. Неужели Первер-дигал, бог милосердия и благополучия, не пособит старому чабану? Аллах свидетель, нет в его стаде ни единого козлиного волоска, добытого нечестным путем.

Алияр-буба огляделся. Ночь, темная, как нечистая совесть, вроде бы прошла спокойно, однако в эту пору на горных тропах держи ухо востро. То проливные дожди, то ураганный ветер хизри, то волчьи своры подстерегают. Кажется, все продумал, все предусмотрел Алияр-буба. Прошлой ночью то и дело палил он из дедовского ружья холостыми зарядами. И зверь, и злой дух чувствуют, какой путник вступает в его владения — сильный или слабый, зрячий или слепой, осторожный или беспечный.

— Пусть понюхает, чем пахнет смерть, — приговаривал Алияр-буба, вдыхая едкий дым пороха и подымая собак на обход отары.

— Э-ге-гей!.. — кричал Салман в ночи.

— Э-ге-гей!.. — отзывался Алияр-буба, и в его голосе звучала былая удаль.

Звезды бледнели и угасали. Черные стены гор оживали и обретали лица, покрываясь могучими морщинами, а вершины надевали белые папахы.

Там, на высоте, проснулся шахвар — нежнейший из ветров — и покатился прохладной волной в долины и ущелья. Заворчали, посыпались с круч мелкие камни. Шум далекого обвала пронесся как вздох. Поднялись со скал встревоженные орлы. А шахвар, подразнив горы, унесся к морю, и все замерло вокруг, как в душе старца в минуту утреннего намаза. Солнце было уже близко, за соседним хребтом. Послышался робкий голос жаворонка, быстро окреп, наполнился радостью и вознесся в небо, возвещая рождение дня.

— Ну, вот и Салават... — сказал Алияр с тревогой, глядя на зияющую пасть перевала. — Собирай отару, Салман.

Салман молчал. Отара была готова. Овцы покорно выстроились цепочкой на узкой тропе за спиной чабана. Алияр-буба выпрямился и что было силы прокричал:

— Са-лам, са-лам, Са-ла-ват!

Раскатистое эхо облетело перевал и отвесные скалы над ним, ледниковые потоки в расселинах и черневшие копотью веков пропасти. Коварный Салават притаился.

Тогда Алияр-буба, не медля, начал спасительный обряд: прежде всего прочитал молитву. Потом несколько раз провел ладонями по щекам и седой, коротко остриженной бороде и, вытянув к перевалу руки, запричитал в голос:

— Салават! Помилуй нас, Салават! Дай дорогу без горя и слез! Салават! Ты наша надежда, Салават! Утихни, безжалостный дьявол, блудливый шайтан. — И вдруг схватил ружье и дважды выстрелил. Эхо опять запрыгало по скалам, но Салават молчал, обвала не случилось. На перевале тихо. Зловеща была эта тишина, и все же Алияр-буба вздохнул с облегчением.

— Да поможет аллах! — проговорил он дрожащими губами.

Тем временем Салман жег баранью шкуру, обильно поливая ее курдючным жиром. Лишь едким дымом, вонючим чадом можно то ли задобрить, то ли отпугнуть злых духов, обитающих здесь.

Алияр-буба взглядом поманил к себе сына, и они вместе молча зарыли у входа в Салават камышовый стебель с талисманом, умиряющим гнев самого свирепого духа. Наконец, все-все, что может смертный, сделано, прочитаны последние молитвы и заклинанья. И пошла отара Алияр-бубы на Салават, в его сырой мрак.

Кругом была желанная тишина. Однако любой шорох, падение камешка, даже шелест шахвара могли растревожить духов Салавата, так хитро запуганных выстрелами, усыпленных чадом и задобренных мольбами и молитвами.

Алияр-буба снял чарыки, остался в кемерах — шерстяных легких узорчатых носках. И пошел впереди отары по узкой, в две ступни, тропинке, извивавшейся по самому краю пропасти. Старик шел быстро, уверенно, маня за собой отару запахом душистых, хорошо пропеченных лавашей. Зоркий взгляд его спокойно, казалось, совсем равнодушно скользил по безжизненным крутым склонам с проплешинами от недавних снежных обвалов и как бы невзначай задерживался на глубоких спасительных гротах, выдолбленных горцами вдоль чертовой тропы.

Стадо, чувствуя опасность, присмирело, повинувшись Алияру-бубе. И лишь ленивый осел плелся позади всей отары, недовольно мотая туго перевязанной челюстью. Глупое животное могло взречь без причины в любой миг и разом спугнуть покорное и настороженное стадо. Тогда с отарой не совладать, полетят овцы в пропасть.

Приближалось самое опасное место перевала — Мужус, безобразная морда. Его ребристые скалы и утесы походили на стоголового дракона, подстерегавшего добычу. Алияр-буба, мысленно взывая к аллаху, ступил было в тень Мужуса, но тут протяжный гром расколол небо. И все вокруг наполнилось свистом и грохотом оживших камней.

— Даагул диш, берегись, Салман! — едва успел крикнуть Алияр-буба и бросился в щель под ближайший уступ.

Обвал наступал огромными каменными и снежными волнами. Небо показалось старику с овчинку, в двух шагах от себя он ничего не различал и только слышал бляение и рев обезумевшего скота. И вместе с ним завыл старый Алияр.

Отара погибла. Пропало все. Это конец... И другая страшная мысль пронзила его сердце, замершее от страха. Салман, единственный сын! Где Салман? Но каменный град не дал поднять головы.

Так же внезапно, как начался, обвал прекратился. Затихал Салават. Клубы пыли рассеивались и розовели.

— Салман! Салман! — в отчаянии закричал Алияр-буба. Слабая надежда услышать сына придавала ему силы.

— Отец... — простонал Салман где-то близко, и Алияр-буба с легкостью барса бросился на голос.

Салман лежал в гроте под скалой. Увидев отца, хотел подняться и не смог, схватился за ногу.

И по тому, как он замычал невнятно: «Нога!» — и по тому, как схватился за нее, понял старый горец: худо, совсем худо дело.

С трудом разул сына. Так и есть — кость видно...

Алияр-буба проворно размотал свой пояс и, присев на корточки, стал стягивать место перелома. Салман скрипел зубами, потом вдруг вскрикнул. Он увидел лицо отца, черное от каменной пыли и горя. И проговорил сквозь зубы, чтобы не разреваться:

— Отара, отец. Но ты не убивайся...

Плечи Алияра-бубы затряслись в беззвучном рыдании. Поникла седая голова. Слезы скатывались с усов. Он не стеснялся слез. Не отару, всю его жизнь раздавил и стер с лица земли обвал на Салавате. Ничего нет на тропе, кроме двух чабанских палок. Пуста тропа через Салават.

— Отец, — глухо сказал Салман. — Я еще буду тебе помощником... Не дай мне остаться калекой! Отвези меня в Ахты. Помнишь, люди говорили, там живет русский доктор. Они называли его кашка-духтур... Он, говорят, волшебник. Может, он спасет меня...

И так велико было горе старого чабана, что высохли его слезы. И впервые за свои семьдесят лет решился горец нарушить древний завет предков, который сильнее закона, — не просить помощи у иноверца.

— Хорошо, сынок, хорошо. Пусть будет Ахты... На моей голове грех.

Поднял беспомощного сына и на костлявой спине донес до родного аула. Дома пробыли недолго. Алияр-буба приложил к ране на ноге Салмана кусок сырого свежего мяса. И снова в путь — скорей, скорей.

Весть о беде, свалившейся на старого чабана, в мгновение ока разнеслась по аулу. Алияра не утешали, а без многих слов, без долгих споров сговорились собрать ему новое стадо. «Идя на Салават или с Салавата, и врагу подашь руку», — говорят в народе.

О том, что чабан повез сына в Ахты, пока помалкивали, будто никому не нужно и не любопытно было знать: зачем в Ахты?

Черный полог ночи уже навис над большим селом Ахты, центром Самурского округа, когда конь с двумя седоками ступил на главную улицу. Где-то рядом ворчала невидимая река.

Алияр-буба направил коня на первый огонек, но конь, сделав шаг-другой, стал как вкопанный. От резкого толчка Салман болезненно застонал. Алияр-буба ощутил резкую прохладу kloкочущей у ног воды.

— Больно, сынок?

— Ноет, отец, сил нет. Тянет, будто скала к ней привязана...

Вглядевшись в темноту, Алияр увидел нескольких мужчин, притаившихся за саманными стенами. Слабый, чуть пробивающийся из-за туч свет луны лишь подчеркивал любопытство в их глазах.

— Мир вам, люди! Скажите, ради аллаха, где тут у вас кашка-духтур?

Ответа не последовало, будто его не слышали. Алияр направил коня прямо к стене, повторяя приветствие. Наконец за оградой отозвались:

— Алексалам.

— Где тут доктор? Я вот сына привез, сломал ногу на Салавате.

Один из мужчин неуверенно, видимо, сомневаясь в том, что он делает, подошел к Алияру и молча повел к незнакомому дому.

В прихожей было не светлее, чем в душе Алияра-бубы. Придерживая Салмана, старик шарил свободной рукой по стене в надежде отыскать невидимую дверь. Вдруг она отворилась сама. Свет небольшой керосиновой лампы тускло освещал просторную, с низким потолком комнату. Русоволосый мужчина, еще совсем молодой, невысокий стоял возле ложа, которое Алияр-буба видел впервые.

Постель не постель, кровать не кровать, но — понял он — для человека. Для Салмана. Оно одновременно так притягивало и пугало своей свежей, словно первый снег в горах, белизной, что Алияр-буба не мог промолвить ни слова и только крепче прижал к себе Салмана. А русоволосый уже приближался к ним, и лицо его светилось успокаивающей добротой.

— Что, перелом? — на родном Алияру языке спросил русоволосый. — Берали, помогите...

Теперь только Алияр-буба увидел, что незнакомец был в комнате не один. Словно джин, возник перед ним молодой горец в странной белой одежде. «Свой», — мгновенно сообразил Алияр-буба и доверил ему свободную руку сына. Они вместе уложили Салмана на белое покрывало, и, глядя

то на русоволосого, то на Берали, Алияр-буба поведал свое горе. И теперь заметил Алияр-буба в волосах доктора широкую, в два пальца, седую прядь.

— Берали... лоток с инструментами! — сказал доктор после того, как Алияр-буба перечислил, наконец, имена аульчан, обещавших ему собрать новое стадо...

Старик то ли не расслышал, то ли не понял слова доктора и опять забеспокоился, увидев, что горец подает доктору маленькую посудину со множеством сверкающих предметов. Хотел было, но не посмел ничего сказать, замер.

— Перелом. Разрыв связок, отек, — говорил доктор, тщательно прощупывая ступню Салмана. Берали стоял рядом. Карие глаза его внимательно следили за каждым движением кашки-духтура.

— Просто не верится, что эти люди добрались до нас, вернее до вас. Салаватское ущелье так далеко отсюда...

— Да, это очень далеко, — озабоченно проговорил доктор. — Ну что ж, пойдем дальше...

Он осторожно размотал пояс Алияра-бубы, который туго перехватывал бедро Салмана, и отступил.

— Что это, Берали?

Алияру показалось, что доктор испугался. Старик тотчас же подошел к сыну, молча взял мясо, привязанное им к месту перелома, спрятал его за пазуху и вышел.

— У нас так делают, доктор, — сказал Берали. — Чтобы сохранить свежесть перелома. Теперь вам будет легче поставить кость на место.

Доктор ничего не ответил, казалось, все его внимание ушло в кончики пальцев, которыми он прощупывал ногу Салмана. Тот не сводил с доктора глаз, вздрагивая от боли и сдерживая стон.

— Держись, джигит, — сказал, наконец, доктор и весело подмигнул Салману. — Берали, гипс!

Во взгляде кашки-духтура опять было спокойствие, какое приходилось видеть Салману только у охотников в засаде.

Потом Салман стал все чаще и чаще поглядывать на отца, неслышно вошедшего в комнату. Беспокойный взгляд, обращенный к отцу, и какие-то странные движения привели доктора в полное недоумение. Он взглянул на Берали.

— Что с ним такое? Берали усмехнулся:

— Бедные люди, они не знают, чем вам заплатить, Антон Никифорович. Старик заехал домой, но, как говорят, в беде и самого себя забывают...

— Полно, полно, — прервал доктор. — Объясните им, пожалуйста, что я не беру платы. Объясните им, что я на службе. Мой долг — оказывать помощь. — И он подошел к Алияру-бубе.

— Вот и все, — весело проговорил доктор, — все обошлось благополучно. До утра побудете в крепостном лазарете. А там посмотрим.

Алияр-буба благодарно кивал головой в такт веселому голосу доктора, потом выскочил за дверь и тут же вернулся с невесть откуда взявшимся заросшим щетиной горцем. Они ловко подхватили Салмана на руки.

— Берали, проводите их, пожалуйста, в лазарет и попросите капитана Лазарева приютить до утра. А я что-либо придумаю.

В дверях Алияр-буба снял свободной рукой папаху, благодарно склонил седую голову.

Доктор погасил лампу. В синем проеме окна виднелись люди — в остроплечих бурках, в высоких папах, осторожно идущие за лошадь. Голоса их еще долго раздавались в ночи.

«Стало быть, там, в горах, уже прослышали обо мне?» — подумал Антон Никифорович.

Милая Наташа!

Совсем не трудно представить себе Ахты. Это твой маленький Тифлис. По склону горы Келе селение спускается к стремительным водам Ахты-чая, разделяющего аул на две части. Река напоминает характер местных жителей, упорных, решительных, но едва тронутых цивилизацией.

Ахты окружает цепь древних гор, увенчанная на востоке остроконечной вершиной Китиндага. Гора Келе с давних времен хранит селение как верный страж. Давным-давно в ее глубоких морщинах жители прятались от вражеских набегов. Название селу дал некий арабский покоритель этого горного гнезда в честь своей красавицы сестры Охты, которая умерла совсем юной.

Сакли лезгин, спадая к реке, так тесно жмутся друг к другу, что по крышам их можно ходить, как по ступеням. Жизнь местных жителей протекает на крышах — здесь работают женщины, играют дети, часто поет местный бард-ашуг.

«Коммерческая» часть селения более, разнообразна. По таинственным улочкам-лабиринтам слоняются деловые люди — купцы, менялы и просто бездельники. В праздничные и базарные дни этот квартал напомнил бы тебе тифлисский базар в миниатюре.

Русских в селении немного. Они все размещаются в старинной крепости. Крепость, если смотреть на нее с горы, напоминает огромный океанский корабль, стоящий на якоре у зеленого мыса, как раз в том месте, где сливаются местные реки — бурный Самур и стремительный Ахты-чай. Высокие стены, тяжелые железные ворота, прочные двухэтажные казармы цвета жженого кирпича придают нашему русскому форпосту весьма внушительный вид. Иногда я спрашиваю себя — не слишком ли много здесь солдат и зачем их тут держат? Как успел убедиться, дикарей тут нет. Местные жители живут трудно, но я не перестаю удивляться их трогательной дружбе меж собой. Свято чтут они свои неписанные законы и искренне считают, что позор одного из них падает на каждого.

Мой фельдшер Берали Ахмедов, о котором я тебе уже писал, местный уроженец, отличный мне помощник. Он при мне за все — и сестра милосердия, и верный спутник по горным аулам, и переводчик. Я положил себе выучить местный язык, в чем помогает мне Берали.

Жизнь моя, милая, течет по-прежнему замкнуто и постоянно омрачается полным отсутствием практики. И все же я не могу не сообщить тебе маленькую радость. В последнее время у меня появились здесь удивительные новые друзья и пациенты. А недавно случилось со мной происшествие, оставившее глубокое впечатление. Но о нем я напишу тебе в следующий раз.

Нежно обнимаю тебя,

твой брат Антон Ефимов.

9 января, 1899 года.

Ахты, Дагестан.
ГЛАВА ВТОРАЯ

День в русской крепости начался необычно шумно: палили три крепостные пушки. Старые ядра-гранаты взрывались в Гюнейских горах, подступавших к пенистому Самуру. Каждый выстрел слышался дважды: первый раз, когда пушка выбрасывала ядро, второй — когда оно разрывалось. Случалось, однако, что ядро лишь поднимало столб мелких камней. Тогда наблюдающий солдат тоскливо выкрикивал: «Осечка», а офицер делал пометку в своем блокноте. Неразорвавшиеся ядра полагалось обезвреживать.

Нельзя сказать, чтобы жители Ахтов равнодушно взирали на эту стрельбу. Одни посмеивались, другие почитали за благо довести до ближних, что за крепостной стеной вроде бы восстание. Самые дотошные пробирались поближе к крепости и залезали в прибрежные кусты Ахты-чая, чтобы своими глазами увидеть «настоящую войну».

Можно ли было упрекнуть в этом горцев, если даже гарнизонный поп, окруженный радугой зонтиков празднично разодетых офицерских жен, азартно следил за пальбой?

Тут действительно было на что посмотреть: ядра, уложенные возле пушек пирамидами, жерла, обращенные на запад, взрывы на горе, всего в полуверсте от крепостной стены. После каждого взрыва дамы из крепости дружно ахали. И, наконец, русский батюшка, с веселым, сияющим любопытством лицом. Такое ахтынцы видели не каждый день.

Наконец пушки смолкли и повернули остывающие жерла к аулу. После недолгой тишины крепостной плац опять задрожал — от тяжелой, тупой беготни ошалевших солдат. Дикие голуби, стаями носившиеся во время стрельбы над садами, теперь шарахнулись вниз к аулу, в широкую пойму Ахты-чая.

Сам начальник округа, полковник Брусилин, наблюдал за стрельбой, стоя у пороховых складов, растянувшихся по берегу. На одутловатом лице полковника, обычно суровом, с редкими, глубокими морщинами бывалого вояки, застыло выражение глубокого самодовольства. Казалось, полковнику удалось решить важную стратегическую задачу. Он-то и придумал это дело с расстреливанием старых ядер. Не так для гарнизонной надобности, как для острастки горцев. На всякий случай, мало ли что взбредет в головы этим лезгинам.

Когда последние, редкие залпы смолкли, полковник грузно повернулся к внутренней стороне крепостного двора. Отсюда ему как на ладони было видно, точно ли исполняются его приказания.

Батальон был разбросан по плацу. Одна из рот по визгливой команде унтера: «Коли!» — с жестоким усердием протыкала висевшее на столбе туго набитое чучело, другая училась быстро оседлывать коня. У оружейных складов чистили винтовки. Большая часть солдат маршировала вокруг крепости, отработывая особый строевой шаг, чрезвычайно редкий, высокий и твердый. То тупой звук барабана, то унылая солдатская песня оглашали плац.

— Каковы морды, распустились! — вскипел полковник и подозвал к себе унтера.

— У вас что тут, похороны, я вас спрашиваю? — Лицо полковника приняло свирепое выражение, отчего подлетевший унтер не мог вымолвить и слова.

Брусилин, однако, гаркнул:

— Мо-лч-чать! Здесь, в горах, солдаты должны петь так, чтобы их было слышно в России! — и пошел прочь, насладившись видом солдатского страха и унижения. Унтер отдал честь удаляющейся спине полковника и бросился бегом к роте.

Брусилин прошелся по крепостному валу, по-хозяйски оглядел принадлежавшие крепости уголья, считая себя ответственным за все перед богом и государем.

За рекой шла косовица. Шеренга солдат, раздетых до пояса, загорелых дочерна, одновременно, словно по команде, вонзала косы в высокую траву.

Обойдя вал, Брусилин вступил на вымощенную камнем дорожку, ведущую к главным воротам крепости. Часовой на дозорном мостике ел глазами приближающееся начальство и, дождавшись момента, когда полковнику осталось пройти не более двадцати шагов, крикнул:

— Открыть ворота его высокоблагородию!

Пока двустворчатые железные ворота крепости со скрипом открыли, полковник вперил немигающий взгляд в надпись над воротами. Вверенная ему русская крепость стояла здесь полвека.

«1839 года. В царствование императора Николая 1-го. Выстроена командиром Отдельного Кавказского корпуса генералом от инфантерии Евгением Головиным-1».

Часовые отдавали честь полковнику, отводя винтовки в сторону на всю длину руки.

Коротким движением Брусилин осенил себя крестом, обратив взгляд к церкви, стоящей внутри двора против крепостных ворот. Возле церкви журчала прохладная струя подземного родничка, обложенного камнем. Благоухал цветник, за которым солдаты следили с не меньшим усердием, чем за собственными ружьями. За цветником, в глубине двора приютился маленький удобный домик с многочисленными кладовками и погребями. Там обитал духовный отец солдат, многодетный крепостной поп.

Дверь в дверь с церковью размещался офицерский корпус, где вместе с семьями квартировали господа офицеры. Солдатские казармы располагались в толстых каменных стенах крепости. А за казармами тянулись длинные ряды оружейных и пороховых складов.

Полковник знал, что господам офицерам не нравились его набег в крепость, но тем чаще совершал он их по одному ему известной системе. Брусилин любил военный порядок и искренне верил в его могущественную силу. Осмотрев столовую и пекарню, он, как всегда, зашел в лазарет лично проверить, нет ли там мнимых больных, отлынивающих от службы.

Полковника встретил бледный, с землистым лицом санитар. На ходу поправляя халат, он тотчас вынес из боковушки большую, туго переплетенную и прошитую для прочности бечевкой книгу. Брусилин не пошел в палаты, а присел на табурет в длинном и темноватом коридоре. Наугад раскрыв страницу этого больничного реестра, он перелистал несколько страниц и, наконец, добравшись до свежих записей, стал читать их. Его короткие пальцы медленно двигались от фамилии до записи диагноза, который полковник прочитывал вслух. Санитар, стоя навытяжку, косил глазами, стараясь уследить за движением руки начальства. Увидев, что полковник проверяет последнюю страницу, санитар облегченно вздохнул. И вздрогнул от грозного окрика:

— А это что такое? — Брусилин словно пригвоздил пальцем последнюю запись и, багровея, уставился на санитаря. — Что за перелом, почему мне не доложили? Из какой роты этот прохвост?

Грозный бас его заполнил огромный коридор и прорвался за прикрытые двери больничных палат.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, — отрапортовал санитар. — Это горец.

Брусилин пришел в ярость. Он и мысли не допускал что здесь, в его крепости, в его лазарете...

— Кто приказал?

— Но могу знать-с, ваше высокоблагородие.

— Вызовите сейчас же капитана Лазарева, — отрубил Брусилин и в гневе швырнул реестр на стол.

Через минуту перед ним предстал капитан Лазарев. Брусилин досадливо сморщился, когда начальник лазарета вскинул руку, чтобы отдать честь.

— Что сие означает, капитан? Давно ли наш лазарет превращен вами в богадельню для всякого сброда, который завтра может пустить в вашу башку пулю, черт вас задери! Да знаете ли вы вообще, капитан, для чего стоит здесь наша крепость и для чего здесь мы, и вы в частности?

Капитан хотел было что-то ответить, но выслушивать объяснения подчиненных, особенно в минуты разноса, не входило в правила полковника Брусилина.

— Отвечайте, капитан, зачем вы приняли этого горца? Или я сделал вам распоряжение на этот счет?..

— Горец доставлен сюда ночью с фельдшером от Антона Никифоровича Ефимова. Только до сегодняшнего утра, под обвал попал...

— Немыслимо! Разврат! Извольте немедленно убрать его вон! — гремел Брусилин. — И приказываю впредь не превращать лазарет вверенной мне крепости в богадельню. — Он сделал длинную внушительную паузу. — А с Ефимовым я сам объяснюсь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Проснувшись рано, Антон Никифорович выглянул в сад. Там буйствовала весна. В пыльной зелени деревьев мелькали золотистые перья иволги, черешни у изгороди украсились тяжелыми темно-красными серьгами. Затем он вошел в комнату, приспособленную под столовую, и остановился, изумленный.

Старинный, хорошей работы овальный стол, бог весть где его раздобыли, сиял белизной свежей скатерти. Чего только не было на этом столе, привыкшем к скромной еде одинокого мужчины! В белом фаянсовом кувшине желтело топленое молоко. Холодное мясо, аккуратно нарезанное, лежало на небольшом блюде рядом с десятком свежих яиц и щедрым куском масла в мелких капельках влаги...

В соседнем саду Антон Никифорович заметил Шаселем — жену соседа Абдулкерима. Придерживая руками ветви черешни, она давно поджидала доктора. Встретившись с ним взглядом, приветливо улыбнулась и не без труда проговорила по-русски:

— Кушайт, кашка-духтур, кушайт, пожалуйста!

Доктор поклонился женщине и достал из кармана бумажник.

— Нет, нет! — закричала Шаселем. — Ты наш гость!.. — Она нахмурила темные брови, отпустила ветки и скрылась. Ефимов смущенно развел руками. Позавтракав, он отправился в лечебницу. Низкий старый дом на берегу Ахты-чая, казалось, не имел никакого отношения к строгой надписи на двери: «Лечебница». Признаться, и сам доктор не мог привыкнуть к ее жалкой обстановке. Громоздкий буфет, где приходилось хранить лекарства, постоянно раздражал его своим кухонным видом. Разрозненный и устаревший хирургический набор лежал в правом ящике буфета, точно столовые приборы, забытые кухаркой... И лишь кушетка, настоящая больничная кушетка, совсем новая, скрашивала убогость двух комнатушек.

К ней Антон Никифорович относился с особой нежностью, как к близкому существу, и каждый день ревниво проверял ее чистоту.

Кушетка пустовала до вчерашней ночи, когда старый чабан из Хнова привез в лечебницу первого пациента. А сегодня на кушетке лежал рослый горец в папахе. Глаза его закрыты, на лице смертельная бледность.

— Вот, доктор, подобрал на базаре чуть живого, — объяснил Берали, хлопотавший возле больного, — я думаю, он отравился.

Антон Никифорович склонился над больным, выслушал сердце и с улыбкой коснулся рукой его огромных, черных усов.

— Взгляни, Берали, на усах крошки воска. Виной всему безобидный мед. Наелся меду, а потом напился холодной воды. Сейчас он придет в себя.

И действительно, вскоре детина начал подавать признаки жизни, зашевелился, открыл глаза. Увидев двух незнакомых мужчин в костюмах с блестящими медными пуговицами, пугливо осмотрелся, видимо, приняв их за полицейских. Поднялся, поправил папаху и пошел к двери.

— Что же это, Берали, он, может быть, немой? — удивился доктор.

Подожди, любезный! — крикнул Берали. Я ни в чем не виноват, господин, отпустите меня, — выпалил детина скороговоркой. Берали с досадой цокнул языком.

— Эй-й, пойми ты, мы врачи. — Берали нравилось, когда ему представлялся случай говорить о себе и докторе — «мы». — Чего ты трясешься?

— Сколько же ты съел меду? — спросил Ефимов по-лезгински, чем совершенно ошеломил больного.

— Меду? Виноват, уважаемый доктор... И как вы только узнали? Я съел кувшин меду. Мед способен пинать семь болезней — так у нас говорят старики, доктор. Потом пошел к реке, баллах, сколько я выпил воды, раздулся, как барабан. Потом ничего не помню.

— Мед отличное лекарство. Но не следует забывать, что мы люди, а не медведи.

Лицо горца просветлело.

— Да поможет вам аллах! — Он порылся в карманах и сокрушенно развел руками. — Клянусь, у меня нет ни копейки.

— А мы и не спрашиваем денег. Ступай с богом! — сказал Антон Никифорович, прошел во вторую комнатушку и сел у окна. Через несколько минут после ухода незадачливого сластены во дворе появилась маленькая лезгинка, девчушка лет семи. На ней было праздничное, но уже потертое бархатное платье, отделанное нитками дешевых стеклянных бус, и мягкие шерстяные узорчатые джурабы на ногах, какие носили здесь почти все женщины и мужчины. Мягко и плавно, как умеют ходить только лезгинки, будто и не касаясь земли, она приблизилась к окну и молча протянула доктору букетик ранних альпийских фиалок. Как только цветы оказались в руках доктора, загадочное существо, тряхнув иссиня-черными волосами, исчезло. Оторопевший доктор окликнул было девочку, но тут увидел в приоткрытой калитке саманной изгороди совсем взрослую девушку лет шестнадцати. Кашемировая вишневая шаль с головы до ног обнимала ее тоненькую фигуру.

Антон Никифорович поспешно вышел во двор.

— Кого ты ждешь, милая девушка? Может быть, ты больна? Ты ко мне?

В ответ послышался тяжкий вздох. Девушка не вымолвила ни слова, хотя доктор говорил на ее родном языке. Она пристально посмотрела на доктора с немой мольбой, поправила свою шаль, зазвенев серебром, украшающим рукава платья, низко опустила голову и пошла прочь по безлюдной улице.

Антон Никифорович, с цветами в руках, провожал девушку взглядом до тех пор, пока она не скрылась. Он решительно ничего не понимал, хотя несомненно к нему приходила девушка.

Может быть, он ей что-нибудь не так сказал? Здесь женщины пугливы, как горные серны. Или это подвох, проделки хитрых мулл?

Наконец, из дома вышел Берали. Он молча выслушал озадаченного доктора, и смуглое лицо его округлилось в улыбке. Берали взял у доктора букетик и жестом фокусника извлек оттуда записку. Развернул и молча протянул ее Антону Никифоровичу.

«Уважаемый доктор! — читал доктор по слогам, хотя записка была написана по-русски. — Я очень несчастна, у меня под рукой уже давно большая страшная рана. Она невыносимо болит. Умоляю вас, уважаемый доктор, помогите мне, бедной».

На этом записка кончалась.

— Послушай, Берали! Но здесь нет ни слова о том, кто эта больная! — Досадуя на себя, Антон Никифорович махнул рукой.

— Прошу прощения, уважаемый доктор, пожалуйста, взгляните сюда. Неужели вы не узнаете почерк одного из наших знакомых?

— Панаха? — теперь только Антон Никифорович увидел, что записка действительно написана рукой недоучившегося юриста Панаха, который прирабатывал на лишнюю чарку тем, что писал различные бумаги, письма и жалобы по просьбе неграмотных односельчан. Несколько таких бумаг попало и в руки доктора на базаре.

— Да, но кто его попросил, а? — Берали помедлил и посмотрел на доктора. — Джа-а-а-вад! Спросите, зачем? А затем, чтобы никто в ауле не знал, которая из девушек обращалась к вам. Джавад, конечно, не назвал Панаху имя девушки. А для того, чтобы вы все же знали, кто она, больная девушка появилась здесь сама. Это для нее менее опасно, чем написать свое имя в записке.

— А кто этот Джавад?

— О, узнаете!

На соседней улице послышался скрип колес, и через секунду к дому подкатил санитарный фургон из крепости.

— Доброго здоровья, Антон Никифорович, — соскакивая на ходу, приветствовал доктора невысокий русский офицер в мундире капитана медицинской службы. — Ну, история случилась, я тебе скажу, из-за твоего пациента. Я устроил его, как ты просил. Но явился сам... Ты же знаешь их высокоблагородие. Разнос. И слушать ничего не хочет. Ты уж извини, я привез черкеса к тебе.

— Он не черкес, Лазарев, он лезгин. Из очень далекого аула. Отец его уехал в горы еще ночью. Придется взять больного к себе.

Подойдя к фургону, Антон Никифорович обратился к Салману:

— Не волнуйся, дружок, у меня тебе будет спокойнее, иной больницы в округе нет.

Услышав слова кашки-духтура, переведенные ему Берали, Салман смутился и покраснел. Мог ли мечтать бедный горец о такой чести?

Ученый фельдшер хлопотал возле него, давая последние наставления:

— Вот тут на табуретке ты найдешь еду и воду, если захочешь пить. Вставать не вздумай, доктор рассердится. А к вечеру мы вернемся, едем в соседний аул.

Салман остался один. Ему было боязно. Он вырос далеко в девственных горах, куда не ступала нога иноверцев... Потом все заслонило такое доброе лицо доктора, боль утихла. Салман крепко заснул.

Проснувшись, Салман понял, что проспал немало. Вечерняя заря пылала на вершинах гор. Причудливые желтовато-красные отблески ее проникали в незнакомую комнату. И все вокруг показалось Салману еще более таинственным и непонятным, чем прежде. Салман весь обратился в слух. Из открытого окна неслись звонкие детские голоса, перекрывая шелест молодых тополей, где-то далеко слышалась песня девушек. Но дом, который приютил Салмана, был пуст, не отзывался ни единым звуком. Когда стены комнаты засеребрились светом восходящей луны, Салман услышал топот лошадей, и дом ожил, Кашка-духтур вошел к Салману, положил руку на его лоб:

Прекрасно, мой друг. Жара нет.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Майдан, как называли лезгины огромную базарную площадь, гудел с раннего утра. Караван верблюдов, прибывший с нефтью из Баку, важно вступал в огромные ворота. Бронзовые от загара, погонщики в разноцветных шароварах, восседа меж горбов, презрительно поглядывали на арбы с углем и зерном. Крики, музыка, бляенье овец, шум дикого Ахты-чая — все это сливалось в единый однообразный гул, свойственный только южным базарам.

Щурясь от слепившего солнца, Антон Никифорович и Берали медленно продвигались вдоль прилавков с бесчисленными замысловатыми пирамидами яблок и груш, пастилы, кураги и кишмиша. Все сияло здесь поистине восточной яркостью красок. Но придирчивый взгляд доктора выхватил невычищенные от нечистот ямы у караван-сараев. Бездомные кошки и собаки рылись в них, растаскивая грязь. Площадь не подметалась по меньшей мере неделю.

Со словами «Позовите базарного!» Антон Никифорович подошел к огромным кулям с пшеницей, надежно скрывавшим толстяка-карлика в огромной папахе. Она свободно вместила бы три головы своего владельца. Берали перевел карлику приказание доктора, и тот послушно исчез вместе со своей необъятной папашой.

— Теперь я убедился, Берали, что мы слишком редко бываем здесь. Мне кажется, папаша не узнала нас, хотя я заметил ее в прошлое воскресенье. Непременно надо взять в правило бывать здесь каждые три дня.

Базарный так и не явился, прислав вместо себя гонца, местного стряпчего Панаха. За ним понуро шествовала папаша. Щуря мутные от попок глаза, Панах подошел к доктору вплотную и бесцеремонно затряс его руку.

— Уважаемый доктор, сам аллах услышал мои молитвы и послал вас навстречу мне. — Он кокетливо подбоченился. — Сегодня вы мой гость.

— Благодарю вас, любезный Панах. Но чем я обязан, право? — полюбопытствовал Антон Никифорович, явно не скрывая своего раздражения.

— Просто так, уважаемый доктор, без повода. — Панах высоко вскинул голову и заученным жестом покрутил свои заметно поредевшие усы. — Удачно решилось в дуван-хане дело одного уважаемого барановода. А ягнят у него сколько звезд в ночном небе. Подарить нам одного черного ягненка для него, все равно что вырвать одну-единственную щетинку из шкуры кабана. —

Панах беззвучно, противно рассмеялся, прикрыв рукой рот. — А наши мудрые лезгины говорят, что, съев черного ягненка, можно избавиться от грядущих бед. Проверим народную мудрость, доктор, а заодно полакомимся черным ягненком, который так и не отведал вкуса трав.

Последние слова Панаха окончательно вывели доктора из себя. Ему вдруг живо представился этот жирный «юрист» с маленьким молочным ягненком в руках, и он, не говоря ни слова, пошел дальше.

— Куда же вы, уважаемый доктор, мы пойдем в сад...

— Я на казенной службе, любезный Панах, и мне сейчас недосуг, — сухо отрезал Антон Никифорович, не замедляя шага и не оборачиваясь.

Тучный Панах еле поспевал за ним.

— Пусть будет по-вашему, уважаемый доктор. Но убедительная просьба — не тревожьте моего дядю. Эта новая мода на базаре — мыть весы — совсем расстроила его здоровье, и без того слабое.

Антон Никифорович вспомнил плутовскую рожу базарного.

— А я и не знал, что базарный ваш дядя. Хотя вы, право, похожи. Передайте ему, что на этот раз непременно наложу на него штраф и за весы, и за грязь на площади.

Разумеется, неудавшийся юрист не пошел к своему названому дяде-базарному, а напрямки отправился в ближайшую чайхану пригубить вина. Совсем недавно Панах возвратился из Петербурга с обтрепанным чемоданом. Однако скудный запас юридических знаний и незавершенный курс наук не мешали ему держаться горделиво и даже надменно — он ведь знал грамоту и среди темных своих аульчан чувствовал себя едва ли не магистром. Неграмотные люди умоляли его писать прошения и заявления. Но много ли возьмешь с этих нищих? Пришлось Панаху побегать и поклоняться, чтобы получить более доходное место адвоката при судебном дворе царского наместника — дуван-хане.

С видом оскорбленной невинности Панах раздумывал, как бы погорше насолить своему обидчику. «Какой я осел! Не узнал имя той девушки, для которой писал записку Джаваду. Эта дрянь хочет лечиться у русского. Ну, я им покажу, кто такой Панах и его дядя! Сам пойду к кадию, мулл натравлю и весь джамаат!»

Между тем на базарной площади наводился порядок. Скот был закрыт в отгонных дворах, арбы отведены далеко от прилавков, несколько здоровяков усердно подметали площадь. Огромная папаха карлика металась из конца в конец.

Антон Никифорович стоял под железным навесом у весов и смотрел, как их моют.

— Как они не понимают, что мыть весы совершенно необходимо, — вздыхал он. — Немыслимо, но ведь здесь приходится взвешивать и кули с пшеницей, и бурдюки с керосином, и рис, и нефть, и уголь.

Когда весы заблестели, солнце уже стояло в полуденном зените. Чабаны из далеких горных аулов, крестьяне из ближних селений, охотники, набив товарами и продуктами свои цветастые ковровые хурджины, повалили в караван-сарай.

Торговля заканчивалась.

Решив, что им уже пора в лечебницу, Антон Никифорович и Берали направились к выходу. Но тут из-за базарной стены раздался отчаянный, душераздирающий зов о помощи.

По каменистому берегу Ахты-чая в смертельной схватке катались двое — молодой горец и огромная собака. Люди, наблюдавшие схватку, испуганно жались к базарной стене, приглушенно полз их ропот:

— Волк, волк! Бешеный волк, помогите, люди!

С налитыми кровью глазами, раскрыв багровую пасть, из которой шла пена, бешеный волк бросался на человека. Ловкому и изворотливому горцу на мгновение удавалось отрываться от него и с силой, которой мог бы позавидовать любой атлет, отскакивать в сторону. Хватая камни, горец отбивался ими, одновременно пытаясь прорваться к воде. Но зверь мгновенно настигал жертву, и борьба завязывалась снова. Видимо, волк успел укусить горца — он был весь в крови. В тот самый миг, когда Антон Никифорович и Берали добежали до берега, горец, собрав последние силы, выпрямился и мертвой хваткой вцепился в мохнатое горло зверя. Волк рухнул на камни, подоспевшие с кинжалами мужчины добились его.

Горец с трудом приподнялся с камней, выхватил нож у одного из спасителей и, закусив губы, пытался вырезать следы волчьих укусов на своем теле.

— Остановись! Что ты делаешь! — закричал доктор, подбегая к горцу. — Я сам вылечу твои раны, прекрати сейчас же!

— Нет лучшего лекарства от укусов бешеного зверя. — Горец упрямо пытался освободиться от цепких рук доктора. Увидев рядом Берали, притих, выронил кинжал.

Антон Никифорович приказал разостлать бурку, добытую у одного из многочисленных свидетелей этого трагического зрелища, уложил на нее горца и велел нести его к себе. Косые, недоверчивые взгляды так и сверлили доктора, распорядившегося с раненым по своему усмотрению. Кто-то из женщин громко пророчествовал:

— Опомнитесь, добрые люди, не отдавайте Джавада этому кяфиру. Подумайте, что будет с ним через сорок дней. Он станет бешеным, несчастный, как этот проклятый волк, клянусь аллахом!

Горько было доктору слышать этот зловеющий ропот, но он понимал, что объясняться бессмысленно.

В долинах бурного Самура и пенистого Ахты-чая не было ни одного аула, где бы он не побывал. И то, что он видел там, в высокогорных селениях, потрясло его.

Нищий народ погибал от запущенных болезней. Умиряли не только старики, но молодые, гордые и красивые люди, подчиняясь жестокому мусульманскому адату, запрещавшему принимать помощь от иноверцев. Для больных горцев Ефимов не был врачом. Он был русским, кяфиром, его сторонились и отвергали. Стена суеверия отгораживала его от людей, и он попросту страдал. И как врач, и в сущности очень одинокий человек, сердце которого было распахнуто для всего страдающего человечества. Неужели он зря просиживал бессонные ночи над своими конспектами? Его знания, его ум и его руки, наконец, его бескорыстные высокие устремления ничего не стоили в сравнении с одной-единственной проповедью почтенного кадия. И все же так просто он не отступит перед этими кадиями, муллами, знахарками, перед всей этой темной сворой.

Пожалуй, она опасней бешеного волка. Судьба ему — сцепиться с этим зверьем не на живот, на смерть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Стройным тополем рос Джавад у бабушки Майрам, высокий, красивый. Ничего не жалела старая для своей кровинки — Джавада, единственного наследника самого древнего в ауле рода Терзияр. Много было в этом роду славных джигитов и чудесных умельцев. Но шли годы, и поредел славный род. Косила его то чума проклятая, то огненная лихорадка, то война на чужбине. Чудом выжил один лишь маленький Джавад, круглый сирота. Берегла его Майрам как зеницу ока,

кормила-поила, одевала-умывала, не расставалась с внуком и ночью, не могла налюбоваться нежным смуглым личиком, пухленькими ручонками и губами. Улыбались они даже в сладком сне. Правду говорят в народе, здоровье улыбается вечно. Был Джавад радостью старой Майрам, светом очей, надеждой и будущим.

Помнила Майрам гаданье бедного странника-дервиша. «Всякие семьи были, — сказал дервиш, — богатые, гордые и многочисленные, а и они погибли в войнах и болезнях. Оставались от них один-два беспомощных малыша. Но малышам этим, аллах свидетель, поклонялись потом небо и земля. Таков уж закон. Уцелеет после страшного пожара одно зернышко, и на месте пожарища через годы поднимется могучий лес. Живи ты, старая, ради этого зернышка, ради Джавада». С тех пор и жила Майрам по завету дервиша.

Но вот уж давно горько-горько на сердце у старой Майрам. Хочется ей плакать, да слезы сохнут, хочется облегчить душу словом, да язык отнимается. Пришел роковой день, рассталась она с Джавадом, сыном ее любимого сына. Недолго радовалась Майрам, глядя на первого красавца в ауле, возвращенного ею с пеленок. Покинул ее Джавад и ушел на чужбину.

Постучался к ней друг ее покойного сына, добрый сосед Кариб. Попросил отпустить Джавада с ним в Баку, обещал устроить там на нефтепромысел или к ремесленнику-мусульманину. «Вырос ваш малютка, уважаемая Майрам», — сказал Кариб. Майрам ничего не ответила Карибу, ни да ни нет. Всю ночь напролет думала, как удержать Джавада в ауле, чем бы занять тут, в родном гнезде. Но не умел Джавад ни сеять, ни пахать, ни торговать, ни мастерить. Чему могла научить его бедная старуха? «Пропадет свет очей моих, — решила Майрам, — сначала от безделья пропадет, а потом от нужды». Легко было кормить-поить маленького, много ли ему надо? А теперь не станет Джавад ходить в старой овчине и рваных кемерах, знает, что на свете есть хорошая еда и красивая одежда. Придется отпустить, да поможет аллах сироте.

Прощаясь, припала Майрам к широкой груди внука и проговорила в слезах:

— Стара я стала, свет очей моих, сегодня жива, завтра нет. Во всем слушайся дядю Кариба, он был другом моего сына и желает тебе только добра. Учись, сынок, ремеслу, мастеровой человек всегда заработает на кусок хлеба. И не забывай меня, свою бабушку Майрам.

— Все исполню, как ты просишь, — отвечал Джавад. — Ведь ты одна была мне и матерью, и отцом, жизнь моя принадлежит тебе. Разве могу я забыть тебя?

Улыбнулся Джавад и обнял костлявую Майрам. До сих пор чувствует она тепло его рук.

Уехал Джавад, а Майрам пошла в саклю и села к очагу.

Две сотни лет горит в бедной сакле Майрам неугасимый огонь, переходя от отцов к сыновьям, от дедов к внукам. Две сотни лет назад мудрый старик, зачинатель рода, сложил очаг и высек на сером камне, скромном украшении очага, такие слова:

«Быть в этом доме людям добрым и щедрым, как этот огонь. Пусть сердцами своими греют они несчастных, как греет их этот огонь. И проклят будет тот, кто откажет дрожащему от холода в тепле, голодному — в куске хлеба. И проклят будет тот, кто по нерадивости не сохранит огонь в этом очаге. Омин!»

Шестой десяток лет Майрам хранит священный огонь так же бережно, как сироту Джавада. Каждый божий день, чуть светает, выкопает из золы тлеющие угли и раздует пламя. А вечером пригасит, зароет угли в золу до утра...

Зайдут добрые соседи проведать старую Майрам — сидит она у своего очага, день за днем, год за годом, ждет своего милого сердцу Джавада.

Пара сытых коней послушно катила тяжелый фургон с высокими откидными бортами к железнодорожной станции Худат. Позади лежали тридцать верст извилистой горной дороги, которую одолели с трудом, спрыгивая на бесчисленных подъемах.

К вечеру остановились на ночлег в караван-сараяе Цюхляр — на перекрестке многих дорог. Джавад помог кучеру распрячь лошадей, отвел их в глинобитную темную конюшню, задал корма и выскочил во двор.

Впервые за всю дорогу заговорил с ним тогда Кариб.

— Вот так, сынок, начал свой путь на чужбину и отец твой, тысяча раз рахмет ему, царство небесное. В этом караван-сараяе ночевали мы с ним двадцать лет назад, когда первый раз покинули свои сакли. Здесь всегда ночевал и твой дед, тысяча раз рахмет и ему. И мы с тобой здесь послушаем шум родного Самура и напьемся не последний раз его чистой воды. И не горюй, сынок... Велик аллах, мы еще вернемся в родное гнездо...

Кариб привычно провел ладонью левой руки по бритой голове, по широкому лбу и пышной седине усов и долго смотрел на Джавада. А тот не мог наглядеться на розовеющие в вечерней заре вершины Шалбуздага.

Долго рассказывал Кариб о своей жизни на чужбине, где погиб отец Джавада. Не знал Джавад, что в той неведомой земле черного золота и тысячи огней, в больших городах Баку, Майкопе и Грозном маленькие Ахты давно славились дешевой рабочей силой. За самую черную работу брались горцы из Самурской долины, сильные и здоровые. Вручную рыли бездонные нефтяные колодцы, подводили фундамент под буровые вышки. И все безропотно, безотказно, не торгуясь с хитрыми подрядчиками нефтяных королей. Жили на промыслах одиноко, без семей — боялись оторваться от родной земли в горах, потерять свое, хоть и скудное, но хозяйство. Так и скитались по этой дороге горя и слез из года в год, из дома в город, из города домой...

Темнело, по реке Самур стелился туман. Бесчисленные фургоны, арбы и одинокие путники заполнили тесный двор караван-сарая. Разноязыкий говор людской смешался с ревом ослов, верблюдов и буйволов. Задымились костры, тесным кружком вокруг них собрались разные люди — лезгины, армяне, азербайджанцы, лакцы. Были здесь и торговцы из города, и рабочие, идущие на заработки, как Джавад, и бедные крестьяне, работавшие все лето на жатве у бека, и шерстобиты, и портные. Нет здесь только муллы, подумал тогда Джавад. А зачем ему идти на чужбину? Мулле и дома добро девать некуда.

Джавад заглянул в приоткрытую дверь чайханы караван-сарая. В дымном полумраке ее было шумно. Смеялись и курили постояльцы, гремел посудой чайханщик, гудели два пузатых самовара, трещали поленья в длинной глиняной печи, хлопотали два больших медных казана на ней. У входа в чайхану, на столбе висел зубастый собачий череп и пучок какой-то сухой травы — от дурного глаза. На стене висели саз и бубен. Посреди чайханы черный стол с грубыми, засаленными до блеска бревнами вместо ножек. У стены стояли в один ряд длинные лавки на столбах, врытых в земляной пол. Джавад вспомнил о лепешках, которые положила в хурджин бабушка Майрам, но услышал печальный голос ашуга и побрел по двору, разглядывая людей. У одного из костров сидел такой же, как и сам Джавад, безусый юноша. Тихо напевая, он вырезал на коре кизиловой палки замысловатые узоры и время от времени прижигал их на пламени. Джавад впервые услышал тогда удивительную песню о волшебной палке.

Будь мне добрым конем Тюлпером,

Когда я захочу обогнать облака,

Будь твердым мостом под ногами,

Когда я пойду через бездонную пропасть,

Будь мне мечом богатыря Шаверли,
Когда враги пойдут на меня,
Будь мне мудрым пером,
Когда я стану писать письмо любимой,
Будь мне всегда верным другом,
Любящим друга больше себя самого.

Голос юноши потонул в протяжном вое шакалов, стая все ближе подбиралась к караван-сараяу. Заморосил дождь. Костры потускнели, а люди, подхватив свои хурджины и чарыки, полезли под фургоны и арбы. Джавад отыскал Кариба, и они пошли ночевать под скирду сена на краю конного двора...

Семь долгих лет мыкал горе Джавад на чужбине. От зари до зари ворочал лопатой на нефтяных промыслах Нобея, куда определили его бакинские друзья Кариба. Не узнала бы бабушка Майрам своего соколика. Глинистая, липкая как смола земля свинцовой тяжестью сковала его легкие ноги, еще недавно топтавшие траву на альпийских лугах. Руки покрылись ранами и ныли от боли. Почернело нежное лицо.

Злой, голодный и обессилевший, оглядывался Джавад вокруг. И казался тогда себе ягненком, загнанным волками в черный лес. Не было конца этому страшному лесу, где росли чудовищные деревья — буровые вышки, ржавые — старые и заброшенные, черные — сосущие нефть, и серые — совсем новые. Не раз хотел Джавад бросить все, убежать к бабушке Майрам, подышать чистым, как святой родник, горным воздухом. Да совестился дядю Кариба, товарищей горцев, гнувших спины за жалкий кусок хлеба. Искоса поглядывали они на Джавада, когда отрывался он от лопаты в неположенное время, будто говорили — «И нам тяжело, сынок, да что поделаешь»... И работал Джавад наравне со всеми, и не было дяде Карибу стыдно за него.

А глубокой ночью тащились работяги в грязные лачуги, наспех построенные расчетливыми подрядчиками. Как убитые валялись на земляной пол, на тощие чувалы с морской травой. Тут же, у лачуг, и мылись, и стирались, тут же готовили пищу, в которой всегда плавали капельки нефти. Не мог привыкнуть Джавад к грязной лачуге, не спал по ночам.

Когда уехал домой дядя Кариб проведать своих, помочь в хозяйстве, не смог Джавад больше работать в страшном черном лесу. Бросил все. Ушел. Бродил без работы по всему Апшеронскому полуострову. Жил впроголодь, ночевал на морском берегу, убаюканный шумом прибора.

Наконец, прибился батраком в одно богатое хозяйство. Кожаным ведром из глубокого колодца поливал виноградники и огород, а зимой был на побегушках у хозяина в городе. Гроши получал Джавад, обеды со стола да обноски одежд хозяйских сыновей.

Но гордому сердцу Джавада, взлелеянному мудрой Майрам, тесно было в хозяйских хоробах. Опять бросил все, подался на промысел. Встретили его друзья-товарищи как родного, поделились последним куском хлеба. Среди своих, таких же, как он, бедняков, свободно вздохнул Джавад после хозяйских хором. Понял, что здесь и останется — на промыслах, где и словом рабочие друг друга не унижат. Перестал сторониться людей.

Присмотрелся и среди хороших — лучших заметил. Полюбился Джаваду его ровесник и земляк — Казимагомед Агасиев. Он помог Джаваду устроиться на постоянную работу тартальщиком, а потом не раз забежал к нему на буровую — проведать и ободрить. Молод был Казимагомед, а ума и смелости у него на троих хватило бы. Иной раз по вечерам собирал Казимагомед у лачуги, где жил, рабочих — лезгин, русских, азербайджанцев — всех, кого знал. Открыто возмутился

бесчинством подрядчиков. Говорил, что рабочие люди должны держаться вместе и бороться за свои права. «Когда мы вместе, никакая сила нас не одолеет», — повторял Казимагомед, и за правду, что была в этих словах, готов был Джавад жизни не пожалеть.

Только через семь лет попал Джавад в родной аул. Встретила его бабушка Майрам, словно не семь лет, а семь дней ждала, усадила у своего очага и, взглядевшись в спокойное, возмужавшее лицо своего внука, увидела, что сбылось предсказание бедного дервиша, — вырос из уцелевшего зернышка крепкий дуб.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сорок дней прошло с тех пор, как Антон Никифорович открыто пренебрег недовольством суеверной толпы и взялся лечить искусанного Джавада. Конечно, у доктора имелось официальное предписание из Петербурга, подтверждающее его высокое назначение в округе. Горец уважает бумагу с царской печатью. А если бы этот отчаянный Джавад все-таки скончался? Практическая медицина не исключает в таких случаях летального исхода. Нет, тут надо действовать осторожно, постепенно вводить лекарство против суеверий и диких адатов. Настойчиво, терпеливо, как подобает истинному медику, — и не поддаваться отчаянию.

Еще вчера Берали, блестя глазами, как заговорщик сообщил, что в каждом дворе люди шепчутся о чудесном выздоровлении Джавада. А сегодня Антон Никифорович и сам заметил потеплевшие взгляды и даже поклоны, обращенные к нему.

Против обыкновения он отправился на базар далеко за полдень, хотя придирчиво обследовал санитарное состояние площади только вчера. По словам вездесущего Берали, сегодня там давалось представление. Оно при достаточно пылком воображении вполне могло сойти за посещение театра, где уже так давно не бывал Антон Никифорович. Ловкий канатоходец Кирчи, прославленный по всей округе, кваса Баламет — местный шут и балагур, видимо, обладали такой притягательной силой, что сам Берали, верный, исполнительный Берали, уже давно исчез из лечебницы.

Над аулом висел огромный медный диск слепящего солнца, но порывы прохладного шахвара отгоняли зной в горы, и поэтому шагалось легко.

Тонкий и печальный звук зурны доносился откуда-то со середины базарной площади, а вся она ломилась от множества собравшихся здесь аульчан. Казалось, все жители покинули свои сакли и перекочевали сюда, облепив крыши близлежащих магазинов, абрикосовые и тутовые деревья на кладбище.

Базарный, завидев доктора, мгновенно бросился подбирать редкие клочки бумаги, оставшиеся, видимо, от утренней торговли и перед глазами Антона Никифоровича заплясала знакомая папаха карлика. Доктор не без удовлетворения отметил, что базарная площадь сносно чиста, как и дорожки, ведущие к скотным дворам и караван-сараям.

Почтенные старцы джамаата в полном составе важно восседали посреди площади в ожидании представления.

Обойдя величественных старцев стороной, Антон Никифорович направился в давно примеченную им сравнительно чистую чайхану и устроился там за столиком, тотчас освобожденным для него.

— Безбаш, ахтынская шурпа, бакинский пити — что пожелает почтенный джанаби, что значит по-русски господин? Или турецкий кофе? Вся моя кухня к вашим услугам. У меня есть даже припасенное для важных гостей — что, как вы думаете? Вино! Прикажите — и оно украсит ваш стол. Ваш покорный слуга Гаджимурад готов служить вам на цыпочках!

Человек, еще издали выпаливший одним махом всю эту тираду на чистейшем русском языке, маленькими легкими шажками приблизился к доктору и замер. Почтительный поклон явно свидетельствовал, что никакая на свете сила, кроме повелений джанаби доктора, не заставит его сдвинуться с места. Лицо Гаджимурада с маленькими усиками, воинственно торчащими над пухлыми губами, дышало домашней уютностью, и весь он, казалось, благоухал острым ароматом бесчисленных блюд своей чайханы.

Антон Никифорович рассмеялся и, поддерживая высокопарный тон чайханщика, сказал:

— Любезный Гаджимурад, я искренне тронут вашим гостеприимством, достойным самого падишаха. Пожалуйста, подайте мне ахтынскую шурпу и ахтынский чай.

Чайханщик выпрямился, хлопнул в ладоши, проговорил: «Диимез, диндирмез», что соответствовало русскому «всенепременно», и исчез.

Через две минуты перед доктором стояла ароматная шурпа, свежий пшеничный хлеб, перец и сумах в маленьких посудинах, названия которых Антон Никифорович не знал.

— Отведайте, джанаби. Шурпа приготовлена из чистой и молодой, как мое сердце, баранины. А известно ли вам, как готовится ахтынская шурпа? Берут большой казан, непременно медный, и закладывают в него мясо, нарубленное маленькими кусочками. — Гаджимурад не отказал себе в удовольствии показать пальцами, какими именно кусочками следует рубить мясо для шурпы, и только потом продолжал: — Мясо тушат с луком на медленном огне. Потом все это заливают кипящей водой и держат на огне до тех пор, пока мясо станет мягким. Сумах, красный перец, лук, маленькая травка кинза — вместо русской петрушки — и можете кушать ахтынскую шурпу, равной которой нет ни в Турции, ни в Азербайджане, ни в сказках тысяча и одной ночи, джумала джахан свидетель!

Глядя на доктора, Гаджимурад покрыл смачными поцелуями каждый палец на своей правой руке и отошел к открытой двери чайханы.

Пока Антон Никифорович ел вкусную шурпу, Гаджимурад наблюдал за тем, что происходило на площади. Шуткам, которые выдавал своим завсегдатаям весельчак-чайханщик, мог бы позавидовать столичный острослов. А те, дружным смехом отдавая должное остроумию Гаджимурада, с откровенным любопытством разглядывали доктора. Но Антон Никифорович не смущался. Как он успел убедиться, в маленьких селениях, где жители узнавали друг друга за версту, появление незнакомого всегда вызывало переполох.

— Гаджимурад, скажи-ка, брат, кого ты так щедро угощаешь? — спрашивал довольно громко сидящий у двери лезгин. — Он кто, чиновник из Петербурга, осчастлививший своим приездом наш и без того счастливый край? Почему же господина не накормили в крепости?

Его соседа, видимо, несколько смутила столь бесцеремонная речь. Ведь Гаджимурад, общий любимец Гаджимурада, не скрывал своей симпатии к незнакомцу.

— Прикуси свой язык, ты видишь, это благородный человек, не так ли, Гаджимурад?

— Друзья мои, я еще не удостоился чести близко познакомиться с ним, но надеюсь на это. Потерпите немножко, да будет ваша жизнь сладка, как мед в сотах, димез диндирмез. Аллах свидетель, господин русский доктор — хороший человек.

Гаджимурад взял со стола огромный поднос, расписанный по-восточному крупными, яркими розами, и удалился из чайханы.

Вскоре он возвратился и привел с собой известного всему аулу «духтура» Берали. Усадил его рядом с Антоном Никифоровичем, уставил свой огромный поднос чашками с горячим чаем и с ловкостью акробата, держа поднос на голове и покачиваясь в такт тонкой зурне, опять удалился.

А над площадью уже летел радостный гул. Восторженная орава босоногих мальчишек, еще издали завидевшая шута Баламета, неслась к месту представления, освобождая дорогу своему любимцу. Вслед за ними, кувыряясь через голову, колесом катилось лохматое чудище. Потешная маска из разноцветных кусочков войлока с рожками, ослиными ушами и грубо намалеванными красной басмой раскосыми глазами закрывала лицо квасы Баламета. Огромный рот в зловещем оскале, тоже намалеванный на маске, переходил в длинную, чуть не до пояса, приклеенную бороду.

Вздергивая время от времени ослиным хвостом, прочно пришитым к овчине, скрывающей ловкое тело квасы, чудище прошло в диком танце вдоль расступившейся толпы, взбежало по лестнице, ведущей в чайхану Гаджимурада, и словно подкошенное скатилось вниз по перилам.

Дружный хохот стоял на площади. Хохотали все — дети, взрослые, почтенные старцы. От души хохотал и Антон Никифорович, совсем отвыкший в этой глуши от зрелищ.

А Баламет между тем, довольный произведенным впечатлением, несколько раз повторил свой трюк, вновь и вновь взбегая по лестнице. Потом он затрясся всем телом, и овчина его дьявольски зазвенела и затрещала доброй сотней колокольчиков и погремушек, привязанных к длинной шерсти. Воздев руки к небу, кваса завопил:

— Кваса-Гаджи, родимый! Узнаешь ли ты своего родственника, своего младшего брата? Взгляни, он стоит под твоей дверью!

— Алейкум салам, брат кваса, наконец-то ты пришел! То-то я вижу, солнце взошло. Да пошлет тебе аллах тысячу тысяч счастливых дней и тысячу тысяч черных овец!

Гаджимурад почти пропел приветствие своему «младшему брату» и влил в его размалеванную пасть чарку водки, а потом сунул туда большой кусок жареного мяса.

— Надеюсь, ты помнишь наш уговор, джумала джахан, весь мир мой в тебе? — уже шепотом спросил Гаджимурад.

Чудище затрясло безобразной мордой и опять зазвенело дьявольскими колокольчиками.

Но публика уже не слышала ни последнего вопроса Гаджимурада, ни утвердительного ответа квасы. Она замерла, устремив взоры на известного по всему Дагестану канатоходца Кирчи.

Одетый в пестрый атласный костюм, акробат, ловко балансируя, поднимался по натянутому от земли канату на высокое сооружение, похожее на козлы, где лежала красная подушечка. Точно такая же подушечка лежала на земле, у того места, где начинался канат. Кирчи важно уселся на верхнюю подушечку и щелкнул пальцами. Тотчас его помощник подбросил один за другим два подноса, с быстротой молнии попавшие прямо в руки пехлевана. Кирчи осторожно уставил на канат оба подноса — одному богу известно, как ему это удавалось — и встал на один из них — одной, на другой — другой ногой.

— Брат пехлеван, куда же вы? — С балкона чайханы Гаджимурада снова раздался громовой голос неумного чудища. — Я хочу открыть вам одну тайну, но только вам одному. Слава аллаху, здесь никого нет!

— Я что-то плохо слышу вас, брат мой, говорите громче! — мягким, вкрадчивым голосом отвечал Кирчи, невозмутимо балансируя на подносах.

— Знаете ли вы, уважаемый брат, у кого хранятся чудесные лекарства от всех болезней? Знаете ли вы, кто спас жизнь нашему красавцу Джаваду — сироте бабки Майрам, искусанному бешеным волком на берегу Ахты-чая? — ревело чудище. — Нет, вы не знаете, брат пехлеван! Слава ваша носит вас то в Куба, то в Шеки, то в Ширван, то в Кюре, и вы редко заглядываете в наш аул. Но я,

так и быть, открою вам эту тайну. Вот он, чудесный исцелитель, взгляните на него. — И с этими словами чудище приблизилось к Антону Никифоровичу и, встав рядом, воздело руки к небу.

Менее всего доктор ожидал такого исхода этой забавной лезгинской клоунады. Смущенный, он не нашел ничего более подходящего, как дать чудищу ассигнацию.

В отличие от доктора Баламет ничуть не смутился. Он звучно чмокнул, приложив деньги к намалеванным губам, и покатился, кувыркаясь через голову, к тому месту, где продолжал изумлять публику пехлеван.

Когда музыка, сопровождавшая выступление акробата, смолкла, а сам он уселся на красную подушечку, Баламет опять завопил:

— Джамаат, джамаат! — Его намалеванные раскосые глаза обвели всю толпу. — И вы, безусые и безбородые, слушайте все и не говорите потом, что вы не слышали. Наш уважаемый русский доктор говорит так: «Поддаться болезни и умереть — не великое геройство, а непростительная глупость». Двери его лечебницы открыты для всех вас, как и огромное сердце доктора. Добрый человек, он будет лечить бедных бесплатно. Пусть отсохнет мой язык, если я говорю неправду. Кто не слышал мои слова — пусть оглохнет навеки!

Острота неожиданности того, что здесь происходило, вероятно, не без вмешательства Берали, скромно опустившего глаза, уже прошла. Антон Никифорович заставил себя побороть смущение и неловкость, чуть привстал и поклонился джамаату. А что еще оставалось в его положении? Он понял все, что говорил Баламет, за исключением двух-трех слов.

А представление шло своим чередом. Пехлеван Кирчи снова взлетел на канат и танцевал там такую стремительную лезгинку, что у доктора захватило дух и слегка кружилась голова. Гаджимурад влил в пасть чудища очередную чарку...

Антон Никифорович испытывал расположение ко всем этим людям, так наивно, но искренне выразившим свое уважение к нему. Ему хотелось, чтобы они знали, что ему нравится их незатейливая жизнь и все то, что он увидел здесь. Глядя на Гаджимурада, доктор проговорил:

— Знакомство с вами принесло мне истинное удовольствие. Мне не доводилось видеть ничего подобного. Кирчи просто превосходный артист...

А Кирчи все носился по канату то с завязанными глазами, то с кипящим самоваром в руках и с подносом с чайной посудой на голове и успокоился только тогда, когда на глазах ошеломленных зрителей зарезал, сидя на канате, барана.

Чудище, минуту назад вместе со всеми следившее за ловкими и точными движениями пехлевана, сорвалось с места и бросилось в толпу.

Юрист Панах, разгадавший коварный замысел, бросился бежать. Догнав Панаха у самой двери чайханы, кваса махом взвалил его на плечи и вынес на площадь, к канатоходцу. Он уже успел отдохнуть, опять стоял на канате.

— Знаете ли вы, уважаемый брат, кто пьет и ест во всех чайных нашего аула? — завопило чудище голосом, с которым мог сравниться лишь рев обиженного осла. — Знаете ли вы, кто всегда ест и пьет, но денег не дает? Нет, вы не знаете, брат пехлеван, ибо вы редко заглядываете в чайные нашего аула и предпочитаете кушать в больших городах. Но я покажу вам этого обманщика! Вот, взгляните на него! Это Панах, уважаемый адвокат, один из самых богатых людей в наших бедных горах!

Кваса повернулся спиной к канатоходцу, потом с совершенно диким хохотом пробежал круг, не расставаясь со своей ношей.

— О, аллах, он и нам с тобой, любезный брат, не хотел платить! — не унималось чудище. Набегавшись, Баламет легко перебросил съездившегося от страха Панаха через плечо и поставил на землю.

— Никогда не падайте в грязь, ходите с белым лицом, Панах, светлый падишах! — Никто и не заметил, как удалось квасе достать из своей овчины мешочек с мукой, горсть которой он швырнул в лицо Панаху.

Тот, закрыв лицо платком, побрел, как побитый пес, под навес к базарным весам. А кваса опять колесом, словно и не умел ходить по-человечески, покатился к чайхане Гаджимурада..

Чайханщик, сияя от удовольствия, лично встретил квасу в дверях.

— Молодец, молодец, милый мой брат кваса! Я теперь должник твой до конца дней моих! Ешь и пей на здоровье, сколько влезет в твой маленький ротик! — Гаджимурад чмокнул чудище в размалеванные губы и подтолкнул его к стойке, уставленной множеством закусок и бутылок.

Совсем стемнело, когда смолкли наконец зурны и барабаны. Утомленные зрители нехотя побрели в свои сакли, опустела базарная площадь. Поднялся и доктор.

— Любезный Гаджимурад, благодарю вас за щедрое гостеприимство. Надеюсь, и вы окажете мне честь быть гостем в моем скромном доме, хотя я и не смогу порадовать вас столь великолепной кухней, достойной самого падишаха.

Бывалый чайханщик, знавший цену русским обычаям, был явно польщен любезностью высокой особы.

— Джанаби доктор, аллах свидетель, Гаджимурад не заставит вас долго ждать, — он низко поклонился и проводил доктора через базарную площадь вдоль Ахты-чая.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Доброе утро, Джавад, рад видеть тебя на пороге моего дома! С завтрашнего дня ты можешь навещать меня запросто, как гость, помощь доктора тебе больше не требуется, — проговорил доктор по-лезгински.

Глаза Джавада влюбленно блестели, казалось, нет в мире слов, достойных выразить его благодарность.

— Уважаемый доктор, если когда-нибудь жизнь ваша омрачится печалью или недруги обидят вас — пусть меня изрежут на куски, если я не помогу вам, клянусь аллахом!

— Благодарю тебя, дружок. Давно я намеревался спросить тебя, куда исчезла девушка, для которой, по твоей просьбе, писал записку юрист Панах? Я рад помочь ей, да как отыскать ее?

Джавад, словно подчеркивая особую значительность этого разговора, вдруг заговорил по-русски, чем немало удивил Антона Никифоровича.

— Уважаемый доктор, эта девушка очень больна, у нее страшная рана под рукой. Ее зовут Алван. Сакля ее отца дяди Кариба и матери тети Халум стоит рядом с саклей моей бабушки Майрам. Мать запретила Алван идти к вам, и Алван не может нарушить запрет. Ходит к страшной, как сам черт, колдунье Махлус. Аллах свидетель, сколько я просил Алван пойти к вам, но не могу уговорить упрямую...

Что же мог поделать доктор, если даже такому красавцу не удалось уговорить несчастную, запуганную девушку? Антон Никифорович ничего не успел сказать Джаваду. Дверь отворилась, и

в комнату вплыл огромный расписной поднос, щедро уставленный всякой всячиной.

— Салам алекум, джанаби доктор! Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Прошу вас к столу! — проговорил поднос знакомым веселым голосом чайханщика Гаджимурада и плавно опустился на стол.

Доктор смеясь подошел к столу и положил на поднос ассигнацию.

— Благодарствую.

— У меня нет сдачи, джанаби доктор! — Гаджимурад поклонился и хотел было удалиться, но тут заметил скромно стоящего в углу у двери Джавада.

— А, здесь и сирота бабушки Майрам! Что ты не весел, разве ты не здоров теперь?

Видя, что Джавад покраснел, Антон Никифорович сказал:

— Тут вот какое деликатное дело, любезный Гаджимурад...

— Знаю, знаю, джанаби доктор! Гаджимурад знает все, что происходит в его ауле. О ком может печалиться сирота Джавад, кроме своей бабушки Майрам? Вы видели эту девушку, дорогой доктор? — Веселые глаза чайханщика лукаво поглядывали на Джавада. — Каждая коса у нее — кисть винограда, брови начерчены пером всевышнего, глаза — винные чаши, губы — сахар, и вся она хороша, как уголок рая. — Гаджимурад на секунду возвел глаза к потолку, чмокнул кончики своих пальцев и со свойственной ему стремительностью продолжал: — Не будь я кваса Гаджимурад, если я не улажу это дело, джумала джахан свидетель. И знайте, нет дела для меня более простого. Алван каждое утро приносит молоко в мою чайхану. Почему бы ей не приносить молоко вам, джанаби доктор? Пройдет день-два, и Алван сама скажет вам о своей болезни, динмез, диндирмез! — Гаджимурад наконец замолк, явно довольный своей сообразительностью.

Джавад поклонился, поблагодарил доктора и Гаджимурада и быстро вышел, забыв в спешке старый посох своего дедушки, с которым он ходил к доктору.

Антон Никифорович с восхищением смотрел на Гаджимурада.

— А теперь прошу вас к столу, джанаби доктор!

— Дорогой Гаджимурад, не согласились бы вы быть моим поваром? Живите у меня. Человек я одинокий и непрехотливый. А с вами не соскучишься... Просто завидую вашему характеру.

— Джанаби доктор, нельзя мне соглашаться на ваше любезное предложение, хотя оно — большая честь для меня. Вы рассчитаете меня через два дня. Я часу не смогу усидеть дома, и вам, джанаби доктор, придется голодать. Клянусь именем матери, говорю чистую правду! Я не соглашусь поселиться даже в раю, если там не будет моего неграмотного джамаата. Вы, джанаби доктор, видели их всех в моей чайхане. Без них я ничто — ни повар, ни кваса!..

В тот же вечер, возвратясь из лечебницы, Антон Никифорович еще в прихожей услышал смех. Он звучал из комнаты, где лежал Салман. Антон Никифорович приоткрыл дверь и увидел рядом с Салманом рослого незнакомца. Рыжая папаха волос набегала на светлые глаза. Грузную фигуру обтягивала богатая, отлично сшитая черкеска.

Завидев доктора, здоровяк вытянулся в струнку.

— Я — ваш гость, джанаби доктор. Повар Абдулжалил. Если пожелаете — готов служить вам до конца дней моих. Не сомневайтесь во мне, я долго работал у русских. В Баку у инженера, у купца готовил, а последнее время служил самому начальнику Брусилину...

— Любопытно, Абдулжалил. Чем же вы не угодили полковнику?

Глаза Абдулжалила заволокла злость.

— Не думайте так, джанаби доктор. Я сам ушел от полковника.

— Бог с ним, с полковником. Отныне вы хозяин в моем доме. Вы голодны с дороги?

— Спасибо, доктор. У нас, лезгин, говорят так: уехал из дому на день — захвати еды на три дня. Еда и одежда в пути не тяжесть.

— Отлично говорят у вас, Абдулжалил. Тогда давайте устроим вас на ночь. Лично со мной у вас забот не будет, я человек скромный. Надо вот поставить на ноги этого джигита, — доктор кивнул в сторону Салмана. — Охотник со сломанной ногой — что орел с перебитым крылом. Так у вас говорят?

Дорога к горячим источникам тянулась между высоких стен серебристых тополей, а потом в тени старых яблонь, абрикосов и груш. Солнце стояло в зените. Кругом было тихо, так тихо, что казалось, легкий звон бубенчиков парной упряжки слышался далеко на вершинах Шалбуздага. В долину Ахты-чая не долетали и легкие дуновения ветерка, и вся она была полна терпкого, как подогретое вино, пьянящего аромата.

Голова Антона Никифоровича слегка кружилась... Он думал о Джаваде, и в душе его поднималась какая-то непонятная беззлобная зависть к чужой любви. Доктор был молод. А в молодости что только не взбредет на ум. И чем больше щемило душу, тем сладостнее и желаннее была Антону Никифоровичу эта боль. Мир виделся ему светлым и чистым, и казалось, вот-вот что-то необычное властно войдет и в его жизнь... Но, слава богу, доктору редко выпадали свободные часы для подобных размышлений.

Навстречу фаэтону попадались редкие пешеходы с огромными узлами мокрого белья и шерсти. Мужчины долго провожали фаэтон любопытными взглядами, а женщины, склонив головы, проходили мимо.

А впереди уже змеилась и бурлила речка Мугулат, полная после вчерашнего ливня на склонах Шалбуздага. словно не желая иметь дела с тружеником Ахты-чаем, она бешено катилась в овраг. Глядя на нее издали, не верилось, что мутная от ила и камней вода ее становится в домашних глиняных кувшинах ахтынских хозяек прозрачной. Однако всем известно, если шурпа заправлена на мугулатской воде — ее смело можно подавать к обеду самого шаха.

На песчаном берегу Мугулат стоял старик, видимо собиравшийся перейти ледяную речку вброд.

Антон Никифорович попросил Берали остановить фаэтон и по-лезгински сказал:

— Отец, садитесь, мы перевезем вас.

Старик поклонился до земли, выцветшие глаза чего строго посмотрели на доктора.

— Нет, господин, спасибо, я не поеду с тобой. Сегодня ты перевезешь меня, хорошо... А вдруг мне это понравится? Тогда завтра кто меня повезет. Ты сделал добро мимоходом — и поехал дальше, а мне на целую жизнь расстройство. Нет, поезжай, поезжай себе... — Он сел на камень и отвернулся.

Сразу же за рекой раскинулись луга до самых гор. В тени старых тополей и камышовых зарослей бились горячие источники, о целебных свойствах которых Антон Никифорович прослышал еще в студенческие годы.

Увы, то, что открылось взгляду доктора теперь, привело его в недоумение. Широкие брови его взлетели вверх, улыбка, не сходявшая с его лица всю дорогу, угасла. Нельзя было без досады смотреть на нелепые строения без крыш, возведенные в этом райском уголке наспех, ленивой рукой. Унылые, из грубого камня стены раздражали, хотелось тут же, немедля снести их.

«Бедные люди, — подумал невольно Антон Никифорович, хотя уже привык ничему не удивляться в здешних краях, — ваш всемогущий аллах не научил вас беречь то, что он сам создал. Какая же ему после этого цена?»

Оставив усталых лошадей под присмотром Берали, доктор направился было в сторону камышей, да так и замер на месте.

Несколько женщин с диким визгом выскочили из зарослей, прикрывая наготу мокрым бельем, скрылись в кустах густого барбариса. Следом за ними вылез из камышей невысокий мужчина в чалме, и Антон Никифорович без труда узнал в нем самого неряшливого из всех аульских мулл. Оказывается, старый плут еще и блудлив. Глядя на греховодника, обомлевшего оттого, что «кашка» стал свидетелем его позора, нельзя было удержаться от смеха. И доктор, со свойственной воспитанному человеку учтивостью, отвернулся, дав мулле возможность исчезнуть.

Подойдя, наконец, к источнику, Антон Никифорович отведаль знаменитой воды.

— Это же бальзам, дорогой Берали! — закричал Антон Никифорович. — Чудесный бальзам! Оставь там лошадей и скорее иди сюда.

Берали, как известно, ничем нельзя было удивить, и уж тем более водой, вкуса которой он не чувствовал, как не знают люди вкуса воздуха с момента появления на свет. И все же он не пожалел, что подошел к доктору.

Безжалостный к старости смех двух здоровых, молодых мужчин облетел камыши. Слава аллаху, что его уже не слышал неряшливый мулла.

За желтеющими султанами камышей стояло небольшое каменное строение. Вокруг него на камышах и просто на камнях и кустах барбариса сушились грубошерстные бешметы. Здесь и была знаменитая мужская баня.

Подойдя поближе, Антон Никифорович и Берали увидели трех одевающихся под кустом стариков. Поговорить со здешними старожилками всегда интересно.

— Уважаемые отцы, почему вы не ходите вот к тем горячим источникам? — спросил Антон Никифорович, пользуясь посредничеством Берали и указывая рукой на нижние ключи Жениярского источника в каменных стенах.

Самый худой, самый смуглый старик, отжимая, словно мочалку, мокрую белую бороду, посмотрел на доктора взглядом, которым обычно смотрят взрослые на непонятливых детей.

— А зачем нам греть наши тела? У нас в горах и так не холодно, уважаемый господин. Обмоемся мы в горячем источнике. А как домой возвращаться? Идти берегом Ахты-чая опасно — там коварный ветер гуляет. И кроме того, горячий источник — для женщин...

Слушая старика, Антон Никифорович улыбнулся: он понимал все, хотя сейчас и не подавал вида, что знает язык. Так было лучше. Он убедился: люди, уверенные в том, что переводчик скажет только то, что нужно, не выбирали выражений, и речь их доходила до слуха доктора в своей первозданной точности.

— После бани всегда хочется есть, — продолжал старик, развязывая потрепанный хурджин. И, поглядывая только на доктора, словно извиняясь перед ним за свою бедность, постелил на земле пестрый лоскут и аккуратно разложил на нем стариковскую еду — афарар, который делают из теста с целебными травами, овечий сыр.

— Когда туманится сознание человека? Когда желудок его пуст. В такой час все подчиняется желудку — и голова, и руки, и ноги, и язык, — заметил другой старик, подсаживаясь к лоскуту. — Пожалуйста, господин хороший, покушайте с нами.

— Благодарствую, добрые люди, — ответил доктор и уселся к лоскуту.

И скромная трапеза началась. Странно выглядел доктор в своем черном костюме английского покроя и городских остроносых штиблетах рядом со смуглолицыми, худыми стариками, облаченными в бедные, потрепанные бешметы. Он и сам чувствовал эту неловкость. Дернуло его именно сегодня надеть костюм.

Старики неторопливо и молча жевали свою пищу, а доктор, теряя надежду на добрую беседу, любезно произнес:

— Источники — Жениар. Интересно, откуда пошло это название?

— Уважаемый господин, старые люди говорят, что в этой низине был давным-давно маленький аул. Он назывался «Жениар», что значит — весенняя вода. Однажды ночью дерзкая река — вы слышите, как она бьется по скалам? — старик указал рукой в сторону свирепой Мугулат. — Однажды река взбесилась до того, что набросилась на сонных людей. Люди еле успели одеться и захватить люльки с детьми. Всю ночь слышался стон и плач людей, река согнала их вон на тот холм. И снесла все, что построили бедные — сакли, дворы, мечеть. Говорят, много народу погибло в ту ночь. И стали люди жить на холме, и назвали свой аул Курукал, значит «безводный». Боялись воды. А источники по привычке называют «Жениар».

История, рассказанная стариком, живо представилась воображению Антона Никифоровича. Ночь, плач детей, крики женщин. Беспомощность человека перед взбунтовавшейся стихией. Просто не верилось, что все это было здесь, в этой тишине и райской благодати...

— Да, здесь чудесное место. И вода волшебная. Жаль только, дорога далека. А ведь можно подвести родниковую воду и к Ахтам. Нужен водопровод. Вы, отцы, знаете, что это такое?

Самый старый снисходительно улыбнулся.

— Уважаемый господин, сколько мы ни просили наши любимые источники явиться в родной аул — они не приходят. Что поделаешь с ними? Тогда народ собрал деньги на водопровод. Да они у муллы спрятаны. Мулла считает, что золотые деньги лучше, чем железные трубы. А джаамат молчит.

Вот как. Оказывается, он опоздал со своей идеей. Недаром говорят, нужда хитрее мудреца. И все же... Почему строительство оставили?

— Взгляните, Антон Никифорович! Слово по волнам плывут. — Берали резко поднялся во весь рост.

Три всадника продвигались к ним сквозь заросли камышей, то исчезая, то появляясь снова. Старики выжидательно смотрели в сторону всадников, а когда те наконец остановились неподалеку, поспешили к ним.

Быстро переговорив о чем-то, все они возвратились к бане. Один из горцев, самый молодой, справившись с волнением, подошел ближе и посмотрел на доктора с опаской. Лицо его, с

большими темными глазами выражало такую неподдельную муку, что доктору захотелось отвернуться, не видеть этого скорбного лица, не чувствовать чужой муки.

— Мы только хотели спросить, правда ли русский доктор будет лечить бедных людей без денег? Так сказал кваса Баламет на базаре...

Антон Никифорович удивился. Неужели ради этого стоило гнать лошадей к источнику? Нет, тут что-то не так. После долгих расспросов Берали наконец выяснил, что в ауле умирает отец этого юноши.

— Бедному и умереть забота, — разговорчивый старик вставил слово, видно, решив, что без него дело не обойдется.

Через несколько минут фэтон доктора с грохотом несся по Кваскарскому магалу, одному из самых бедных кварталов в Ахтах. Как только показались первые, нижние дома, юноша спрыгнул на ходу и легко побежал по ступеням, плавно восходящим по склону горы Келе, в тени которой ютился магал.

— Куда же он?

— Спешит предупредить домашних о вашем приезде, — отозвался Берали. — Приготовьтесь, доктор, вам тоже придется пересчитать эти ступени...

Появление русского доктора в невиданном городском наряде вызвало среди обитателей магала переполох. Женщины оставили бесконечные домашние дела и в любопытстве застыли у дверей и щелей своих жилищ. Звон серебряных монет, пуговиц, бус, неизменно украшавших их платья, раздавался за спиной доктора до тех пор, пока юноша, внезапно возникший неведомо откуда, не ввел его в саклю своего отца, Айдына.

В сакле царила та унылая беднота, которую будет справедливее назвать просто нищетой. С такой нищетой Антону Никифоровичу еще не приходилось встречаться вот так, совсем близко, и он невольно остановился у порога. Огромная нелепая дыра, заменявшая окно, зияла под потолком, словно недремлющее око злого духа, и освещала немислимо грязные лохмотья и тряпье, заполнявшие саклю. Под дырой, на перекладине, висели две сухие луковицы, заросшие паутиной, и черные металлические когти — чангал. У самого порога, там, где остановился доктор, стоял огромный пустой кет — глиняный сосуд для муки.

Больной лежал в глубине сакли на тахте. Возле нее стояла деревянная скамья, покрытая старым войлоком, и несколько самодельных маленьких табуреток. Над тахтой коптила мазутом металлическая черная плочка на стержне, а изодранная, дырявая кошма, разостланная на земляном полу вместо ковра, лишь подчеркивала нестерпимую нищету жилища.

Дурманящий, омерзительный чад, в котором смешались разом запахи сухих листьев, нефти и пота, наполнял саклю. В нем немудрено было задохнуться и здоровому.

Антон Никифорович оцепенел, стоя у порога, и не решался подойти к больному. А из темноты несся низкий голос:

— Наступил час высшего возмездия. Пришло его время, так распорядился аллах, — причитала старуха с лицом, сморщенным, как сушеный гриб. — Смертный, ты уже в пути на чистый свет.

С этими словами она схватила огромный белый мешок и, подняв его над головой, кинулась к больному. Не по летам ловко работая руками, старуха натянула харал на его голову.

Но когда старуха стала стягивать концы харала на голой тощей стариковской груди, Антон Никифорович понял, что здесь совершается убийство. На его глазах. Как мог он позволить себе

поддаться минутной слабости, словно он не медик, а институтка! Шагнув на середину сакли, он приказал:

— Немедленно выйдите отсюда вон! Все до одного! Вы поняли, что я сказал? Немедленно! И откройте настежь дверь!

Женщины, которых оказалось в сакле немало, вышли. Доктор сбросил на пол харал и все тряпье. Оно душило и давило старика. Тот не подавал никаких признаков жизни, хотя грудь его, мокрая от слабости и духоты, едва вздымалась.

— Больной измучен, — сказал доктор, глядя на Берали. — Положите его повыше, приподнимите подушку. — И пошел к двери за своей сумкой.

Из темного угла его сверлили два горящих ненавистью глаза. Доктор подошел ближе и увидел чудовище, которое минуту назад на его глазах предавало живую плоть смерти.

— Кто это, Берали? Что ей здесь нужно? Я же приказал всем выйти отсюда!

— Это Махлус, доктор...

Так вот она, пресловутая Махлус. Грязная, старая, омерзительная...

— Вон отсюда! — закричал вне себя Антон Никифорович, и горбунья выскользнула за дверь.

...Долго хлопотал он у изголовья больного, пробуя все, что могло помочь старику. Но старость есть старость, и все усилия Антона Никифоровича были тщетны. Черные крылья смерти уже коснулись больного, бросили мертвенные тени на его изможденное лицо. Ведьма Махлус не зря старалась.

И все же старику стало легче. Это не удивило Антона Никифоровича. Не раз ему приходилось видеть такой вот последний предсмертный прилив сил, жестоко обманывающий больного и его близких и тягостный для медика. Старик открыл глаза, лихорадочно блестящие в полумраке, поднял голову и еле слышно прошептал:

— Где ты, Махлус? Помоги мне встать... Неужели я опять вижу мир?

Доктор осторожно положил голову старика на подушку, взял сухую как плоть руку.

— Лежите спокойно, джан-буба. Вам нельзя волноваться.

Пульс больного еле прощупывался, но сознание его не оставляло. Старик долго, всматривался в незнакомое лицо и, наконец, сообразив что-то, повернул голову в сторону двери.

— Кто этот святой шейх, люди? Сын мой, откуда он в моем доме? — Ресницы его были мокры.

Спазмы сдавили горло Антона Никифоровича. Он не мог заставить себя сказать улыбающемуся сыну Айдына, что приехали они слишком поздно. Слишком поздно...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Даже в самых отдаленных кварталах аула знали, что сирота Джавад походил на кипарис на восходе солнца. Так утверждала старуха Майрам, и не находилось охотников спорить с ней. А если это так, то с чем можно сравнить юную Алван, дочь Кариба? Разве что со сказочной Пери, в которую влюбились сразу все мужчины семи вилайатов? Но жители Ахты не видели Пери, и поэтому красота Алван была попросту несравнима.

Когда Джавад скитался на чужбине, звонкий голосок маленькой Алван часто слышался ему во сне, напоминая дни детства, согретого любовью бабушки Майрам.

А теперь Джавад редко видел соседку, прежних детских игр у забора словно и не бывало.

Надо ли объяснять, почему так случилось?

Может быть, Алван смущали тонкие усики, превратившие ее закадычного дружка в настоящего мужчину? Или она стыдилась выцветшего платья, в котором ей приходилось бегать по двору, — короткого и тесного в груди? Кто знает. Но теперь Алван никогда не приближалась к невысокому забору, отделяющему двор дяди Кариба от двора бабушки Майрам.

Но от Джавада ничего не скроешь.

Увидев Алван через семь лет, он понял, какой клад хранится и бедной сакле дяди Кариба. И тут же решил, что есть одно надежное место для этого клада — его, Джавада, собственное сердце. С того дня Джавад потерял покой и мысленно целовал землю под ногами Алван. Все свободное время он томился у забора в надежде хоть одним глазком увидеть красавицу. Покажи ему рай в эти минуты — Джавад не оглянулся бы. И не зря. Он выследил, что Алван часто ходит к старой ведьме Махлус, страшной, как семь чертей. «Зачем?» — спросил Джавад у бабушки Майрам. Та обрадовалась. Наконец-то ее кипарис на восходе солнца, заметно поникший в последнее время, хоть чем-то заинтересовался. Майрам рассказала, что бедная Алван тяжело больна и ходит лечиться к Махлус.

Будь на месте Алван любая другая девушка — Джавада не взволновали бы слова бабушки Майрам. По молодости он еще верил в чудеса знахарей, лечивших, по словам бабушки Майрам, весь их славный род. Ни Джавад, ни бабушка Майрам никогда не задумывались, почему из их огромного рода уцелел один-единственный наследник.

Но когда Джавад представил себе, как грязные лапы ведьмы касаются кожи Алван, нежнее персидского шелка, ему стало не по себе. Джавад уговорил было девушку обратиться к русскому доктору. Так появилась на свет известная записка, которая послужила поводом для множества других событий.

Время шло своим чередом, любовь Джавада росла.

Он дошел даже до того, что в душе благословлял аллаха за ниспосланную схватку с бешеным волком. В этом как раз и нет ничего особенного. Когда человек любит, ему всегда хочется отличиться. Особенно в молодости. А Джавад был молод. И так любил Алван, что готов был сразиться и со стаей бешеных волков. Лишь бы Алван об этом знала. Ведь именно после той смертельной схватки на берегу Ахты-чая она стала приносить по утрам молоко в саклю бабушки Майрам и подробно расспрашивать бабушку о здоровье Джавада.

Так продолжалось целых сорок дней. Кто знает, может быть, совсем и не доктор Антон Никифорович отвел смерть от искусанного Джавада?

Как только Джавад немного пришел в себя и начал жадно поглощать утреннее молоко, старуха Майрам стала умолять девушку приносить для ее сироты молока и после вечернего надоя. При этом она так причитала и плакала, что сбежались соседи поглядеть, не стряслось ли в сакле бабушки Майрам очередное несчастье. А плакать и причитать не нужно было. Алван и не думала отказывать бабушке Майрам в ее просьбе. Ей вообще никто ни в чем не мог отказать. И тем более Алван. Бабушка Майрам нянчила ее, маленькую, на руках и давала подержать крошке Джаваду, когда соседка Халум, мать Алван, приходила к бабушке поболтать.

По вечерам старуха Майрам усаживала покорную Алван возле своего вечного очага и, пока ее ненаглядный кипарис пил вечернее молоко, рассказывала все с самого начала, включая и предсказание дервиша. Давно уже в жизни ее не было таких счастливых часов. Старое сердце Майрам молодо билось, когда она смотрела на этих двух больших и красивых детей. «Да пошлет

им аллах свое благословение», — думала она. Может быть, им и суждено возродить на земле славный род Терзияр, единственного наследника которого сберегла она, Майрам?..

А Джавад, глядя на лицо Алван, обрамленное тугими черными косами, на ее задумчивые глаза и робкую улыбку, уносился мечтами неведомо куда. То ему представлялось, что он скачет на белом коне узкой тропой, вьющейся по краю пропасти, а под буркой приникла к его сердцу беззащитная Алван. То ему казалось, что они вместе переплывают бешеную Мугулат, спасаясь от погони, хотя никто и не собирался преследовать общего любимца аула. То, наконец, он видел Алван в горах, далеко от людей. Упрятав свое сокровище в надежных скалах, Джавад шел охотиться на туров и диких коз, бросал к ногам Алван роскошную шкуру снежного барса, украшал жилище своей возлюбленной головой вожака-тура с огромными рогами. Ну, а Алван? Что она делала все это время? Ее Джавад не утруждал. Она лишь ловко ощипывала перья с подстреленных у входа в пещеру куропаток — для супружеской постели...

Словом, это были чудесные вечера.

Но все на этом свете кончается. Плохо ли, хорошо — зависит от нас самих.

Раны Джавада быстро затягивались. Сам доктор не уставал удивляться столь благополучному исходу болезни. А Джавад в один прекрасный день ощутил в себе знакомый бурный прилив сил. Тело его стало легким, гибким, и ему захотелось немедленно встать с постели и подняться на Шалбуздаг. Но доктор не разрешил. Он только позволил Джаваду прогуливаться по утрам до докторского дома.

Алван опять забегала к бабушке с молоком только утром, так как выпивать два тайкаба молока в сутки здоровому человеку все же было тяжело.

А Джавад был здоров. Осталась у него одна-единственная глубокая рана. За время болезни она превратилась в горящий уголь, днем и ночью жгла огнем его сердце. Но никто не догадывался о ее существовании. Даже бабушка Майрам. Так вот всегда бывает. Люди тревожатся, трясутся, если кто из родных чуть простудится. А стоит человеку заболеть настоящей любовью — никому нет до этого дела. Посмеиваются. До свадьбы заживет, говорят.

А какая тут свадьба, когда он гол как сокол? Все, что накопил за последнюю зиму в Баку — тридцать рублей серебром, сразу же отдал бабушке Майрам. Конечно, бабушка бережлива, деньги у нее целы. Ну, а что делать потом, когда кончатся эти деньги? Нет, о свадьбе сейчас нечего и думать. Придется возвращаться в Баку и там к следующей весне сколотить денег на свадьбу.

И Алван не стоит тревожить. Зачем смущать девушку, если нет у тебя ничего, кроме двух мозолистых рук? Ей и дома у матери не сладко — с утра до ночи на ногах. То молоко разносит, то двор метет, то белье малышам стирает... А в Баку можно поговорить обо всем с дядей Карибом, он посоветует.

Но до отъезда Джавад все же решил сделать одно дело. Во что бы то ни стало решил уговорить Алван показаться доктору Антону Никифоровичу. И короткие минуты, когда ему удавалось увидеть Алван, уходили на бесконечные разговоры о ее болезни. Обидно, но что поделаешь.

Алван, как огня, боялась мужчин, и тем более русского доктора. Ни уговоры, ни предрекания смертельных мук не помогли. «Нет, нет и нет», — отвечала упрямая Алван, ссылаясь при этом на запрет матери.

Как-то раз Джавад решился поговорить с самой Халум. Начал, как водится, издали — о Баку, о Карибе, о бешеном волке и ввернул два-три слова о чудесных лекарствах русского доктора. Но все это напрасно.

Усталая от забот, Халум так и не поняла, куда клонит Джавад. С утра до ночи она маялась по хозяйству одна, с двумя маленькими детьми на руках, пока муж ее Кариб работал в городе.

Угрюмая, молчаливая, она была как засохший в цвету ствол молодого дерева. Кто видел Халум семь лет назад, когда Джавад уезжал с Карибом на чужбину, — теперь не узнал бы в ней прежнюю Халум. Не верилось даже, что красавица Алван так похожа на молодую мать. Да, годы летят, а заботы не красят.

Ясно, Халум время от времени молила аллаха о здоровье своей дочери и посылала ее к старой ведьме Махлус. Но до болезней ли было бедной женщине, если каждый день ей приходилось думать о куске хлеба для детей?

Так и ушел Джавад ни с чем. До того была задержана Халум домашними заботами, что даже не видела в Джаваде возможного жениха своей дочери. А часто ли встретишь такую мать?

Помог Джаваду чайханщик Гаджимурад. Вчера прямым путем от доктора направился в саклю Халум. Что там говорилось — неизвестно. А сегодня чуть свет Джавад шагал по пятам за Алван к дому Антона Никифоровича.

— Молоко доктору, — послышался из-за калитки девичий голос, и Антон Никифорович еще раз убедился, что Гаджимурад не бросает слов на ветер. А полумрак прихожей в тот же миг осветила рыжая шевелюра Абдулжалила. Весь его хозяйский вид не оставлял сомнений в том, что отныне в этом доме без его ведома и муха не пролетит.

Антон Никифорович, приложив палец к губам, как заговорщик, на цыпочках приблизился к Абдулжалилу и прошептал:

— Пожалуйста, не берите у нее молоко. Пусть она зайдет в дом...

Нет, и тени удивления не появилось на лице Абдулжалила. Напротив, с видом человека, которому ничего не надо объяснять, потому что ему давно-давно все известно, Абдулжалил вышел на крыльцо. Прислуживая в разных русских домах, повар привык ничему не удивляться. Эти русские бывают такими странными... Иной копейки считает, иной все до нитки бедным отдаст... А джаноби доктор, если верить Гаджимураду, — просто святая душа.

— Зайди в дом, милая девушка, я перелью молоко в свою посуду. Заходи, не бойся, у нас злых собак нет, — ласково проговорил Абдулжалил по-лезгински, и Алван, услышав родную речь, послушно последовала за ним.

Антон Никифорович уже успел пробраться на кухню и отметить про себя, что Абдулжалил не терял даром и минуты. Бог ведает, когда он поднялся, но все небогатое кухонное хозяйство — кастрюли, плошки и пыхтевший на плите чайник — сияло особой домашней чистотой, которая не всегда дается и женским рукам.

В прихожей тоненько и нежно звякнули монетки, украшавшие обычно платья лезгинок, и в кухню, вслед за Абдулжалилом, вошла девушка. Антон Никифорович, с трудом принявший минуту назад вполне независимый и безучастный вид, против воли поднялся.

Девушка была в том юном возрасте, когда женские глаза еще не искрятся и не таят загадок. Темные, как дно чистых родничковых озер, они, казалось, покоились под тонкими, изогнутыми в неосознанной гордости бровями и смущали своей бесконечной, совсем детской доверчивостью. Лицо ее покрывала чуть приметная, болезненная, как понял доктор, желтизна, и он не позволил себе разглядывать ее далее.

Он сказал по-русски:

— Любезный Абдулжалил, скажите ей так... я, врач, вижу по ее бледному лицу, что она серьезно больна и предлагаю ей свою помощь. Попросите, пожалуйста, ее не волноваться и никого не бояться. Все останется в стенах моего дома, я даю ей слово. И обязательно вылечу ее. И денег мне не надобно...

Перебивая молоко в домашнюю посуду, Абдулжалил спросил девушку как бы невзначай:

— Ты чья, детка? Смотрю я на тебя и не могу вспомнить, где я видел тебя?

— Я дочь Кариба, дядя. Меня зовут Алван... — Смуглое лицо ее порозовело, как персик.

— О аллах, как тесен мир! Давно ли мы ели-пили с Карибом на одной скатерти? И ни на волос наша дружба не рушилась, пока не уехал я в Баку. Аллах свидетель, сегодня же зайду к нему и справлюсь о его здоровье...

— Дядя, отца нет дома. Он уехал в Баку... — проговорила девушка немного смелей.

Абдулжалил хлопнул себя по лбу.

— Видит аллах, не дремлет злой дух! Как я мог забыть об этом? Ну ничего, поеду в Баку, там найду Кариба! А ты, детка, почему такая печальная? Вижу я, ветка радости обломилась в твоём сердце, что-то не нравится мне твоё лицо... Такая красавица должна всегда улыбаться. Может, тебя обидел кто-нибудь здесь без отца? Кто он, этот нечестивец? Он будет иметь дело со мной...

— Нет, нет, дядя, что вы! — серебряные монетки на её платье опять звякнули тоненько и нежно.

— Меня никто не обижал. Я, дядя, больна...

— О аллах! — Абдулжалил стремительно воздел руки вверх. — Послушайте, добрые люди, эта красавица больна! Как я скажу об этом моему другу Карибу, когда приеду в Баку? Смогу ли я посмотреть в его добрые честные глаза, если он узнает, что я служил в доме хорошего доктора и не вылечил его дочь?

Казалось, не будь Абдулжалил мужчиной в возрасте — он заплакал бы от своих слов: так душевно он говорил.

Сердце Алван не выдержало. На глазах девушки блеснули слезинки, и она протянула руку за пустым серничем, желая уйти.

— Подожди, моя голубка, — продолжал гудеть Абдулжалил. — Подумай, что скажет твой отец. Соберись с разумом и сделай, как я тебе скажу. Покажись, детка, доктору и расскажи ему о своей болезни. Дело это останется между нами до самой смерти. Пришла с молоком — ушла с пустым серничем. Кому какое дело? Клянусь верой, считай себя здоровой, если послушаешься моего совета!

Антон Никифорович молча наблюдал эту сцену, неловко улыбаясь словам Абдулжалила. Трогала его старательность, желание угодить и с честью выполнить нелегкую просьбу хозяина, а девушка волновала своей болезненной красотой, растерянностью и блестящими слезинками, и росла в нём нежность к ней.

— Я не знаю, как быть, дядя, — проговорила она тихо. — У меня плохая рана.

— Э-эй, нашла, о чем печалиться! А где ты видела хорошие раны? Не видел их и доктор! Не оставлять же в беде твою цветущую жизнь!

— А нет ли здесь духтура Берали? — робко спросила девушка, видимо, уже боясь обидеть отказом.

— Сейчас, детка, я позову его. А ты садись, садись пока на эту табуретку. Подожди немножко. Гэ-гэй, сама увидишь, как тебе легко станет... — Абдулжалил усадил девушку на табуретку и украдкой подмигнул Антону Никифоровичу.

Закрыв лицо руками, девушка присела и замерла.

— Я сам схожу за доктором Берали, — оказал Антон Никифорович, опасаясь, что девушка убежит.

Когда Антон Никифорович привел Берали, Алван тотчас поднялась, послушная обычаю, поклонилась, и руки ее нервно затеребили края шали.

— Дядя Берали, а вы не скажете маме, что я приходила сюда?

— Пусть отсохнут у меня руки, если я сделаю это! Не бойся ничего, доктору все равно кого лечить, девушку или старуху, пойми, все равно.

Последний довод, видимо, показался Алван убедительным. Она вздохнула, отвернулась и, сбросив шаль, медленно стала расстегивать множество пуговиц на своем платье. В каждом движении ее тонких рук чувствовалась такая мучительная застенчивость, что в душе доктора отозвалась боль. «Нельзя было так вот с ней, надо было как-то по-иному...» — подумал он, но как по-иному, он не знал.

Наконец руки ее безвольно повисли вдоль стройного тела, и она повернулась к доктору. Глаза ее были закрыты.

В маленьком бархатном шутку — шапочке, какие обычно носят горянки под платками, и без шали она выглядела старше и не казалась девочкой, как прежде. И шутку, и женственные шея и плечи выросли ее. Удивительно она была хороша.

Абдулжалил шагнул к девушке и со словами «Не бойся, детка» помог высвободить левую руку из платья.

Теперь дело было за доктором.

— Пожалуйста, поднимите руку. Вот так, — сказал Антон Никифорович по-лезгински и показал, что именно она должна сделать.

Ни на кого не глядя, словно отгораживая себя от всего того, что здесь с ней происходило, Алван послушно повторила движение доктора, и боль исказила ее красивое лицо.

— Ничего, ничего, потерпите немного, — сказал доктор, но жалость и нежность к девушке росла в нем и мешала сосредоточиться.

— Боже мой, Берали, подумать страшно, как должна страдать больная. Запущенный карбункул. Еще два-три визита к знаменитой Махлус — и не миновать заражения крови.

Оба они долго возились с раной, осторожно смывая мельхем, которым пользовались знахари «от всех болезней», а Алван теперь смущенно поглядывала то на одного, то на другого, и во взгляде ее засветилось любопытство.

Боль, истязавшая ее днем и ночью, поддавалась рукам двух лечивших ее мужчин, становилась тупой и терпимой. И вместе с этим новым ощущением притуплялось и чувство суеверного страха перед мужчинами и русским. Трясутся над ней, словно она... дочь падишаха...

— Все будет отлично... Алван... — произнес Антон Никифорович, и оттого, что он впервые решил назвать ее по имени, как называли Берали и Абдулжалил, она стала понятней и ближе. И не было теперь в ней прежней детской беззащитности, так стеснявшей его. — На сегодня все. Одевайтесь.

И опять тоненько и нежно звякнули серебряные монетки на ее платье. Абдулжалил, насмотревшийся в городских домах всякой всячины, накинул ей на плечи шаль и чуть изогнулся при этом в поклоне, чем сразу же расположил к себе дочь незнакомого Кариба. Много ли надо чистой простосердечной душе?

— Ну что, детка, ты жива еще? Клянусь аллахом, теперь я могу спокойно взглянуть в честные глаза моего друга Кариба. Нужно еще показаться доктору и забыть дорогу к ведьме Махлус... Валлах, может ли быть иначе? Пришла с молоком, ушла с пустой посудой, верно я говорю, детка?

Взглянув на Антона Никифоровича, Алван к удивлению мужчин твердо произнесла:

— Нет, нет, пусть глаза мои не увидят солнца, если я пойду к Махлус. Клянусь, не пойду! — В глазах ее была такая решимость, что не оставалось сомнений: кто-кто, а уж эта лань тихая слову не изменит.

Антон Никифорович молча подошел к окну. Увидел он красавца Джавада и Алван, медленно идущих по дороге. Антон Никифорович смотрел на них до тех пор, пока они не скрылись. Теперь он был полон нежности к ним обоим.

Халум сердилась. Все чаще поглядывала она на дорогу, по которой чуть свет ушла ее дочь Алван, и в голову ей лезли всякие тревожные мысли.

«И зачем только я отпустила ее с молоком в этот русский дом? Лучше бы я не отпускала. Лучше бы я пошла сама, так было бы спокойнее, — корила она себя. — Теперь вот думай, что хочешь. Что я скажу Карибу, когда он приедет из Баку? Он убьет меня, если что случится с дочерью. Скажет: проклятая, ты не сберегла свое родное дитя... Ему легко. Приехал — посмотрел, как выросли дети, опять уехал. А я одна тут думай обо всем, одна я тут мать и отец...» — от этих мыслей Халум так стало жалко себя, что глаза ее наполнились слезами.

— Клянусь верой, я не хотела ничего плохого, — сказала она вслух, обращаясь не то к всевышнему, не то к мужу Карибу, и, опять взглянув на дорогу, вскрикнула.

Не спеша, словно мать не ждала ее, не тревожилась и не плакала, Алван приближалась к дому. Рядом с ней шел этот мальчишка, Джавад, с пустым серничем в руках, тихий и довольный. Теперь ничего не ускользнуло от взгляда Халум. Она заметила все. Непривычный румянец, заливавший щеки ее скромницы, влюбленные глаза Джавада. «Слава аллаху», — решила Халум, быстро вытерла невысохшие слезы и, приняв надлежащий суровый вид, встала на пороге сакли.

— Что ты так долго, доченька? — недобрый голосом спросила Халум, как только дочь вошла во двор. — Разве мать тебя на прогулку посылала? А может быть, ты ходила к Махлус и она дала тебе хорошее лекарство? Что-то ты сияешь сегодня...

Алван растерялась.

Всю дорогу Алван твердила Джаваду: «Спасибо тебе, дорогой Джавад. Без тебя я бы пропала. Ты правильно говорил, какой хороший человек кашка-духтур... Я никогда не забуду твоей заботы. Береги и ты свое здоровье, не дерись с бешеными волками и слушайся во всем доктора... Спасибо, спасибо, спасибо тебе...»

— Что ты придумала, дорогая Алван, — говорил Джавад. — Это доктору спасибо. И тебе за то, что ты поборола свой страх...

Вот чем была занята Алван всю дорогу. И сейчас ей нечего было ответить матери. Украдкой взглянув на Джавада, оставшегося на улице, Алван молча прошла в саклю. Низко-низко опустила Алван голову.

Кто не опаздывал в родительский дом, тот не познал счастья бездумной молодости. А Халум еще помнила себя молодой. Она тут же раскаялась в своей суровости. Аллах свидетель, не было в ауле девушки более послушной и скромной, чем ее Алван. Никогда Алван не перечила матери и была при маленьких детях верной нянькой. Да и покричала Халум для порядка. Отлегло у нее от сердца, как только увидела дочь живой и невредимой.

И Халум тоже пошла в саклю. Она подошла к дочери и хотела приласкать, прижать к сердцу свое обиженное дитя. И в ужасе отпрянула Халум. Заломив руки, заметалась по сакле, заголосила.

— Где ты была, проклятая, почему не сознаешься? От тебя пахнет лекарствами! Что ты натворила, бесстыжая? Опозорила нас на всю жизнь. Аллах свидетель, я посылала тебя с молоком. Разве я тебя за этим посылала?..

За всю свою жизнь Алван не слышала столько проклятий, но молчала. Зачем перечить матери? Мать есть мать. Выговорится — отойдет. Материнское сердце отходчиво.

— Салам алейкум, тетя Халум. Можно войти к вам? — Джавад, сообразив, что дело плохо, открыл дверь сакли.

Халум осеклась. По правде говоря, она даже обрадовалась Джаваду, хотя виду не подала. Так всегда бывает, если домашний скандал затянется. Постучится добрый человек — и все само собой утихнет.

— Входи, входи, у нас дверь не заперта, — оттаивала Халум. Сейчас ей особенно приятен был Джавад, сияющий радостью, в белой нарядной черкеске с серебряным поясом. — Смотри не испачкайся — я недавно саклю побелила... Я уж думала, ты разучился носить костюм лезгина, вы с Карибом к мазуту привыкли. Садись же, посиди у нас...

Джавад скромно уселся в углу, поближе к двери — мало ли что могло взбрести в голову расстроенной Халум?

— Спасибо, тетя, я не буду долго надоедать. Вы ничего не знаете, ничего не слышали на базаре?

Нахмуренные брови Халум поползли вверх, и в глазах вспыхнули огоньки любопытства. Она уже жалела, что не попала сегодня на базар.

— Если вы обещаете молчать — расскажу вам, — тянул Джавад, пытаясь выиграть время и подвести к делу осторожно.

— Что ты, что ты, сынок! Пусть отсохнет мой язык, если я выдам тебя. Спроси у Майрам, умею ли я молчать? — затараторила Халум.

Ясное дело, лучше и не спрашивать.

— Зачем мне спрашивать у бабушки? Разве я вам не верю? Поэтому и пришел. Так вот... — Он помедлил еще немного. — Сегодня на базар пришли два человека. Они спустились из дальнего аула Кучаг... Сколько, вы думаете, там случилось смертей за семь дней? Десять! И все молодые...

Халум во все глаза смотрела на Джавада, не задумываясь, какая тайна хранится в его страшных словах. Тайна есть тайна.

— И погубили всех собственные родители...

— О аллах! — только и сказала Халум, испуганная не на шутку. Но Джавад не дал ей опомниться.

— Аллах свидетель, тетя, все умерли по вине собственных родителей. Они посылали своих детей к знахаркам. А те что знают? Мельхем да мельхем, ничего не смыслят они в болезнях и лекарствах. Разве простит аллах родителям такой грех? А? И я подумал, зачем вам, уважаемая тетя Халум, брать такой страшный грех на душу? Мы все-таки соседи... А ваша Алван ходит к старой ведьме Махлус. Зачем вы, тетя Халум, разрешаете своей дочери ходить к этой карге? Зачем вы собственными руками убиваете свою дочь?..

Конечно, Халум не ожидала ничего подобного. В испуге замотала головой, подлетела к Алван, прижала к себе.

— Что ты, что ты, сынок! Разве я не люблю родное дитя? Разве я дам ее в обиду? Клянусь аллахом, не дам! Что же нам делать, Джавад, скажи, ведь ты такой умный, ты ездил в Баку... — молила Халум.

— И жаль мне вас, тетя Халум, поэтому и пришел. Я-то сам хожу к русскому доктору. Такой хороший человек, такой, добрый, нет такого и в Баку. И денег не берет, как ведьма Махлус... Можно спросить у доктора — не полечит ли он твою дочь?

«Слава аллаху,—подумала Халум. — Он еще не знает, что Алван была у доктора...»

— Дорогой сынок, да снизойдет к тебе счастье за твою заботу, — сказала Халум совсем смиренным тоном. — Но как может девушка показаться чужому мужчине? Коран запрещает девушке показываться мужчинам... Где ты видел такое?

Но Джавад не растерялся.

— Тетя Халум, ты живешь в истинной вере, а не знаешь, что написано в коране. Там написано, что больной всегда должен показываться врачу и рассказывать о своей болезни. Не веришь — спроси у муллы. А где ты видела хоть одного врача-женщину? Поэтому все правоверные могут идти к врачу, и девушки, и мужчины, и молодые, и старые.

Дело было сделано. Что могла возразить Халум? Грамотным людям виднее. Читают коран, знают мусульманские законы...

— Пусть умрет у меня семь дочерей, если я нарушу веление всевышнего, пусть будет, как написано в коране. Пусть Алван пойдет к доктору. Поговори с ним, ради аллаха, ты же нам родственник и сосед.

— Я не сомневаюсь, тетя Халум, что ты истинная мусульманка. Вот и подумал — зачем тебе брать на душу такой грех? А теперь я пойду — меня бабушка Майрам давно ждет. — И Джавад покинул саклю.

— Какой он из себя, этот кашка-духтур? — пробормотала Халум, оборачиваясь к дочери, Алван того и ждала.

— Мама-джан, — она обняла и поцеловала мать. — Он очень добрый человек, мама-джан. Жалко, что ты не видела, как он лечил меня. Ты бы сказала: «Таким заботливым может быть только родной отец». Кому какое дело? Пришла с молоком — ушла с пустым серничем, — повторила Алван слова Абдулжалила.

— Да поможет нам аллах, доченька. Но молчи, молчи! Помни: в ауле никто не должен знать, что твою рану лечит кашка. Люди проклянут наш род, они такие темные. Разве они читают коран?

О том, что доктор был иноверцем, Халум старалась не думать. Зачем? Она не умела читать священные книги. А Джавад, он грамотный, ездил в Баку... Значит, ничего такого нет.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Кадий Гарус чинно, как и подобало главному в округе мусульманскому судье, приближался к самой безлюдной улице, где размещалось русское начальство.

Не старое еще, красивое лицо кадия было непроницаемо для взглядов простых смертных. Припухшие от бессонной ночи веки с тяжелыми ресницами прикрывали живые и грешные глаза, и могло показаться, что сама справедливость всевышнего сошла на землю. Ясное дело, судья есть судья.

Но ахтынец не проведешь. Свою абу, привезенную из святой Мекки, темно-красную, роскошно затканную серебром, кадий забрасывал на плечи не часто, лишь в особо важных случаях. А резкий стук персидских, с причудливо загнутыми носками башмаков выдавал гнев кадия...

Кадий шел в русскую канцелярию. Завидев рослого казака, охранявшего ворота дуван-ханы, он прибавил шаг. Ни ружье хмурого стража, ни пистолеты за поясом черкески, ни сабля, ни кинжал не смущали кадия. Стук его башмаков становился все более резким, а лицо приобретало все более земное выражение. В ворота дуван-ханы кадий влетел вихрем. Яркая накидка его затрепетала, взметнулась, как павлиний хвост, задела лихой чуб казака, свисавший из-под серой каракулевой папахи. Страж не шелохнулся. Каждый подчиненный его высокоблагородия господина полковника знал, что главный судья Гарус входил к Брусилину без доклада.

— Израв, израв, джанаби леченик! — промямлил кадий, переступая порог просторного кабинета полковника. Приветствие, раз и навсегда заученное для русского начальства, прозвучало холодно, кокетливая кисточка, украшавшая красную, в тон накидке, феску кадия не шелохнулась.

— О, рад вас видеть, святой отец! Прошу вас, прошу. — Брусилин с трудом высвободил свое дородное тело из кресла, плотно придвинутого к широкому дубовому столу. Привычным движением руки поправил пуговицы своего голубого мундира, приосанился и поспешил к двери, мучительно прикидывая, зачем пожаловал святейший в такую рань.

Кадий Гарус застыл у двери, точно изваяние скорби. Тяжелые ресницы его опять опустились, прикрыли холодный, колючий взгляд, холеные руки скрестились на груди. Казалось, весь он устремлен в небо и молит аллаха о высшей справедливости.

— Прошу вас, проходите, пожалуйста, святейший, — говорил полковник, подталкивая гостя к мягкому креслу, стоявшему у солнечной стены кабинета. — Здесь вам будет теплее.

Усадив кадия, полковник Брусилин нетерпеливо дернул шнурок, висевший на стене, справа от его рабочего кресла, и тотчас в дверях появился казак.

— Чаю, чаю подай и Панаха зови, да поживее!

Теперь кадий Гарус смотрел на Брусилина и по наплывавшему на лицо полковника нетерпению понял, что время подошло.

— Джанаби леченик... — тонкие губы кадия нехотя раскрылись, в голосе прозвучала обида.

— Одну минутку, святейший. Сейчас, сейчас... — Брусилин переносил русскую речь кадия только в собственном доме, за картонным столом и рюмкой коньяку. Вряд ли за прошедшие два дня познания ученого тюрколога в русском языке расширились, если за три года знакомства Гарус не научился связывать по-русски и трех слов.

Вошел Панах, за ним — казак с подносом.

Молча, небрежным взмахом руки, Брусилин указал Панаху место рядом с креслом, в котором сидел кадий, и, помедлив, пока казак наливал чай в дорогие, тонкого фарфора пиалы из изящного чайника, сказал:

— Пожалуйста.

Кадий Гарус заговорил высоким, сухим голосом, довольно воинственно, но поглядывая при этом на переводчика.

— Вы, леченик, не раз говорили мне, что русский царь обещал уважать нашу веру и не обижать слуг аллаха, и я верил вам...

— Совершенно верно... — При упоминании имени его высочества полковник расправил плечи, отчего золоченые погоны голубого его мундира, попав в солнечный лучик, ослепительно засверкали.

— А что получается на деле? — продолжал жужжать кадий, все более повышая голос. — Нашу веру не уважают, а верных слуг аллаха оскорбляют. — С этими словами кадий сложил вместе холеные ладони, приблизил их к груди и закатил глаза. — Вы наместник русского царя, правая рука его высочества. Но ваша правая рука не ведает, что творит левая. Получается, что обещания русского царя так и остаются обещаниями. Понравится ли это русскому царю?

Брусилин резко отодвинул свое кресло и поднялся, заливаясь до шеи багровой краской. «Куда гнет старая лиса?» — подумал он и против обыкновения не взорвался, вовремя вспомнив наставления высокого начальства, что худой мир с духовенством лучше доброй ссоры.

— Что-то я не возьму в толк вашей претензий, святейший. Будьте любезны выразиться более определенно, и я всегда рад пойти вам навстречу...

Теперь глаза кадия Гаруса зло прищурились. Панах, до сих пор довольно безучастно переводивший все лукавые выверты кадия Гаруса, заметно оживился и, осмелев, тоже сердито посмотрел на полковника.

— Джанаби леченик, я скажу вам всю правду, от аллаха не скрыто, от вас тоже нечего скрывать, — перевел Панах слова кадия, и в голосе его уже не было привычного делового тона. Он говорил так же раздраженно и зло, закатывая свои круглые бараньи глаза и даже чуть повизгивая.

— Почтенным муллам нет покоя от господина Ефимова, которого простой темный народ называет «кашка-духтур». Зачем вы, леченик, позволяете этому господину оскорблять слуг пророка? Если все муллы будут подметать улицы и дворы, как приказывает им господин Ефимов, то кто же будет славить аллаха? А господин Ефимов заставил муллу мести улицу, и все это на глазах простого народа, который и так подвержен всяким соблазнам. Темные люди, забывшие дорогу в мечеть и заветы пророка, рады потешиться. А знаете ли вы, куда может завести все это? Сегодня посмеются над муллой, завтра надо мной, а потом и до вас, джанаби леченик, доберутся. И не думайте, что это все. Возьмем другое. Перед всем джамаатом господин Ефимов опозорил другую чалму пророка, заявив, что мулла Фалз присвоил деньги, собранные для водопровода. Разве будет теперь народ доверяться мулле, хотя все деньги целы, святая душа бережет их так же, как свою честь? Господин Ефимов высмеивает наших мусульманских лекарей, обвиняя их в невежестве, а святых мюридов, раздающих людям священные талисманы аллаха, называет шарлатанами. Вот что творится в нашем ауле, где стоит русская крепость, доверенная вам, джанаби леченик, русским царем. Пророк говорит: кто делает что-либо наполовину, тот совершает великий грех, поэтому я и пришел к вам, хотя и навлекаю на себя неприятности и могу показаться сплетником...

Все это полковник Брусилин выслушал молча, терпеливо и сдержанно, и только короткие, точно обрубленные пальцы тревожно поглаживали край подлокотника кресла, обитого, как и стол, дорогим голубым сукном. Он знал склонность кадия Гаруса преувеличивать. Не беспокоили его и прозрачные намеки на смуту — арсенал крепости не подведет, есть еще порох в пороховницах. И все же сказанное кадием неприятно удивляло.

К доктору Ефимову, отлично воспитанному, образованному, с безупречной репутацией светского человека, полковник испытывал почти отеческую привязанность.

Доктор Ефимов, в тридцать лет назначенный на высокую должность главного врача большого округа, человек покладистого характера, скромный, мягкой души, был приятен ему. А с тех пор как доктор вылечил от дифтерии Катеньку, десятилетнюю дочь Брусилина, полковник старался быть снисходительным к чудачествам доктора, о которых ему не раз докладывали, и терпеливо сносил все его санитарные затеи.

Очередная блажь доктора огорчила полковника. Ссора с местным духовенством грозила тайным доносом губернатору и могла изменить мнение о благополучии в Ахтынской крепости.

«Сейчас важно умиротворить кадия, а там как бог пошлет. Антон Никифорович свой человек, он должен понять, что с огнем шутить не следует», — решил Брусилин и, чтобы показать свою заинтересованность в деле кадия, сказал:

— Эффенди, поверьте, меня огорчает вольность господина Ефимова, и я непременно приму меры. Но не кажется ли вам, святейший, что все это от излишнего рвения к порученному делу? Поверьте, у господина Ефимова на уме и в сердце только чистота, — он деланно рассмеялся, встал и подошел к креслу, в котором сидел кадий. — А теперь прошу вас отведать чаю.

Но кадий Гарус покачал головой, отказываясь, и опять завел свое:

— Я считаю необходимым предупредить вас, что поведение господина Ефимова не так невинно, как вы полагаете, и оно может окончательно нарушить хорошие отношения джамаата к вам, леченик, и ко всему русскому, да сохранит аллах навеки вашу тень над нами, — переводил Панах, придавая словам и оборотам более официальный тон. — Господин Ефимов ездит на горячие источники и наблюдает, как купаются молодые женщины. — Он замолк, словно не решаясь открываться дальше.

— Ах вот как! — проронил полковник. — Продолжайте, любезный, мне надобно знать все. — Он прохаживался вдоль кабинета, поглядывая то на кадия, то на свои лакированные сапоги, грузно ступавшие по роскошному ахтынскому ковру ручной работы.

Панах собрался с духом и, пользуясь удобным случаем, выпалил то, чего не знал и не говорил кадий Гарус:

— Господин Ефимов ведет компанию со всяким сбродом, посещает базарную чайхану местного шута Гаджимурада, без дела придирается к почтенным людям нашего аула. Например, к моему дяде. Кроме того, у нас, — Панах так и сказал «у нас», — есть предположение, что господин Ефимов тайно лечит лезгинских девушек и скоро наживет врагов не только себе...

— Отчего же вы раньше молчали, почему не доложили мне? — привычно гаркнул полковник, теряя самообладание. Последнее сообщение было подобно выстрелу в спину. — Кто вам рассказал все эти бредни? — спросил он, глядя в глаза Панаху.

Переговорив с кадием, не спускавшим колючего взгляда с полковника, Панах ответил достаточно уклончиво:

— На источниках господина Ефимова видел почтенный мулла Фалз...

Полковник брезгливо поморщился. Доверять мулле Фалзу, над блудливостью которого потешался весь гарнизон, было бы непростительной глупостью.

— Ну, если мулла Фалз сообщил вам, то, стало быть, это так и есть. Я не оставлю без внимания вашей претензии и улажу все это дело...

Проводив кадия Гаруса до двери кабинета и миролюбиво распрощавшись с ним, полковник вызвал адъютанта.

— Немедля пошлите за господином Ефимовым, — приказал он.

С появлением доктора Ефимова в кабинете начальника округа воцарилось благодушие, редкое среди этих казенных стен. Мундир коллежского советника, безукоризненно сидевший на докторе, блеск медных пуговиц, прямая, почти военная осанка, открытое лицо, мечтательные глаза — все это успокаивало полковника.

— Дорогой Антон Никифорович, — говорил полковник, прохаживаясь с доктором под руку. — Когда же, наконец, мы станем серьезней? Опять жалобы, опять беспокойство... Помилуйте, зачем все это? В вашем возрасте нельзя допускать опрометчивых поступков, поверьте моему опыту. Нет, нет, я не против практики, но в меру, в меру... Не следует проявлять излишний пыл. В конце концов, гарнизон здоров, холеры в крепости нет, а вы скачете бог весть куда и печетесь о здоровье дикарей. Я понимаю, вы хотите добра, но дикость есть дикость, и неблагоприятные дикари бегут ко мне с доносами...

— Я не имею чести знать, Борис Александрович, о какой предосудительности в моей практике вы дознались, но поверьте, я не сделал ничего против своего долга. Я полагал, общее санитарное состояние округа и здоровье отдельных жителей находится в прямой связи с гарнизоном. Случись инфекция в далеком ауле — оружием с ней не справишься, ее не удержат ни крепостная стена, ни охрана. Через неделю она уложит всех нас. Разве не преступно было бы с моей стороны ждать этого страшного дня?

— Да, да, вы правы, дорогой, — сказал полковник, — но извольте все же быть сдержанней. Мы не в России. — Он грузно опустился в кресло, где недавно сидел кадий, и расстегнул верхнюю пуговицу мундира. Дышалось ему тяжело, и в присутствии доктора Ефимова полковник мог позволить себе эту вольность. — Надеюсь, вы не забыли свою затею с прививкой оспы? Но я не могу каждый раз посылать для этих целей солдат — их держат здесь для другой надобности...

Доктор молчал, темные глаза его смотрели сердито. Возражать было нечего, и все же в словах полковника была полуправда, которой он не выносил. Он отлично помнил прошлогодний апрельский день. Медлить было невозможно — черная оспа свирепствовала на севере Ирана.

Вместе с Берали и двумя взводами дюжих казаков он появился на шумной воскресной улице аула. И тотчас смолкла и поредела толпа. Как он и предполагал, казакам пришлось перекрыть улицу. А Берали взобрался на крышу ближайшего дома. Как забавно убеждал «духтур» Берали не уклоняться от прививки! Однако никто не шелохнулся. Тогда он попросил Берали спуститься и, высоко подняв рукав мундира, подошел к нему первым... Они оба работали до вечера. Он помнит и сейчас, как ныла от непривычного напряжения правая рука. Где-то за полдень он вспомнил о казаках и отправил их в крепость. Знал ли об этом Брусилин?

— Я приму к сведению вашу просьбу. Но поймите и меня, Борис Александрович, — решительно сказал доктор, вдруг нащупав верный путь к расположению полковника. — Мы — то русские. Государь доверил нам попечительство о крае, и можем ли мы позволить себе мириться с дикостью? Могу ли я не вмешиваться? Могу ли я спокойно взирать на грязь во дворах и на улицах и зловоние на базаре? А если завтра к нам пожалует генерал-губернатор?

Полковник расхохотался, как всегда громко, раскатисто-неприятно.

— Однако! Да в тот же час, когда губернатор только подумает посетить нас — меня известят об этом. Но этого и не случится — мы слишком высоко забрались. — Он встал, прошелся по кабинету. — Ну, полно, полно нам спорить! Меня радует такое вот рвение к делу. Но не осложняйте отношения со святыми отцами. Поймите, без дружбы с ними — нам пришлось бы здесь туго...

— В таком случае, я прошу вас, Борис Александрович, оказать мне вашей властью небольшую услугу. Нельзя ли созвать в ближайшее время всех влиятельных лиц аула во главе с кадием? Надобно решить вопрос о водопроводе...

Вошел адъютант полковника. В правой руке его был пакет.

— Ваше высокоблагородие, срочное донесение от начальника дакузпаринского участка капитана Чичинадзе! Разрешите?

Часть бесшабашного капитана Чичинадзе находилась в самых диких местах гор. Донесения от капитана полковник обычно читал незамедлительно, каждый раз ожидая очередной неприятности.

— Подай сюда!

Сердитый взгляд его впился в бумагу, брови насупились.

— Ну вот, дожили! Час от часу не легче. Полюбуйтесь! — Он подошел к доктору, протянул ему донесение и грузно зашагал из угла в угол.

«На горном пастбище Бухадур, расположенном на склонах Шалбуздага, — читал доктор, — внезапно скончалось несколько чабанов. Никто из жителей не знает истинную причину их смерти, но трупы их до сих пор не захоронены, ибо к трупам боятся подходить. Подозревают холеру».

Читать далее доктор Ефимов не стал. Он знал, где расположено пастбище Бухадур. Совсем рядом с ним проходит тропа в святые места Шалбуздага. А на ней... На ней сотни паломников со всего света. Там можно ждать всего. Оспа в прошлом году вспыхнула именно там...

— Борис Александрович, вы имеете представление, где расположено пастбище Бухадур? — спросил доктор.

— Да, мне докладывали, что где-то там проходит святая тропа. А что, вы тоже встревожились? Черт знает, что творится! — отвечал полковник, надеясь, что доктор Ефимов рассеет его тревогу.

Но тот сказал:

— Там опасно, Борис Александрович. И я обязан безотлагательно выехать на место, чтобы лично освидетельствовать трупы. Иного выхода нет, у нас были сведения, что холера свирепствует на севере Ирана, — решительно добавил он, поняв, что полковник хотел что-то возразить. — Я поеду, это мой долг!

— Хорошо, поезжайте, — полковник глубоко вздохнул. — Но будьте осторожны, щадите себя. Не лучше ли взять с собой взвод?

— Нет, нет, благодарю. Я пока поеду с фельдшером. А солдат вы отправьте завтра. Пусть ждут меня у мечети Шалбуз.

— Я не возражаю. Дело по вашей части, но... в случае малейшего подозрения — немедленно присылайте нарочного.

— Разумеется, Борис Александрович.

— Да, и еще одно. К вашему сведению и исполнению. Я обнаружил в крепостном лазарете горца. Вы распорядились. Вот уж это из рук вон, господин Ефимов. Мне этого не нужно в лазарете... Одним словом — чтобы это было в первый и последний раз.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сколько их было — сто или тысяча? Кто мог их пересчитать? Тяжелой цепью опутали они южный склон Шалбуздага, утопающий в весенней зелени. По узеньким тропкам тащили свое отчаяние и боль к священной гробнице Пир-Сулеймана. Искривленные лица, грязные лохмотья, тупые взгляды...

Хмурилось небо, затягивая свою голубую чистоту тревожными облаками. Меркло, отворачивалось солнце, отталкивало молящий зов нищих и калек.

— Ла илла иль Аллах!.. Мохаммед Расул Улла! Алла акбар! — летел он к небесам и падал, теряясь в ущельях.

Нельзя забыть незабвенное, вылечить неизлечимое, вернуть невозвратное...

Белая лошадь доктора заносила в сторону, словно пугаясь недобрых взглядов, обращенных к хозяину. Он ни на секунду не выпускал из виду широкую спину Берали, сдерживал повод и в точности повторял все замысловатые петли своего спутника. Торопиться тут опасно. Одно неосторожное движение, и мутные глаза паломников вспыхнут нечеловеческой ненавистью... Тогда — все кончено. Сгинешь в какой-нибудь бездонной пропасти...

В напряжении пришлось ехать долго. Наконец впереди показалась черная скала, за которой один за другим исчезали паломники. Берали ловко свернул в сторону, почти перед самым выступом, и они очутились на лужайке с высокой нехоженой травой.

— Теперь не грех и отдохнуть, — сказал Берали, спешиваясь.

Доктор был недоволен, долго молчал, потом заговорил, глядя куда-то мимо Берали.

— Я вот спрашиваю себя часто, неужели всем невозможно жить проще, чище, прямее, что ли? Неужели невозможна откровенность и доброта меж людьми? Знаешь, Берали, когда внезапно и неизлечимо заболел мой отец — я дал себе слово отдать себя людям. И я уехал сюда, в горы... в глушь. Друзья отговаривали, посмеивались, смотрели на меня как на чудака. Но мне казалось, что только здесь, в глуши, я смогу честно выполнить свой обет. Но здесь все так, как в России. Трудно. Ничего не получается. Все, от кого зависит жизнь ближнего, ухитряются отделаться лишь внешним проявлением участия.

Он замолчал, вспомнив свой последний разговор с Брусилиным, и радушная улыбка полковника вдруг показалась ему неприятной.

Берали посмотрел на доктора вопросительно. Но Антон Никифорович ничего не мог объяснить Берали, для которого Брусилин являлся олицетворением самой высокой власти. Расстелив бурку, он неохотно развязал хурджин, съел кусок лаваша, однако успокоиться не мог.

— Признаюсь тебе, Берали, еще недавно мне казалось простым делом построить в Ахтах больницу, хотя бы маленький стационар. Согласись, больница здесь необходима, возьми тот же случай с Салманом. Но теперь я чувствую трудность, а может быть, и бессмысленность моих стремлений. Какая там больница! Люди не хотят принимать то, что разумно. Деньги, собранные на водопровод, присваивает мулла, в пустой лазарет крепости нельзя положить чужого больного, а ученый кадий потворствует невежеству Махлус... Это же мерзость какая-то! Старуха не может справиться с обыкновенным карбункулом. Вокруг какой-то всеобщий неизлечимый обман. И я жалею, что меня учили лечить тело, а не душу. Надо уметь прежде всего лечить душу... Как ты думаешь, Берали, неужели кадий Гарус в случае необходимости тоже зовет к себе Махлус?

Берали усмехнулся.

— Нет, доктор, наш кадий никогда не зовет Махлус. Я хожу к нему, когда он болеет. Совсем недавно я брал в лечебнице лекарства для него. Но дело-то тут простое. Если Махлус лишится своих пациентов, кошелек кадия станет таким же тощим, как его хозяин, — он подмигнул доктору и рассмеялся.

Берали, трезвому практику, были чужды сомнения. Он никогда ничему не удивлялся, потому что с детства привык и к кадио, и к Махлус, и к русским солдатам в крепости. Берали казалось, что так было и так будет всегда. А с тех пор как доктор Ефимов появился в Ахта, жизнь Берали определилась и стала ясной, как полуденное небо. Теперь он хотел одного — во всем походить на доктора Ефимова. И добивался своего с завидным упорством, которое его никогда не подводило. Оно превратило его, толстого и неповоротливого мальчика, в ловкого джигита. В фельдшерской школе он, полуграмотный сын мелкого лавочника, упрямо и терпеливо одолевал науку, словно имел дело с необъезженной лошадей, и, к удивлению односельчан, получил важную бумагу с царским гербом. Теперь Берали хотел быть умным, как доктор, добрым, как доктор, если надо — строгим, как доктор. Полюбив Антона Никифоровича всем сердцем, Берали и лишнего часа не мог провести в одиночестве. Все, что делал и говорил Антон Никифорович, Берали принимал без колебаний и сомнений, на веру, как нечто святое. Но когда доктор грустил — доброе сердце Берали охватывало беспокойство. И он изобретал тысячу хитрых способов, которые могли бы вернуть доктору «радость души».

— Не думайте об этом, Антон Никифорович, взгляните, пожалуйста, вон туда. Вы видите крыши? Да-да, вот эти несколько крыш, совсем немного их. Это аул Джаба. Там живут наши горские выдумщики. Страсть к затеям не дает им спать по ночам, и все там постоянно что-нибудь выдумывают. Прослышали однажды джабинцы на базаре про новые мельницы без крыльев. Через несколько дней шумит наш аул: «Джабинцы поставили новую мельницу у оврага. Подумайте, люди, как быстро они сладили это дело, наверно, опять день и ночь работали! Хоть бы одним глазком взглянуть на это чудо!» Один любопытный не выдержал — отправился в Джаба. Пришел, видит — стоит чудо-мельница у оврага. Все на месте, и шлюзы, и колесо, и жернова. Но тихо вокруг — ни единого звука. «А где же вода?» — думает он. Идет дальше, молча проходит мимо мечети.

— Остановись, собачий сын, или ты ослеп? — кричат ему джабинцы. — Почему приходишь в наш аул и не приветствуешь нас — или ты не мусульманин?

— Что вы, что вы! — обиженно отвечает пришелец. — Видит аллах, я истинный мусульманин. Я сказал всем: «Салам-aleyкум, джабинцы», — но вы не слышали. Наверно, это вода в вашей мельнице так шумит, что вам уши заложило?!

— Вах! Вах! — застонали джабинцы. — Разве и вода нужна?..

С тех пор стоит в сухом овраге чудо-мельница... Антон Никифорович улыбнулся, но как-то нехотя, через силу.

— Мне хочется хоть одним глазком взглянуть на гробницу Пир-Сулеймана. Не подождете ли вы меня здесь с лошадьми?

— Ясно, мусульманин Берали, ты хочешь от меня отделаться. Нечего гяуру осквернять гробницу святого шейха! Отправляйся, но не забудь и мне принести частицу святости!

Берали благодарно кивнул и быстро исчез за скалой.

Святому Сулейману нельзя было не позавидовать. Аллах свидетель, для простого смертного вторую такую гладкую площадку в горах не отыщешь. Такую ровную, красивую, усыпанную розовой пылью скал Шалбуздага. Серый камень квадратной ограды мавзолея так легок, но какое величие в нем! Воистину святость есть святость, даже по камню это видно. А сам мавзолей?

Кажется, небесная синь Мекки окрасила его остроконечный купол. Как вечность седая, плита у входа. Так и тянет прочесть арабские письма на ее шершавой глади.

Берали осторожно приоткрыл дверцу ограды и приблизился к входу в мавзолей, не обращая внимания на предостерегающие жесты паломников. Таинственная дверь не давала покоя. Когда один из мюридов, охранявший прах святого, открыл ее, Берали, поборов страх, юркнул в мавзолей и притаился в углу.

Святой Сулейман покоился в мрачном склепе. Жалкий луч света пробивался сквозь маленькое оконце в южной стене. Посередине склепа стоял овальный холм из гладкого цемента. На нем лежали зеленые от плесени ковры, наполнявшие склеп отвратительным запахом гнили. Берали едва не потерял сознание. Чтобы удержаться на ногах, прислонился к холодной стене у двери — внимательно оглядел святое место.

В головах две мраморные плиты — черная и белая, обе с арабскими надписями. В ногах зияет черная яма, вырытая в земляном полу.

Мюрид, засучив рукава, достал из ямы горсть земли и, не смея повернуться к могиле спиной, попятился к выходу. Дверь закрылась.

О аллах, как затрепетало сердце Берали, казалось, стук его слышал сам святой Сулейман, придавленный цементом и коврами! Дрожащими руками Берали приоткрыл дверь и выглянул в щелку.

Мюрид уже был за оградой. Паломники ждали его, держа на вытянутых ладонях чистые платки. Подходя к каждому, он клал в платки по шепотке святой земли. Все были поглощены священнодействием, и Берали смело открыл дверь. Вместе с дневным светом к нему вернулось прежнее любопытство, и он, оглядывая сваленную у ограды «садаку» — мануфактуру, ковры, бараньи туши, узелки с монетами, пришел к выводу — святая земля определенно не стоит того, что за нее дают паломники.

— Ну вот и я! — сказал Берали, выходя на поляну, где он оставил Антона Никифоровича.

Доктор вскочил, попятился, притворно замахав руками.

— Что я вижу? Господи, да у тебя выросли ангельские крылья.

Берали с досадой махнул рукой.

— Ничего там нет такого в этой могиле, гниль да сырость! Здесь есть другие святые места, давайте вместе посмотрим. Честно скажу — одному страшновато. А лошадей оставим тут. Совсем рядом пещера охотника Пирима, ее так и прозвали — Авчи Пирим...

Берали повел Антона Никифоровича по розовой дорожке к скалам. Он остановился у огромного валуна с выемом внутри, где свободно могли поместиться два-три человека. Валун был обнесен каменной оградой.

— Это и есть Авчи Пирим. Здесь витает дух самого смелого охотника в наших горах. Старики рассказывают, Авчи Пирим спрятался тут от разъяренных снежных барсов. Он убивал их за то, что те слишком любили питаться дикими козочками и турами. Барсы преследовали Авчи. Он закрыл вход камнем и через щель уложил всех до единого обычными стрелами. С той поры сюда сбегаются все козы и туры, спасаясь от хищников. Теперь посмотрим мечеть и поедем, она тут совсем рядом...

Доктор покорно следовал за Берали, не пытаясь протестовать. Лицо его верного спутника дышало таким детским любопытством к таинственным местам, что отказать ему было решительно невозможно.

Мечеть стояла недалеко от пещеры Авчи Пирима, на песчаной равнине. За ней высились розовые утесы Шалбуздага, Рядом с мечетью — небольшое строение. Для отдыха паломников, как объяснил Берали.

Тут чувствовалось присутствие людей. По углам на веревках висели тулупы, войлоки, бурки. На полу стояли медные и глиняные посудины для еды — котлы, миски, джамы и множество различных ложек — от большой до чайной. Вкусно пахло жареной бараниной...

Берали приложил палец к губам и увлек доктора к одной из скал.

— Заклинаю вас аллахом, не шевелитесь, — прошептал он, — сейчас мы увидим, как очищаются грешные души...

Глазам их открылось нечто невероятное. К узкой, в ладонь, расщелине между двух огромных глыб ползла горбунья в коротком овчинном тулупе.

— Астафирулла! Астафирулла! Астафирулла! — причитала она, вытянув морщинистые руки. — Прости, о аллах, мне мои прегрешения, ты же видишь, всевышний, я свершила их не по своей воле! — Эхо ее хриповатого голоса гулко понеслось по скалам, и казалось, что камни сердятся.

Старуха подползла к расщелине, и руки ее, а затем и голова, и ноги, будто по частям, исчезали между двух глыб. Антон Никифорович невольно потерял глаза, не веря себе. Неужели старуха могла протиснуться в столь узкую щель? Вскоре грешница жива и невредима показалась из-за скалы, а к расщелине уже полз очередной грешник.

— Что же это такое, Берали? Как это им удается? Нет, нет, я должен взглянуть, каким образом они вылезают с той стороны...

— Антон Никифорович, нельзя вам туда, — сказал Берали, обгоняя доктора и пытаясь закрыть его собой, но он опоздал.

Цепкий взгляд старухи уже заметил их, и камни вздрогнули от ее зловещего крика.

— Кя-фи-ры! — дико завопила она, и камни на тысячи ладов отозвались ей.

— Кя-фи-ры! Кя-фи-ры! Кя-фи-ры!

К старухе бежал толстый мюрид в черной каракулевой папахе с белой повязкой, а за ним люди, еще и еще...

— К лошадям, скорее, скорее! — вскрикнул Берали и потащил Антона Никифоровича за руку.

Они бежали по узкой тропинке, мимо домика паломников и мечети, а толпа, преследовавшая их, все росла и росла.

— Мусульмане! Кяфиры опоганили наши святыя места! Пир-Судейман в гневе!

Проклятья озверелых фанатиков неслись им вслед вместе с градом камней...

Только вскочив на лошадь, Антон Никифорович почувствовал боль в голове и понял, что ранен, но промолчал. Когда они выбрались из святых мест, совсем стемнело. До пастбища Бухадур осталось рукой подать, но путников накрыла страшная гроза. Затяжные молнии бились о скалы, освещая узкую тропу призрачным светом.

— Пожалуй, взбунтовавшаяся стихия не менее опасна, чем фанатики, как ты думаешь, Берали?

Берали придирчиво оглядывал скалы, выбирая место посуше. Наконец, они устроились в просторном гроте и просидели там до рассвета, прижавшись друг к другу.

На рассвете дождь перестал. Горы, напуганные грозой, притихли и насторожились. Выйдя из грота, Берали невольно отступил назад. Слева от него чернела глубокая пропасть. Аллах ведаёт, как они не попали в нее ночью? Предупредив Антона Никифоровича, Берали стал выбираться с лошастью первым.

На пастбище их встретила группа солдат и серкер-барановод, высокий чернявый горец в бешмете.

— Аллах свидетель, никто не видел, как они умерли. Лежат, как скошенные. Пропала отара моих овец, которую они охраняли. — Он указал на невысокий холм, над которым кружили хищные орлы.

Вместе с Берали Антон Никифорович направился к трупам и долго осматривал их. Папахи, волосы, усы и лица трех чабанов — все было сожжено, без сомнения, молнией. Вокруг и трава была черной.

Антон Никифорович подзвал серкера и солдат. Он долго объяснял серкеру по-лезгински, что случилось с чабанами, а потом сказал солдатам:

— Заверяю вас как врач, что ничего страшного для вас здесь нет. Людей, конечно, жалко, но они убиты молнией, понимаете, молнией в грозу. Где капитан Чичинадзе?

— Закусывают, ваше благородие...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Луч солнца робко заглянул в круглое отверстие плоской земляной крыши и пощекотал щеку спящей Алван. Она вскочила, потерла слипающиеся глаза, закричала в закрытую дверь:

— Мама, ты опять не разбудила меня! Почему ты меня не разбудила?

Халум возилась во дворе, третий раз за месяц обмазывала свежей глиной порог сакли, надеясь на приезд мужа. Все мысли ее были в Баку, с Карибом, и ей хотелось покоя. Поэтому Халум и не тревожила дочь.

— Куда тебе торопиться, доченька? — отвечала Халум из-за двери. — Некуда спешить. Завтра отнесешь побольше. Полежи еще, пусть и дети поспят.

Эти слова Алван слышит третий день подряд. Проклятый теленок, сам шайтан ему брат, опять перехитрил всех. Опять сорвал веревку и высосал все молоко до капли! О аллах, что подумает доктор? И Абдулжалил — чем он будет кормить доктора и Берали? Скажут — пока лечили ее, неблагодарную, носила молоко каждый день, а выздоровела — и след простыл. Говорила Алван матери — надо было караулить теленка ночью, надо было взять его в саклю или самой лечь рядом с ним в хлеву, а мать заупрямилась. Теперь вот, пожалуйста, — спи-высыпайся. Молока нет.

Алван повертелась, выпила воды и опять легла на свое место рядом с детьми, которые безмятежно и сладко посапывали во сне. Какое дело детям до ее забот? Им-то проклятый теленок ничего не сделал.

Долго лежала Алван, неподвижная, глядя темными и недоверчивыми глазами в кусок неба, видневшийся в потолке сакли.

Все выходило так, словно аллах и не слышал ее молитвы. А ведь вчера вечером перед сном Алван молилась. Смотрела на звездное небо через гурмаг, как учил отец. Он всегда говорил, что через эту дырочку в потолке сакли молитва обязательно доходит до аллаха. Сидит-то всевышний

именно на том месте, которое виднеется из гурмага. Дырочки и сделаны для того, чтобы аллах видел, что творится в бедных домах.

А разве не чисты были ее мысли вчера вечером? Плохого она не замышляла. Отнести молоко добрым людям — разве это грех? Конечно, ей хотелось увидеть доктора. Привыкла она. Ласковые глаза, приветливый голос. Нигде не встречали ее так радостно, как в этом русском доме. Каждое утро на крыльях летела туда Алван. Хорошо ей было там и спокойно. Не хотелось уходить. Теперь вот проклятый теленок все испортил... Заворочались дети, проснулись, завизжали, щекоча друг друга. Поднялась и Алван. Умылась, причесала длинные косы, умыла и накормила детей. Придирчивым взглядом оглядела саклю — все сегодня не нравилось ей. Опять дети разбросали, перевернули все вверх дном. И принялась Алван за уборку. Чистила, мыла, вытирала, вытряхивала. Ни одной соринки не оставила. Забылась Алван в делах, легче стало на душе. Пошла в хлев напоить теленка. Только управилась с ним, вбежала в хлев растерянная мать.

— Ой, Алван, Алван, что нам делать? Сюда ползет старуха Махлус.

Вздрогнула Алван, как от удара. Только этого ей еще не хватало. Может, ошиблась мать? Подлетела к забору. Верно, старая ведьма брела по дороге прямо к их сакле, шарахаясь из стороны в сторону, словно ослепшая от солнца летучая мышь.

«О, аллах, что же делать, куда спрятаться? — мучительно думала Алван. — Сейчас она увидит меня здоровой и запросит обещанного теленка. Прикинуться больной? Лечь в постель? Но все равно Махлус узнает, что рана зажила. Устроит скандал на весь магал. Нет, нет, нельзя пускать ее в саклю».

— Мама, мама! — Алван подбежала к матери и зашептала ей на ухо: — Давай спрячемся. Что же нам делать еще, как не спрятаться? Она заберет у нас теленка!

— А дети где? — прошептала в свою очередь Халум. — Как мы спрячемся без них?

— Нет детей, убежали куда-то. Ничего не случится, нет нас дома, да все!

Они, пригнувшись, юркнули в саклю и закрыли дверь на крючок. Халум прилегла отдохнуть, а Алван притаилась в углу поближе к двери.

Скрипнула калитка, дернулась дверь, трещат петли. «Старая-то ты старая, — думает Алван, — а силы на семерых хватит. Ну, ничего, приедет отец из Баку, привезет новые петли, обязательно дверь перетянет. Он всегда дверь чинит, когда приезжает. Отец не мать, с ним я прятаться от тебя не буду...»

— Ха-аа-лум! Ха-аа-лум! — кричит Махлус на весь двор противным гнусавым голосом. По сравнению с ним и скрип ржавых петель кажется Алван райской музыкой.

«Нет никого, сколько ни кричи. Нет нас дома, да и все тут».

Что-то бормочет старуха, приговаривает.

Хочется Алван хоть одним глазом взглянуть на Махлус, она тянется к двери, но Халум сердито машет руками, и Алван замирает на месте, напрягая слух.

— Вечно носятся где-то эти паршивки — никогда их нет дома, да ослепнут глаза их от дорожной пыли, — с досады Махлус даже плюнула. — Вот что значит — нет дома хозяина. Может, в баню они пошли, да обрушится баня на их головы! — слышит Алван проклятия старой Махлус. — Ну ничего, видит аллах, торопиться мне некуда, подожду их, пока вернутся, — шипит ведьма и затихает.

Хрустит песок. Скрипит калитка. Так, значит, подперла горбом забор, и теперь с места ее не сдвинешь. Теперь до вечера просидит.

— Ну что, ушла она или нет? — шепотом спрашивает Халум.

— Тише, мама, тише, не говори ничего. Никуда она не ушла. Сидит у забора, ждет нас, —шепчет Алван и с надеждой смотрит на мать, может, мать что-нибудь придумает.

— Вот видишь, негодная, что ты наделала! Вечно ты что-нибудь натворишь. И зачем я тебя только слушаю? Дети вернутся — испугаются, будут плакать.

Ничего не скажешь — мать права. Сидит пугало у забора — как тут не заплакать? От Махлус и взрослые шарахаются. Неужели она всегда была такой страшной? Нет, люди говорят, Махлус почернела от своих черных дел. Сколько морщин на ее безобразном лице — столько и душ загубленных.

Права мать, зря они спрятались. Поторопились. В случае чего можно было бы Джавада позвать — он даже бешеного волка не испугался. Придется выходить — ничего не поделаешь,

— Мама, мама, — виновато зашептала Алван. — Я посмотрю — может, она ушла.

Алван тихонько откинула крючок, легко приотворила дверь и выскользнула во двор.

Так и есть. Махлус пристроилась у забора. Головы Махлус не видно, один горб торчит. Алван кашлянула — Махлус не шелохнулась. Может, спит? Подошла поближе. Точно, спит. Умаялась. Не легко, видно, жить под тяжестью грехов. «Наверное, ночью ей загубленные души мерещутся», — подумала Алван и на мгновение зажмурилась. И тотчас возникло перед ней нечто, чему не было названия. Черное и белое одновременно. Огромное и страшное. Алван открыла испуганные глаза. Яркое солнце как ни в чем не бывало ласкало землю, Махлус спала у забора.

Осмелев, Алван приблизилась к спящей горбунье, склонилась над ней, прислушиваясь к тяжелому дыханию. Потом ловко ухватила край сбившегося грязного платка Махлус и потянула его вниз, прикрывая ненавистное лицо. Помедлив, Алван выпрямилась и отвернулась от Махлус. Глаза ее лукаво блестели, и по-детски припухшие губы разошлись в довольной улыбке. Теперь Махлус вполне могла сойти за ворох грязного тряпья. Вспомнив о детях, Алван отошла от забора, взгляделась в дорогу...

О, аллах, дóроги, дóроги твои талисманы! Чем заслужить милость твою, если и безгрешной душе посылаешь ты такие испытания?

Где-то совсем близко, в переулке, послышался знакомый приглушенный говор. Заколотилось сердце Алван, затрепетало, словно птица в сетях. Забыла Алван о Махлус, забыла о матери. Рванулась на голоса, да так и застыла на месте. Страшнее грязных лохмотьев Махлус показалось ей собственное вылинявшее платье, запачканное в запале недавней уборки. Слава аллаху, причесаться утром успела, да и то — разве это косы? Растрепались, пока ползала по полу, скрываясь от проклятой ведьмы... А ноги? Ноги! Разве теперь успеешь сбегать за чувяками? Да и уходить нельзя — вдруг ведьма проснется? Так и стояла Алван, завороженная ожиданием. Только ледяные руки приложила к пылающим щекам.

А из-за угла крайнего дома уже показалась знакомая фигура доктора Ефимова в сопровождении босоногого потомства Халум и Кариба. Дети, нетерпеливо забегаая вперед, то и дело взмахивали тонкими смуглыми ручонками, указывая путь к дому. Вслед за ними из-за угла появился неторопливый Берали. В правой руке он тащил предмет, известный всему аулу под названием «кастрюль доктора». Блеск стерилизатора, соперничая с самим солнцем, придавал этому странному шествию вполне деловой и внушающий почтительность вид.

Алван глубоко вздохнула, резко выпрямилась, отвела руки от пылающих щек, словно сбрасывая свое смятение. Величественно и нетерпеливо ждала ахтынская Пери, пока желанные сердцу гости приблизятся к ней.

Потом приложила палец к губам, покачала головой и, ни слова не говоря, провела изумленных мужчин мимо спящей Махлус прямо в саклю.

— Милая Алван, что-нибудь произошло? — шепотом спросил доктор, не решаясь нарушить таинственную тишину, и, взглянув на растерявшуюся при виде важных гостей Халум, извиняющимся тоном добавил: — Мы с Берали зашли справиться о вашем здоровье...

Счастливый смех Алван рассыпался по низкой сакле тысячью серебряных колокольчиков.

— Спасибо, Спасибо, джан духтур! Ничего не произошло, ничего, слава аллаху, не случилось. Пожалуйста, садитесь, посидите у нас. — Она выдвинула на середину сакли почерневший от времени единственный табурет. — А вы, духтур Берали, пожалуйста, присядьте сюда, палас этот почти совсем новый, отец привез его прошлой зимой.

Видя, как покорно подчинились ее дочери важные господа, Халум, всегда стеснявшаяся своей бедности, тоже оживилась.

— Да, да, духтур Берали, пожалуйста, не беспокойтесь. Алван у меня хорошая хозяйка, в доме у нас чисто, посмотрите сами, — быстрым, но придиричивым взглядом она обвела свое жилище.

Все было в порядке, все было на месте. Постели свернуты и уложены в углу на паласе. Медная посуда, уставленная в нише, сияет, как сама «кастрюль доктора». Рядом с нишей сидят присмирившие дети и таращат глаза то на доктора, то на диковинную «кастрюль». Конечно, почерневшие балки не украшают саклю. Бедность есть бедность. В нишу ее не спрячешь, ковром не покроешь. Но важные гости словно и не замечали низких темных стен. Улыбаясь, смотрели они на Алван, стоящую как страж у двери.

— Дорогой доктор, Антон Никифорович, — говорила Алван, коверкая трудное для нее русское имя и старательно выговаривая шипящие, — в нашего теленка вселился шайтан. Третью ночь ненасытный выпивает все молоко, вам ни капельки не оставляет. Если было бы молоко — разве я не пришла бы? — она прижала к груди тонкие свои руки и чуть склонила голову, прикрывая густыми ресницами сияющие глаза.

Когда через мгновенье Алван подняла голову, глаза ее блестели еще нестерпимей.

Антон Никифоровича словно ожег этот блеск. В нем опять, как и в первый ее приход, возникла нежность.

— Ах, вот как, — сказал он глухо, глядя на ее крепкие босые ноги, казавшиеся на шершавом земляном полу особенно маленькими и теплыми. Смешался, отгоняя какие-то свои мысли, потом, как и прежде, стал спокойным, сдержанно-веселым.

— Берали, я надеюсь, теперь ты понимаешь, почему нас ввели в этот дом с такой осторожностью? Здесь опасаются прогневать прожорливого теленка, не так ли? Ну что ж, сударыня, соблаговолите передать вашему идолу, что мы готовы смириться с судьбой, мы станем употреблять напитки другого цвета.

Берали, не спускавший глаз со стерилизатора, который необъяснимым образом передвинулся к детям, лишь вежливо улыбнулся словам доктора. Улыбнулась и Халум, ей нравилось, что важный русский господин сидел в ее неказистой сакле, как свой, и был так прост к ней, к ее дочери, к их бедности.

А Алван опять счастливо рассмеялась и, изредка косясь на прикрытую дверь, долго рассказывала о старухе Махлус и о теленке.

— Разве вы ничего не заметили? — удивлялась она. — Теперь вам тоже придется ждать, пока она выпится. Как же вы теперь выйдете — она может проснуться и увидеть вас.

Голос ее теплыми волнами наплывал на Антона Никифоровича, но он почти не понимал того, что она говорила. Только вслушивался в голос, глядя на нее пристально и замирая от того, что она старалась держаться так свободно, без тени прежнего смущения перед ними, видел во всем этом особый для себя смысл. Он понимал, как трудно ей было переступить и свою бедность, и свой извечный страх. Но она переступала твердо, не оглядываясь, и нельзя было понять, то ли она снисходит к нему от своей юности и гордости, то ли сама поднимается к его годам и положению. И глаза ее напоминали теперь не спокойное дно родничковых озер, а тихий омут.

— Беда невелика, я полагаю, старуха не осмелится проснуться при нас. А нам надо бы перевязать рану...

Алван помрачнела, слегка сдвинула брови. При матери? При детях? Одно дело, когда мать знает, что ее лечит мужчина, другое дело... Она взглянула на Антона Никифоровича. Он понял, ей невозможно сделать это, она щадила мать. И поправил положение:

— Впрочем, серьезной необходимости в этом сейчас нет, если не беспокоит. — И для твердости своих слов прибавил, взглянув на стерилизатор: — Я хотел бы сделать перевязку с новым средством, да не захватил его с собой.

Взгляд Антона Никифоровича остановился на детях. Таинственная «кастрюль» холодно блестела между двумя вылинявшими, в заплатках рубашонками. В худых джурабах жалко высвечивали потрескавшиеся маленькие пятки. Он достал из верхнего кармана сюртука бумажник.

— Уважаемая Халум, примите от меня для ваших малышей...

Халум испуганно поглядела на Алван, боясь и взять и обидеть гостя отказом.

В тот же миг ветхая дверь сакли дернулась, жалобно скрипнув проржавевшими петлями, и на пороге зачернел горб Махлус, особенно безобразный в льющемся с улицы солнечном свете. Алван, стоявшая у двери, обернулась, попятилась, но потом решительно встала лицом к Махлус, раскинула руки, смешно вывернув маленькие ладони, словно хотела прикрыть ими всех, кто был в сакле.

Дети бросились к матери, Берали, сидевший на паласе, уютно сложив ноги калачиком, вскочил и подался к доктору, а доктор сделал шаг к Алван.

— Вот ты где, дочь бакинского тартара! — зашипела Махлус, просверливая Алван колючим взглядом.

— Я дочь Кариба, бабушка Махлус, что вам нужно? — Алван опять глядела прежней девочкой, тихой, приветливой, кроткой.

Ответь Алван порезче, Махлус стерпела бы, она давно побаивалась важного русского. Но эта смиренность, кротость взбесили ее.

— Убери свои бесстыжие глаза, проклятая!.. Она еще прикидывается овечкой! — зашипела Махлус. — «Что вам нужно, бабушка Махлус?!» — тоненьким голосом передразнила она Алван, растянув в безобразной улыбке синеватые, сморщенные старческие губы. — Может быть, это я показывала тело русскому доктору? Нет, видит, аллах, это ты опозорила весь наш аул! Ну, погоди, собачья дочь, посмотрим, что скажешь ты со своей матушкой, когда джамаат призовет вас к

ответу! Черным будет для вас этот день, — несла она проклятья, надеясь, что русский не поймет ее слов.

Протяжный горестный вопль Халум заставил ее замолкнуть. Алван бросилась к матери, приземистая фигура Берали тотчас выросла на ее месте у порога, почти заслоняя тщедушную Махлус.

«Чертовщина какая-то», — с досадой проговорил Антон Никифорович по-русски и тоже шагнул к порогу, давая всем своим видом понять, что его терпение иссякло.

— Вот что, милая, прекрати каркать и убирайся отсюда подобра-поздорову, — сказал он без малейшей запинки по-лезгински, чем просто ошарашил старуху. Ей достаточно было и одного ученого Берали. — Не то я сейчас же позову казаков и прикажу забрать тебя. И ты немедленно отправишься в Сибирь замаливать свои грехи. А теперь вон отсюда, чтоб и духу твоего не было!

Казалось, неведомый сибирский мороз уже коснулся дряблого тела Махлус, ошалевшей от неожиданного вмешательства русского. Она болезненно сморщилась, сжалась под лохмотьями и вышла из сакли.

Антон Никифорович невольно рассмеялся, переглянувшись с Берали.

— Воистину говорится: от черта отстал и к людям не пристал, — сказал он, подходя к своему прежнему месту. — Успокойтесь, уважаемая Халум, и положитесь на меня. Она не осмелится докучать вам. А мы пойдем. Прощайте. — Он пошел к двери.

На улице было душно и знойно.

Проводив доктора и Берали до калитки, Алван вернулась в прохладную саклю и остолбенела. В сухих, темных и жилистых руках матери радужно зеленели новенькие кредитки, которых она никогда в жизни прежде не видела.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В это утро Абдулжалил проснулся чем свет. Был тот ранний час, когда, по словам горцев, ночь еще не успела подобрать свой черный подол и нырнуть в землю, а день еще не поднялся из-за розовых вершин Шалбуздага.

Накинув на плечи бешмет, Абдулжалил выглянул в окно, выходявшее на улицу. Аул мирно спал. Уходящая вниз, к реке, узкая и длинная улица была безлюдна. Спал еще даже «шах» Гюлемет, который по вечерам заправлял керосином и на рассвете гасил «русскую светилку» — фонарь на перекрестке трех дорог, у ворот соседа Исми.

Абдулжалил недоуменно пожал плечами: что же его разбудило? Небо ясное, безоблачное, отчетливо видны вдаль крутобокие горы. Чуть слышен шум реки. Сонно кричат первые петухи.

Вдруг Абдулжалил насторожился: из комнаты доктора доносился шорох шагов, неясное бормотание.

«Если бы ему что-нибудь было нужно, позвал бы меня, — подумал. Абдулжалил. — Или, как он это любит делать, пошел бы и взял сам... А может быть, доктора разбудили мыши? Опять развелись, проклятые, носятся ночами по полу и крыше, не дают спать. Грызут сухое дерево, будто чеканщик выбивает узоры на железе...»

Абдулжалил присел на постель и задумался. Конечно, доктору здесь не сладко. Совсем один Антон Никифорович — родные его в шумном Тифлисе. Что офицеры, крепость — так, пустое дело. Нет у доктора ничего такого для души.

Антон Никифорович, верно, не спал. Он то ходил по комнате из угла в угол, то присаживался к окну и, вздыхая, смотрел на звезды, уже едва различимые. Распахнул окно. В комнату ворвался грохот неукротимой реки, запахло мятой и мокрым камнем. Одна звезда над коричневой громадой Шалбуздага горела ярче всех.

Странно, но она живо напоминала Антону Никифоровичу глаза Алван, бесконечную, невысказанную нежность в них, трепет чистого чувства, о котором не подозревает и она сама, Алван. Удивительная девушка. Счастливым будет тот, кого полюбит она.

Антон Никифорович давно уже разговаривал вслух сам с собой, но не замечал того, всматриваясь в нагромождения гор, в плоские кровли жилищ, карабкающихся по склону, в тонкую звезду украшенного полумесяцем минарета. «Алван — это, кажется, по-лезгински красный тюльпан, — не то говорил, не то думал Антон Никифорович. — Нежный, осыпанный утренней росой цветок. Судьба так странно столкнула нас... Нет, видно, нельзя было нам не встретиться... Эта мысль заставила доктора вскочить. И яркая звезда над вершиной Шалбуздага, печальная и таинственная, погасла. Антон Никифорович прошелся по комнате, постоял у стола, без нужды перекладывая с места на место журналы и книги.

Теперь он припоминал многочисленные мелочи, которым раньше не придавал значения. Как медленно шли Алван и Джавад по дороге в то утро, когда девушка переступила порог его дома! Рука Джавада на рукояти дедовского кинжала. Весь его вид как будто говорил: «За эту девушку я готов драться с кем угодно». Разве можно ему встать между ними? Нельзя давать волю своему чувству — и оно иссякнет, как иссякают здесь заброшенные людьми родники. «Вода умирает...» Как точно говорят горцы...

Но стоило ему вспомнить робкую улыбку Алван, как он опять начинал шагать из угла в угол, перебирая в памяти все подробности своих нечастых встреч с ней. И вдруг... Антон Никифорович остановился, потрясенный одним воспоминанием... Кажется, Абдулжалил ему говорил, что Алван и Джавад — молочные брат и сестра, что они вскормлены одной грудью. Если это действительно так, значит... Коран воспрещает такие браки! Господи, вот уж это истинное несчастье.

Антон Никифорович шагнул к кровати и, опираясь на нее рукой, сел. Никогда раньше у него не болело сердце.

— Я войду, Антон Никифорович? — спросил, приоткрыв дверь, Абдулжалил. Он слышал, как вскрикнул доктор. — Доброе утро...

— Доброе утро, Абдул.

— Уж вы не заболели ли, да пошлет аллах вам здоровья, — проговорил Абдулжалил, подходя к кровати. — Что-то лицо у вас белое...

— С сердцем нехорошо, брат...

— О, аллах! Пойду сейчас позову Берали, пусть лечит доктора...

— Нет, нет, Абдул. Это не поможет. Скажи, верно, что Джавад и Алван — молочные брат и сестра?

Абдулжалил неопределенно пожал плечами, удивленный столь несерьезным вопросом.

— Люди об этом говорили, но точно не знаю. Все может быть, ведь они соседи. А где дружба — там и родня...

Антон Никифорович вздохнул и закрыл глаза.

— Мне лучше, ты не беспокойся, — сказал, не открывая глаз. — И знаешь что? Приготовь-ка сегодня чего-нибудь повкуснее! Гаджимурада позовем. Может, еще гости придут. Сегодня я весь день дома буду...

Абдулжалил неслышно вышел, а доктор лег, глядя в потолок. «Если она не может соединить свою судьбу с судьбой Джавада, красивого, честного и мужественного, то кому же она достанется? — спрашивал себя Антон Никифорович, и хитрить с самим собой ему становилось все труднее. — Сынку какого-нибудь богатея или муллы, будет влачить жалкую жизнь, покорную, бессловесную?..» Нет, он не мог представить Алван жалкой рабыней, каких он привык видеть в каждой сакле...

А в кухне, возясь над тушей ягненка, Абдулжалил тем временем думал над странностями русского доктора, который давно покорило сердце Абдулжалила: «Правду говорил Гаджимурад — святая душа Антон Никифорович. Чего только не сделает для бедных людей! Нет дела такого, видит аллах. Вот и теперь тревожится... Что ему эти дети? Молочные, не молочные... Пусть молочные, если ему так хочется, — лишь бы сам был здоров...»

Скрипнула во дворе калитка. На залитом солнцем крыльце появилась Алван с кувшином в руке. Монетки и медные украшения, пришитые к рукавам ее нового платья, позвякивали.

Полное лицо Абдулжалила осветилось довольной улыбкой.

— Доброе утро, дядя, — поклонилась Алван, и монетки на платье опять звякнули.

— Доброе утро, детка. Пришла, наконец, душа джейрана, глаза лани?!

— Не рано ли пришла я, дядя? Доктор, вижу, еще не встал...

Абдулжалил, понизив голос, сказал:

— Может, он и совсем сегодня не встанет. Может, он заболел — что же, доктор заболеть тоже может. Плохо спал, совсем, можно сказать, не спал. Ночью туда-сюда ходил, разные слова говорил. А я спрашивал — сказал: сердце болит. Иса белый-белый, как снег в горах...

— Аллах акбер! Да исчезнет болезнь, исчезнет! Нельзя ему болеть, видит аллах! Что же делать нам, дядя? Может, я схожу за духтуром Берали?

— Нет, нет, душа джейрана. Говорит: не поможет. Ты зайди к доктору, детка. Поговори с ним, скажи что-нибудь, у тебя такой ласковый голос. Ты знаешь, как он говорит: «Абдулжалил, Алван меня радует, как родной человек». Пойми, детка, надоели ему наши усы и черкески... Зайди!

Алван в испуге отступила на шаг к двери.

— Но я же не доктор, дядя!

— Нет, детка, нет! Разве это я хотел сказать? Конечно, ты не доктор. Но знаешь ты, как называли старые люди девушек в твоем возрасте? Они говорили: «Это девушка, готовая зажечь огонь любви». Положит такая девушка руку на лоб больному, и станет больной здоров, будто только родился, аллах свидетель, это истинная правда. Поэтому я тебя и прошу... — Он с такой мольбой посмотрел на Алван, что та, не говоря ни слова, подошла к двери и постучала.

— Войди, Абдул! — ответил голос Антона Никифоровича.

Абдулжалил подскочил к двери, распахнул ее, пропуская Алван вперед. Она стояла, опустив глаза. Молчание затянулось, и доктор, словно не веря своим глазам, медленно поднялся с постели.

— Алван? Это ты?..

— Доброе утро, доктор, да поможет тебе аллах! Дай мне потрогать твой лоб, тебе станет легче, так говорят старые люди, — сказала она, оглядываясь на Абдулжалила.

— Клянусь, Антон Никифорович, болезнь пройдет, как только девушка, готовая зажечь огонь любви, дотронется до твоего лба, — добавил Абдулжалил.

В каком-то безотчетном порыве Антон Никифорович сделал к Алван несколько шагов, порывисто схватил ее руку. Алван вспыхнула, вырвала руку и отскочила. Глядя на доктора, как затравленная лань, шепотом сказала:

— Зачем? Мне такого не нужно...

И выскочила из комнаты, звеня всеми своими монетками и украшениями.

— Алван, я напугал тебя. Прости.

Антон Никифорович бросился за ней. Но Алван бежала, поправляя на ходу платок, бежала не оглядываясь.

В нескольких шагах от своей сакли, в саду, Алван остановилась и обхватила руками ствол тутового дерева. Слезы смятения и обиды текли по ее щекам, губы дрожали.

Чья-то рука опустилась ей на плечо. Алван вскинула голову — рядом стоял Джавад.

— Почему ты плачешь, Алван? Кто обидел тебя в докторском доме? — шепотом спросил он; лицо его словно окаменело. — Ты ведь у него была. Давно сердце мое не знает покоя... Что он тебе сказал, Алван? — Рука Джавада судорожно сжимала рукоятку кинжала.

Испуганно смотрела Алван в знакомые с детства глаза. Разве могла она обмануть Джавада? Нет у судьбы запасных дверей. И Алван молчала,

— Ответь мне, Алван! — Джавад резко схватил ее за плечи, повернул к себе. — Прошу тебя, не молчи!

Но Алван молчала.

Рука Джавада соскользнула с ее плеча. Джавад постоял, бессмысленно глядя перед собой, потом повернулся и пошел прочь.

— Джавад! — выдохнула Алван, протянув руки, шаль ее соскользнула к ногам.

Но он не остановился.

Очнулся Джавад далеко от родного аула, на берегу грохочущего водоворота Самура. Река сверзалась с каменных круч, волокла по дну еще необкатанные водой глыбы, звенела, играла щебнем. Джавад долго сидел у водопада, не чувствуя холодных брызг, бьющих в лицо, не слыша рева воды. «Так вот, значит, какой ты, кашка-духтур! — думал Джавад. — Вот ты какой, милосердный и добрый доктор. Ты вернул мне жизнь, а теперь отнимаешь ее! Но ведь ты не можешь любить Алван так, как люблю ее я!»

Джавад поднял лежавший у его ног камень и с яростной силой метнул его вниз, в кипящую чашу водопада.

Нет, жизнь без Алван для него не дороже, чем пустой орех. Нет, так просто он ее не отдаст. Стоит чуть-чуть подлить масла в огонь — и Ефимову не сносить головы! Не зря же Панах все время спрашивает, для кого он писал записку...

Но тут же Джавад суеверно сплюнул. «Какая глупость лезет тебе в голову, Джавад! Ведь доктор спас жизнь не только тебе, он спас жизнь и Алван. Если бы не доктор, старуха Махлус уморила бы Алван. Разве горец может быть неблагодарным, разве может он забыть о сделанном ему добре?..»

В аул Джавад возвращался под вечер. Шагал он устало, словно весь день ворочал каменные глыбы или прошел сотни верст, лицо его было серым, а глаза блестели больным лихорадочным огнем.

Неподалеку от крепости он увидел доктора. Тот медленно брел ему навстречу. Стискивая кулаки, Джавад стоял в стороне от тропинки и ждал. Горячая голова, он не знал, что весь этот долгий день Антон Никифорович искал его по аулу, искал на майдане, в чайхане Гаджимурада — повсюду.

Но вот Антон Никифорович поравнялся с Джавадом и, вскинув голову, увидел его глаза и руку — на рукоятке кинжала. Несколько долгих секунд они молчали.

Антон Никифорович смотрел на Джавада в грустном раздумье и с какой-то странной жалостью. Он протянул руку и осторожно положил ладонь на стиснувшие кинжал пальцы Джавада.

— Скажи, это правда, Джавад, что Алван тебе молочная сестра?

Джавад отшатнулся, выкрикнул незнакомое Ефимову слово, на его выпуклом загорелом лбу выступили капельки пота.

— Алван? — хрипло переспросил он. — Скажи мне, кто говорит такое, доктор? Я вырву тот поганый язык! Я... я...

Джавад повернулся и помчался по склону горы вниз, к аулу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как безумный, ворвался Джавад в свою саклю. Старая Майрам сидела у очага и толкла в каменной ступе ячмень. Джавад бросился к ней, схватил за руки. Майрам перепугалась.

— О аллах, что случилось, сокол мой?

— Бабушка Майрам, ради аллаха... скажи... моя мать кормила грудью детей Кариба и Халум? Нет? Она кормила Алван?

— Успокойся, свет очей моих, — повторяла Майрам ласково, глядя Джавада сморщенной рукой по плечу. — О аллах, будь милосердным к сироте! Кто тебе сказал такое?

— Ты отвечай, бабушка, отвечай! — спрашивал Джавад, вцепившись обеими руками в сухие плечи Майрам. — Отвечай, заклинаю тебя аллахом!

— Да нет, свет очей моих, не было ничего такого. Дружно жил Кариб с отцом твоим, тысяча раз рахмет ему, помогали друг другу, но не кормила, не кормила твоя мать грудью Алван.

Несколькими прыжками преодолел Джавад расстояние между своим домом и саклей Халум. В калитке столкнулся с бледной Алван. Она схватила его за рукав черкески и с отчаянием прошептала:

— Джавад, послушай, что я скажу тебе. Не говори того, что ты в сердце несешь...

Но Джавад не посмотрел в любимое лицо, раздраженно вырвал руку.

Халум сидела на скамеечке, пальцы ее быстро мелькали, перебирая шерсть. Увидев искаженное лицо красавца Джавада, она вскочила, клубок шерсти покатился по земляному полу.

— Что с тобой, Джавад-джан? Ничего нет на твоём лице, кроме страдания. Могу ли я помочь тебе? Мы с Майрам и с твоей матерью Гюльназ всегда делили и радость и горе, заборы никогда не разделяли наши сердца.

Джавад молчал, только сейчас он почувствовал усталость, тяжесть мучительно долгого дня. Снял папаху, вытер ею потный лоб.

— Тетя Халум, всегда смеющиеся уста на этом свете еще не одному человеку не даны. Все бывает у нас, детей Ахты-чая, то бурного, то тихого... Только ты и можешь, тетя Халум, вернуть мне радость жизни... Скажи... тетя Халум, ради аллаха, ради его пророка Магомета скажи: ты кормила меня своей грудью? Если кормила...

Волнение, охватившее и Халум, прошло, лицо ее стало задумчивым. Сокрушенно покачав головой, она снова села.

— Валлах, этого не было. Не было такого, говорю тебе, сынок. Умерла твоя мать, тысяча раз рахмет ей, но я жива еще, слава аллаху. Все это злоба людская. Нет ей меры, нет ей границы... Успокойся, Джавад. Это Махлус, змея проклятая. Не может простить, что я выгнала ее, а кашка-духтур вылечил Алван. Теперь и другие ходят к кашке-духтуру и не отдают, как раньше, Махлус последние копейки. Эта змея грозила мне на майдане — не бывать счастьем в твоей сакле, Халум... Поверь, это она распускает слухи... да отсохнет у нее язык. Но ты не слушай, сынок, успокойся. Кого же еще любить тебе, Джавад?

Не ответив Халум ни слова, Джавад вышел из сакли. Алван стояла во дворе, закрыв лицо руками. На мгновение он остановился, посмотрел в ее сторону и пошел по улочке вниз, туда, где на самом берегу Ахты-чая прилеплась к сакле черная от дыма сакля Махлус. На улице ему встречались горцы, девушки, идущие от реки с кувшинами на плечах, Джавад останавливал всех и, кланяясь, просил:

— Люди, идите, пожалуйста, к сакле Махлус. Эта старая ведьма хочет всему аулу сказать важную новость... Идите, пожалуйста! Исклечила она многих, многих ваших родных раньше времени отправила в сады аллаха. Много горя посеяла Махлус на этих улицах, очень много! Сейчас она хочет сказать.

Когда Джавад вошел в грязную и темную саклю знахарки, на улице собралось много людей. Стояли перед дверью Махлус и шепотом вспоминали умерших, которых знахарка лечила.

У порога Джавад остановился: с улицы в сакле невозможно было что-нибудь рассмотреть. Дух зловония стоял в этой темной дыре, и, только присмотревшись, Джавад разглядел закопченный казан. Под ним тлели угли. Что-то булькало в круглом котле, и оттуда тянуло зловонием. Наверно, Махлус варила свои снадобья из ста трав и тысячи насекомых,

— Эй, Махлус! — крикнул Джавад.

Неподвижный узел тряпья, темневший у тагана, зашевелился, из него протянулась худая рука, и скрипящий, злой голос хрипло спросил:

— Кто из горцев так неуважительно говорит со старой Махлус?

— Выйди на свет, старая ведьма, сама увидишь! — с трудом смирив ярость, крикнул Джавад.

— Астафирулла! Астафирулла! — испуганно пробормотала Махлус. — Что-то я совсем плохо слышу... Войдите сюда!

— Нет, ты вылезай на свет божий, или я задушу тебя, проклятая! — приказал Джавад, шагнув к знахарке и схватив ее за руку. — Там люди пришли, скажи им хоть раз в жизни правду. Иди! Иди!

Джавад подтащил упирающуюся старуху к двери и вытолкнул ее из сакли. Обступившие саклю люди смотрели молча и с ожиданием. Вид Махлус был отвратителен, страшен. Из-под черной, кое-как накинутой на голову шали злобно блестели маленькие глаза, торчал кончик острого носа. Грязные от копоти и сала пальцы вцепились в сильные руки Джавада...

— Ну, говори! — приказал Джавад, все сильнее стискивая руку Махлус. — Говори перед лицом солнца и людей: откуда ты знаешь, что я, Джавад, сын Гюльназ, — молочный брат Алван, дочери Кариба и Халум? Зачем ты выдумала эту противную аллаху ложь, отродье шайтана?!

Махлус загнанно смотрела по сторонам, но никто из аульчан не выказал ей сочувствия. Слишком много медяков, слишком много мотков шерсти и кусков мяса, ягнят и козлят унесли из бедных саклей руки Махлус. А те, кого она лечила, все равно умирали. «Такова воля аллаха», — бормотала знахарка, уходя.

— Ну, будешь ты говорить правду, поганая душа?! — требовал Джавад, не отпуская старуху. — Или я задушу тебя! Задушу, и не дрогнет рука, потому что задушить ядовитую тварь — дело, угодное аллаху.

— Скажу... Все скажу... Только пусти меня, Джавад, ради аллаха, — бормотала Махлус. — Я долго лечила Алван. Халум не отдала мне телку, которую обещала. Алван ходила к гяуру... А ты, Джавад, Джавад, они... Джавад-джан, ты сломаешь руку старой Махлус... Да, да, я скажу... думала — поверят и не будет счастья в сакле Джавада и Алван... это шайтан попутал старый ум...

С брезгливым отвращением оттолкнул от себя Джавад Махлус, и она тотчас же скрылась в темном зеве сакли, боясь, что и другие спросят с нее за души тех, кто переселился на убогое кладбище у мельницы. Но люди не стали сводить счетов со старой Махлус. Они расходились, удрученно покачивая головами.

Нет, радость жизни не вернулась в сердце Джавада. Напрасно Алван часами простаивала у калитки, напрасно поглядывала через забор во двор старой Майрам. Джавад словно забыл дорогу в свой дом.

Он бродил и бродил по горам, не глядя под ноги, не выбирая дорог. С кинжалом за поясом взбирался на скалы, опускался в могильную темень ущелий, куда не решался ступить ни один джигит. С криком срывались с насиженных мест потревоженные орлы, срывались из-под самых ног предательские камни, бесновалась под шаткими переходами ледяная вода, но Джавад ничего не замечал. Бродил до тех пор, пока смертельная усталость не валила его с ног где-нибудь под уступом скалы, — и забывался коротким, кошмарным сном. Но и сон не приносил ему отдыха. Во сне Джавад гонялся с ружьем за Махлус, ставшей отвратительной вороной, и он просыпался от того, что ее когти царапали ему руки. А то снился доктор Антон Никифорович в белом халате, с дорогой тростью в руке. Кашка-духтур улыбался ласково, хитро и снисходительно. И снилась Алван, но всегда в отдалении — то за стволами садовых деревьев, то за забором, то на том берегу реки, плачущая и больная. А один раз даже мертвая: лежала среди могильных камней на кладбище и, приоткрыв один глаз, следила за Джавадом, стоявшим невдалеке...

Джавад почернел и оброс, чарыки на ногах разбились об острые камни, продралась и запылилась одежда. Теперь он был похож на одного из тех странствующих дервишей, что отдыхали на ступеньках мечети, перебирая янтарные четки и рассказывая о святой Мекке, где лежит Кааба, огромный черный камень на могиле Магомета.

И чем больше хотелось Джаваду увидеть Алван, тем выше уходил он в горы.

Нет, не было в сердце его вражды к Антону Никифоровичу.

Чем мог Джавад отплатить доктору за две вырванные у смерти жизни? Только любовью, только добром. Забыть об Алван, уйти с дороги... Разве не он, не Джавад, клялся ограждать доктора от печали и недугов? Горцы не забывают ни добра, ни зла.

Прошла неделя, прежде чем Джавад снова появился в Ахтах. Он приблизился к аулу в сумерках, постоял на склоне горы. Вечерний намаз кончился, по тропинкам спускались к аулу овцы и козы, гортанно и требовательно звучал, отдаваясь в ущельях, голос чабана.

Безлюдными улочками пробрался Джавад к майдану, следил за чайханой Гаджимурада, пытаюсь определить, там ли кваса. Только Гаджимураду решил Джавад поручить трудное дело. Уже давно окончилась на майдане торговля, а у чайханы еще стояли оседланные кони. И в самой чайхане еще было полным-полно народу: бродячие торговцы, крестьяне, отходники, шедшие из северного Дагестана в город черного золота, в Баку, — там, на промыслах Нобеля и Манташева, есть надежда получить хоть какую-нибудь работу. Пусть она оплачивается грошами, пусть многие умирают, так и не прислав в родной аул ни копейки, но все-таки это работа. А значит, и надежда.

Дверь в чайхану была широко открыта, на террасе шумели за низенькими столиками люди. Джавад сам никогда не пил вина. Нет, не потому, что боялся гнева аллаха, просто его никогда не тянуло к хмельному. Но в чайхане квасы Гаджимурада он не раз видел неестественно блестящие глаза, неуверенные движения, слышал излишне громкую речь, — и догадывался, что именно здесь и нарушается одна из главных заповедей корана. Да и сам Гаджимурад был не прочь опрокинуть стаканчик «во славу аллаха». Но при этом Гаджимурад всегда оставался Гаджимурадом. Джавад знал, что кваса никогда не совершит бесчестного, позорящего горца поступка.

Стараясь быть незамеченным, Джавад прошел краем террасы в кухню, где поворачивали над огнем вертела с бараниной мокрые от пота помощники Гаджимурада. Сам он, голый по поясу, сидел в крошечной комнатке возле кухни и, то и дело мусоля во рту карандаш, выводил на листе бумаги крупные цифры. Джавад быстро пересек освещенное пространство, но уже на пороге комнатухи он услышал знакомый молодой голос.

Вздрыгнул Джавад, оглянулся. За столиком в углу сидели трое приезжих джигитов. Одетые в темные черкески со сверкающими газырями, они взволнованно говорили. До слуха Джавада донеслось повторенное несколько раз имя нефтяного магната Баку — Нобеля. В одном из приезжих Джавад сразу узнал своего бакинского друга — Казимагомеда.

Джавад провел рукой по заросшей щеке, потрогал изорванную в лохмотья одежду — разве узнаешь сейчас Джавада?

Гаджимурад тоже оглянулся, увидел Джавада — широкое лицо его расплылось в радостной улыбке.

— Джумала джахан свидетель, это сирота бабушки Майрам! Гаджимурад готов продать свою душу шайтану, если это не так! — громко вскричал он, делая шаг навстречу Джаваду. — Без тебя, кипарис, я пролил два бурдюка слез! Гаджимурад рад видеть тебя живым и здоровым, джигит!

Джавад жестом остановил поток слов веселого чайханщика, прошел в комнатку и сел к столику. Гаджимурад засунул за ухо карандаш и принялся собирать в полотняную сумку бумаги.

— Бумага не человек, может и подождать! — приговаривал он. — Открою тебе тайну, Джавад. — Гаджимурад весело подмигнул. — Завтра приедет мой хозяин, спросит отчет. Знаешь, что он скажет: мало денег ему даю, много бедных даром кормлю, джумала джахан свидетель. Он всегда одно и то же говорит. Жулик и вор ты, кваса Гаджимурад, вот что он скажет... — Гаджимурад

пристально всмотрелся в измученное лицо Джавада: — Прости, дорогой, шутки мои: как без шутки повезешь арбу нашей жизни? Что случилось с тобой, Джавад? Давай шашлык покушаем — легче станет. Эй, Ахмет!..

Только теперь Джавад почувствовал острый запах жареного мяса и захотел есть. Исподлобья глядя на Гаджимурада, он сказал ему, что решил этой же ночью покинуть аул, просил успокоить бабушку Майрам, принести ему из сакли нужные вещи.

— Не буду, дядя Гаджимурад, печалить доктора... Не станет Джавад черной тенью между ним и Алван. Сердце мое разрывается, Гаджи, от этих слов. Но встретились мы с кашкой-духтуром на узкой горной тропе, есть на ней место только одному. Кашка спас мне жизнь, пусть будет он счастлив... Сломалась оглобля у арбы моего счастья, Гаджимурад, пусть же будет так, как хочет аллах...

Гаджимурад с нетерпением слушал эту лихорадочную скороговорку, пытался прервать Джавада, но тот останавливал его:

— Прошу тебя, дядя Гаджимурад, молчи, не говори ничего. Заклинаю тебя аллахом, сделай так, как я прошу. Нет, прошу тебя, не говори ничего...

Кваса сокрушенно покачивал головой, с сочувствием и осуждением разглядывая Джавада, но возражать не стал и вышел. А через минуту молодой, и стройный черноусый джигит появился в комнатухе. Он не сразу узнал в обросшем и оборванном человеке Джавада, а когда узнал, с радостью кинулся навстречу.

— Джавад! Я ищу тебя второй день! Поедешь со мной в Баку. На промыслах готовится забастовка, а я не могу показаться в городе — меня ищет полиция. Будешь у нас связным.

— Когда надо ехать?

— Сегодня, сейчас! Дело не ждет. Джавад задумался, но только на секунду.

— Я готов, — просто сказал он.

И все же Джавад не выдержал. Не мог уехать он, не обняв на прощанье старую Майрам. Как вор, прокрался в свой дом. Вытер слезы с морщинистых щек, шептал бабушке прощальные слова, — разве мог он без этого покинуть Ахты? Теперь не знал Джавад, вернется ли в родные края, увидит ли еще когда-нибудь бабушку Майрам, единственного родного человека на земле.

И опять беззвучно плакала старая Майрам, провожая внука. Суждено ли ей снова увидеть его, накормить, перевязать его раны.

Выйдя из сакли, где каждый камень и каждая трещина в дереве были знакомы, и прикрыв за собой калитку, Джавад тяжело вздохнул. Аул уже спал. На скрещении трех улиц горел зажженный «шахом» Гюлеметом «русский светильник». Похрапывали во сне овцы и ишаки, бессонно бормотал в ущелье Ахты-чай. И в соседней сакле, где жили Халум и Алван, было темно и тихо. Восковая половинка луны висела над склонами Шалбуздага, в ее неподвижном и неживом свете все казалось далеким и чужим.

Кто-то призывно свистнул невдалеке, переступил с ноги на ногу недавно подкованный конь, пролетела ночная птица.

— Прощай, Алван, да хранит тебя аллах!

Джавад неслышно шагнул в темноту. А в десяти шагах от него, по другую сторону забора, в отчаянии обхватив ствол старой туты, плакала Алван.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Связанный крепко-накрепко баран истошно вопил на террасе, но Абдулжалил не обращал на вопли ни малейшего внимания. Озабоченный предстоящим обедом в докторском доме, он носился из кухни в сад через террасу, лишь изредка удостаивая орущего барана тем философским взглядом, каким обычно смотрят хозяйки на оковалок свежего мяса. Белоснежный поварской колпак Абдулжалила, купленный в городе для особого случая, чудом удерживался на взлохмаченных рыжих вихрах, накрахмаленный фартук взмок и потерял свежесть.

Стоит ли говорить, что творилось в душе Абдулжалила? Все в ней томилось и пылало, пенилось и кипело, как и в кухне, заваленной яствами. Она изнемогала в ожидании, как старый сад под тяжестью янтарных груш, под густую зелень которого Абдулжалил вытащил три огромных стола. Она цвела всеми цветами радуги, как и ковры, выпрошенные вместе с ковровыми подушками у соседа Абдулкерима и живописно разбросанные в саду. Словом, Абдулжалил был в своей стихии.

Взыграла стихия неделю назад. Доктор, собираясь к больному, мимоходом сказал Абдулжалилу, что в ближайшее воскресенье к ним пожалует полковник Брусилин с женой, и попросил приготовить плов.

— Надо, наконец, решить дело с водопроводом... — сказал Антон Никифорович.

И Абдулжалил понял, что его час пробил.

Сначала было дерзко отвергнуто намерение доктора ограничиться скромным обедом. Затем в распоряжение неумолимого Абдулжалила поступила пачка ассигнаций, отложенных Антоном Никифоровичем для сестры Наташи. И Абдулжалила понесло.

Просыпаясь с петухами, он спешил на базар и опустошал прилавки с фруктами и приправами, включая и самые редкие травы. Было куплено два бурдюка кахетинского. В поисках диковинных сластей он обшарил все аульские лавки и лавчонки. Покупать у торговцев дичь Абдулжалил, конечно, не стал. Накануне он не поленился подняться в горы, откуда привез, используя свои обширные связи, двух ягнят, пять горных индеек и живого барана.

Не обошлось дело и без чайханщика Гаджимурада. По местному обычаю он был приглашен на воскресенье развлекать гостей. Как заговорщик, Абдулжалил часами пропадал в его чайхане, получая кулинарные советы и рецепты.

— Не будь я кваса, если твой обед не вызовет зависть капризной ханум, воистину счастье в проворстве и расторопности, — приговаривал Гаджимурад, заканчивая очередное наставление.

В воскресенье доктор был вынужден удалиться из дома на заре, наотрез отказавшись от завтрака.

— Я, кажется, сыт по горло, — сказал он, бросив глубокомысленный взгляд на орущего барана. — Вернусь к вечеру...

Солнце еще только расставалось с вершинами Шалбуздага, а Абдулжалил уже закончил все дела. Умолк баран, не слышно было пулеметной дробы ножей, притих и сам Абдулжалил, уставший досадливо покрикивать на подручных поваров, присланных Гаджимурадом, — все замерло в ожидании.

Первым нарушил тишину Гаджимурад, появившись в доме задолго до гостей. Заскрипели половицы под ногами неумолимого Абдулжалила, затрещали крышки кастрюль, открывая содержимое придирчивому взгляду главного советника, забежали повара, разжигая в саду мангал для шашлыков.

— Не волнуйся, дорогой, обед твой достоин русского князя, джумала джахан свидетель, — сказал Гаджимурад, заканчивая осмотр. — Враг твой лопнет от зависти.

Хозяин дома прибыл в обещанный час в компании трех офицеров из крепости, не столько веселых, сколько крикливых и бесшабашных. Тут же они все трое пропустили по рюмочке, и доктор, предусмотрительно заглянув на террасу, проводил шумных гостей в сад, а сам, извинившись, ушел к себе переодеться.

Вслед за ними в дом поочередно стали стекаться сливки общества. Начальник почты Нух, известный своим веселым нравом и пристрастием к изящной городской одежде, состоятельный любитель новшеств, вольнодумец Осман, который на зависть врагам увлекался входившей в моду фотографией, и местный предприниматель Ильяс, без которого не обходилось ни одно строительство в ауле. Ильяс был приглашен доктором по совету Абдулжалила, именно на него возлагались тайные надежды в деле проведения водопровода.

Скромный Берали появился в саду незаметно, как и сосед Абдулкерим, выручивший честолюбивого Абдулжалила по части ковров и подушек. Правду люди говорят: не дом выбирай, а соседа.

Затем в калитке показалась тощая фигура ахтынского наместника аллаха в темно-красной абе из Мекки, юркий мулла Фалз и подвыпивший Панах. На голове Фалза сияла ослепительная шелковая чалма, а от Панаха за версту несло дьявольской смесью дешевых духов и винного перегара.

И ровно в пять у калитки остановился фаэтон полковника Брусилина.

Абдулжалил, как ужаленный, бросился открывать калитку, на ходу завязывая чистый фартук. За ним поспешил навстречу гостям Антон Никифорович. С любезной улыбкой он высадил госпожу Брусилину из фаэтона и поцеловал ей руку.

— Ах, какой миленький домик у вас, доктор! — защебетала госпожа Брусилина, полнеющая, синеглазая красавица с пышной копной белокурых волос, уложенных нарочито-небрежно, как у молоденькой девушки.

— Почту за счастье показать его вам, сударыня... Доктор повел гостей в сад через террасу, которая тотчас вздрогнула от приветствий офицеров.

Ахтынская знать толпилась у выхода в сад, триумвират, во главе с кадием, расположился по другую сторону ступенек, в результате чего шествие полковника к столу напоминало торжественный выход султана.

Запах шашлыка разлился по саду вместе с прохладным вечерним ветерком, нахлынувшим с реки.

— Ах! — только и смогла выговорить госпожа Брусилина, оглядывая стол, и настороженное ухо Абдулжалила уловило во вздохе ханум желанную досаду.

И началось. Первым делом с легкой руки хозяина выпили за здоровье очаровательной госпожи Брусилиной, милостиво украсившей своим присутствием мужское общество. Второй заход был в честь его высокоблагородия, господина полковника. Добрались и до хозяина дома, справедливо решив, что доктору тоже доброе здоровье не помешает. Тосты, как и вино, потекли рекой. Звенели рюмки и подносы, все чаще сливаясь с грудным смехом ханум. Не пил лишь кадий, мужественно оберегая честь своей абы из святой Мекки, но, как известно, одна хмурая туча зимы не делает.

Белый колпак Абдулжалила с быстротой молнии передвигался в самых неожиданных направлениях.

Неизвестно, чем кончился бы этот кулинарный парад вообще, если бы не Гаджимурад. В ожидании своего часа он устроился на ветвях старой груши. Густая зелень надежно укрывала Гаджимурада, и лишь пристальный взгляд мог заметить меж тяжких плодов мягкие праздничные сапожки чайханщика. Глотая слюнки, Гаджимурад терпеливо наблюдал за обедом.

С высоты семиметровой груши гости казались Гаджимураду большими нарядными куклами, которых он любил рассматривать в витринах русских магазинов в Баку. Особенно ханум, ее небесно-голубое платье и пшеничные волосы. «Вот уж верно сказано, — подумал Гаджимурад, — никто не знает, что у тебя внутри, а твоя одежда у всех на виду», — и невольно пощупал свою новую синюю черкеску. Лучше и не вспоминать, сколько пришлось хлебнуть ему из-за своих лохмотьев. Так уж повелось у лезгин — любят красиво одеваться... «Кто одет хорошо, на того даже собаки не лают, а в лохмотьях — на куски разорвут», — говорят в народе. Скрывая бедность, завели в своих магалах нарядные черкески. Ничьи. Общие. Идешь на свадьбу — пожалуйста, надевай и шагай. Так ведь не каждому магальная черкеска по плечу. Иной не натянет на себя, иной в ней утонет. Тут не у портного, подбирать некому. Взял однажды Гаджимурад магальную черкеску на свадьбу к родственнику, а во время лезгинки шаровары и поползли вниз. Конечно, он не растерялся, — все подтягивал шаровары, будто нарочно, желая посмешить, а душа-то плакала. Да и папаха на лоб без конца сползала... Нет, с тех пор поклялся Гаджимурад завести себе собственную одежду на праздничный день. Долго, правда, пришлось ждать дня заветного, но теперь и он не хуже людей одет...

Разглядывая именитых гостей, Гаджимурад к удивлению своему обнаружил нечто странное. Три стола, за которыми ели-пили дорогие гости, были составлены Абдулжалилом не просто так. Воистину мудрого и без слов узнают. Сначала столы живо напоминали Гаджимураду поверженные ворота, но, пораскинув мозгами, он ясно увидел виселицу, на перекладине которой восседал полковник Брусилин со своей красавицей ханум. Справа от ханум, уже за другим столом, сидел доктор Антон Никифорович, но видит аллах, глубокая вода не замутится. Долго дивился Гаджимурад мудрой наивности своего друга Абдулжалила, долго размышлял над брэнностью всех благ земных, вплоть до полковничьих погон, еле заметных в последних отблесках уходящего солнца... Но. всякому терпенью есть предел. Когда Гаджимурад увидел на столе плов, он понял, что бороться можно не со всеми соблазнами.

«Да простит меня Абдулжалил, как и аллах!» — прошептал Гаджимурад и рухнул на землю значительно раньше условленного времени.

Госпожа Брусилина вскрикнула, всплеснула белыми руками и зажмурилась. Мужчины дружно захохотали, узнав чайханщика. Особенно были довольны захмелевшие офицеры и веселый инспектор Нух, тайно подражавший в узком кругу проделкам ахтынского кваса.

Гаджимурад как бы нехотя поднялся с травы, обвел присутствующих невидящим совиным взглядом и принялся правой рукой, не спеша, обирать травинки и соринки, прилипшие к черкеске. Левая рука Гаджимурада словно приросла к голове, на которой вместо привычной папахи красовался венчик из веток вечнозеленой омелы. Круглое лицо Гаджимурада хранило уморительно-серьезное выражение. Гаджимурад молчал. И это было невыносимо, потому что все, кто знал Гаджимурада, привыкли сначала слышать его голос, а потом уж и видеть его самого.

— Ну что же ты, кваса? Расскажи нам, где ты пропадал? — не вытерпел инспектор Нух, съедаемый неодолимым любопытством.

— Садитесь, любезный Гаджимурад, к нашему столу, будьте моим гостем, — проговорил Антон Никифорович, от души радуясь, что внимание гостей наконец-то переключилось на живое дело.

Гаджимурад прищурился, поочередно вглядываясь то в лицо инспектора Нуха, то в лицо доктора, словно никак не мог вспомнить, где он видел их, потом просветлел лицом, улыбнулся, поклонился гостям и пошел к столу.

— Садись, садись, кваса, вот тут, рядом со мной! — Инспектор Нух подвинулся к Осману, освобождая место для Гаджимурада. — Антон Никифорович, подайте, пожалуйста, сюда блюдо с пловом... — И добавил: — Не томи, кваса, скажи, ради аллаха, где ты был? Что это у тебя на голове?

Гаджимурад весело подмигнул инспектору и принялся за плов. Ел он быстро и вкусно, как человек, с детства знающий цену куску. Нух, не отрывая взгляда от квасы, пытался остричь:

— Кваса, дорогой, ты ешь так быстро, будто за тобой собаки гонятся. Куда тебе торопиться?

— Уважаемый Нух, ем я быстро по старой привычке. В нашем доме к чанаху сразу семеро тянулись. Тут не разгуляешься...

Когда на блюде осталась половина плова, Гаджимурад блаженно закрыл глаза и вытер руки. Каждое движение его вызвало новый взрыв смеха. Смеялись все. Даже кадий Гарус, достойно и мужественно сохранявший весь обед кислую мину. Воистину, свеча обманщика до половины горит, а светильник мудрого сорока людям светит. Что говорить тут был Гаджимурад великим чародеем.

Антон Никифорович, не давая гостям опомниться, а кадию снова нахмуриться, встал и решительно приступил к делу, ради которого он затеял этот прием.

— Господа, я искренне рад видеть всех вас в моем доме! — торжественно произнес он, улыбнувшись кадию, как плохой актер. — И мне хотелось бы использовать этот счастливый для меня случай и поговорить о деле, касающемся нас всех...

Кадий толкнул в бок Панаха, который давно успел забыть, зачем он приглашен в этот дом. Не скрывая сожаления, Панах отставил очередную рюмку, склонился к кадию и стал шепотом пересказывать слова Антона Никифоровича.

— Мне говорили, господа, что мои строгие санитарные требования вызывают недовольство и понимаются несколько превратно. — Доктор покосился на полковника Брусилина. Тот слушал внимательно, с благодушной улыбкой. — Так вот, господа, меня это удивляет. Безусловно, я далек от мысли упрекнуть кого-либо из присутствующих в недоброжелательстве к моим мерам. Кому же, как не вам, господа, людям образованным и наиболее уважаемым в ауле и округе, поддержать меня? Не правда ли? Ведь вам-то не надо объяснять, к каким тяжелым последствиям может привести нарушение санитарных правил. И особенно вблизи границ с государствами, где вспышает холера. Четыре года назад мы были свидетелями страшной эпидемии, скосившей тысячи жизней. Я сам, смею вас уверить, выжил чудом. — Антон Никифорович вспомнил нелепую и неотвратимую смерть отца, вспыхнул и продолжал горячо и зло: — Заверяю вас, как медик, что против холеры у нас нет иных средств, чем соблюдение чистоты. Грязная вода — это холера, мухи — это холера, грязь на базаре и на улицах — это холера!

Антон Никифорович умолк, но ненадолго. Убедившись, что слушают его внимательно, особенно кадий, он продолжал:

— Но один в поле не воин. Поэтому я обращаюсь к вам, господа, и особенно к вам, уважаемый эффенди Гарус, за помощью. Потребуйте от населения неукоснительного соблюдения всех заветов священного корана, который, как мне известно, решительно отвергает нечистоплотность. Если все мы будем действовать заодно, край наш будет процветать, как и ныне. Я предлагаю тост за нашу дружбу и процветание нашего округа!

Доктор взял рюмку с коньяком и одним махом осушил ее. Ничего не поделаешь, Антону Никифоровичу было тошно от своей собственной речи. Она казалась ему отвратительной, особенно в части, обращенной непосредственно к кадию Гарусу. Изворачиваться и хитрить Антону Никифоровичу почти не приходилось. Напрасно он утешал себя, что поступиться своими правилами ради блага не грех. На душе было мерзко. Подняв глаза, Антон Никифорович встретился взглядом с Гаджимурадом. Гаджимурад смотрел на доктора тепло и мудро. Гаджимурад улыбался...

А гости шумели. Беседа что бурдюк с вином, проткни дырочку — и потечет. Перебивая друг друга, размахивая руками, оживленно пенились ахтынские сливки, польщенные аттестацией

доктора, хотя явно преувеличенной. Людьми образованными их никто не называл. Вот состоятельными — дело другое. Оценив важность момента, Ильяс принялся доказывать инспектору Нуху, что водопровод в ауле так же необходим, как мечеть, и только люди темные не могут понять этого.

Запинаясь через слово, Панах все еще плел кадию Гарусу слова Антона Никифоровича. Лицо у Гаруса было скорбное, но скрыть удивления ему не удавалось.

Офицеры пили. За здоровье ханум и хозяина.

Полковник Брусилин, вытирая платком вспотевшее от коньяка лицо, успокаивал жену. Мрачные предсказания Антона Никифоровича относительно холеры привели госпожу Брусилину в состояние, близкое к истерике. Пришлось обратиться за помощью к доктору. Ханум немного унялась только тогда, когда доктор несколько раз заверил ее, что выразился он иносказательно.

— Нет, доктор, вы все-таки объяснитесь, почему вам пришла в голову эта чудовищная мысль? — требовала ханум. — Дыма без огня, право, не бывает?! — то ли спрашивая, то ли утверждая, сказала она и выжидательно посмотрела на доктора. Конечно, как и все женщины, ханум желала услышать, что дым бывает и без огня.

Не без сомнений, отбросив природную деликатность, а заодно и опасения по поводу истерики ханум, Антон Никифорович решился наконец взять быка за рога.

— Вот именно, сударыня. Дыма без огня не бывает, так же как и огня не бывает без дыма! — сказал он. — Вы знаете, где заводится холера? Прежде всего в воде. Да, сударыня, холерные вибрионы заводятся прежде всего в воде.

— Ну, что ты, что ты, Антон Никифорович! — взмолился полковник, косясь на побледневшую жену. — Пощади, ради Христа!

Но Антон Никифорович, перенесший ради серьезного разговора и орущего барана, и унижение перед кадием, остановиться не мог.

— Не обессудьте, Борис Александрович, но я обязан сказать, что наши целебные источники запущены. Я уверен, что они приносят вреда не менее, чем пользы. Вода, в которой почти одновременно женщины, моют белье, солдаты купают лошадей, а дети просто плескаются, вредна для здоровья, несмотря на свои исключительно полезные свойства. Если мы в ближайшее время не примем мер, я не поручусь за благополучие края.

— А какие меры должны принять мы, доктор? — спросила ханум, глядя на мужа.

— Прежде всего, сударыня, нужно навести порядок в банях. По мере сил благоустроить их, возвести крыши над купальнями, строго разделить места для стирки, купанья и питья. И самое действенное средство, я говорил о нем Борису Александровичу, — подвести к аулу водопровод. Тогда люди перестали бы загрязнять целебные источники. Поверьте, имей я достаточно собственных средств для этого дела — я бы не пожалел их, но беда не только в этом.

Ханум, знавшая о всяких благотворительных делах в России, сказала:

— Мы тоже не откажемся пожертвовать, не правда ли, Борис Александрович?

— Какой может быть разговор! — пробасил полковник, радуясь, что жена отошла.

— В этом нет необходимости, сударыня. Деньги на водопровод собраны, они хранятся у почтенного муллы Фалза, — доктор посмотрел на святой триумвират кадия Гаруса. — Если господин Ильяс, который добровольно ведает всеми строительными делами в округе, не откажется взяться за это дело, водопровод будет, и мы сможем, как говорится, спать спокойно.

Ханум посмотрела на мужа, и по взгляду ее полковник понял, что времени для размышлений ему не отводилось. Не желая проститься с домашним покоем навеки, он в свою очередь посмотрел на кадия и оказал:

— Я так полагаю, эффенди Гарус, дело с водопроводом надобно уладить. Поговорите меж собой, посоветуйтесь, как там у вас положено по корану, соберите народ в большой мечети. В конце концов холера и святых шейхов не пощадит! — заключил он и попытался выяснить взглядом, довольна ли жена. Ханум была довольна.

Пошептавшись с кадием Гарусом, Панах впервые за все время заговорил громко:

— Эффенди Гарус благодарит хозяина дома за гостеприимство и сожалеет, что покидает общество. Дело в том, что настало время вечернего намаза. — Панах непритворно вздохнул, ему действительно не хотелось уходить. — Эффенди поговорит с народом в Джума-мечети о водопроводе и напишет послания о соблюдении всех законов корана в другие аулы округа.

Святой триумвират покинул свои места за столом и откланялся, в основном, полковнику и ханум.

Антон Никифорович проводил кадия до калитки. Прощались недолго, вежливо и холодно.

Антон Никифорович помедлил у калитки, нехотя пошел к дому, поднялся на ступеньки и неожиданно для себя присел на крыльце.

Над аулом полыхала вечерняя заря. Лучи ее угасающего пожара уже спалили вершины, отчего вся цепь гор, окружавших аул, сделалась похожей на какое-то грустное, остывающее пепелище...

У забора мелькнуло знакомое платье. Алван? Он вскочил и рванулся к калитке...

А из сада донесся дружный смех, в котором резко выделялся раскатистый бас полковника. Антон Никифорович вернулся к дому и пошел к столу.

Гаджимурад потешался. С тех самых пор, как скрылась ненавистная темно-красная аба кадия Гаруса, пространство, обрамленное столами, живо превратилось в сцену. На ней царил единственный артист — Гаджимурад. Венок из вечнозеленой омелы по-прежнему украшал его буйную голову.

С уморительно серьезным выражением лица он покручивал свои черные торчащие усики и медленно, словно каждое слово его стоило, по меньшей мере, золотой, говорил:

— В конце концов, где нет барана, там и козла величают, джумала джахан свидетель. Иду я раз по дороге — вижу, гудит в одном дворе народ, плачут женщины. Захожу. Лежит человек. Умирает. Трясется, как овечий хвост. Плохо дело. И слепому видно, что у больного малярия. Спрашиваю у родных: «Врача вызывали?» — «Как же, как же, — отвечают, — приходил Гаджи-Мирза, последние тридцать копеек отдали. Вот и пилюлю оставил. Помоги нам, добрый человек, посоветуй, что делать с этим больным, жалко человека — умирает».

Думаю себе: «Смерть для больного — последняя опасность». Почему бы мне не помочь человеку? Если бы я сомневался, другое дело. А я не из тех людей, которые сомневаются. Ничуть я не сомневался. Схватил я больного — и бросил в яму с водой. Клянусь аллахом, от испуга болезнь как рукой сняло. И по сей день тот больной, слава всевышнему, жив-здоров. И с тех пор люди считают, что лучше Гаджимурада никто малярию не лечит... — Гаджимурад тяжело вздохнул. — Всем до меня дело, все меня ждут, все меня ищут, вот и вы без меня не обошлись. А у меня чайхана. Я вот болтаюсь здесь, а может, она там уже сгорела? — Черные глаза его полезли в испуге из орбит, он засопел, принялся. — Что-то я чувствую запах дыма. А вы ничего не

чувствуете? Ну, я пошел, да продлит аллах ваши дни! — Гаджимурад раскланялся, давая понять, что уходит.

— Куда же ты, Гаджи! Не уходи! — взмолился инспектор Нух, пугаясь, что Гаджимурад действительно уйдет. — Давай, дорогой, выпьем еще, поговорим!..

Гаджимурад нехотя повернулся обратно. Встретившись взглядом с Антоном Никифоровичем, он подмигнул ему. Так же нехотя он выпил с Нухом и офицерами, снял свой венок и, прохаживаясь вдоль стола, стал обмахиваться им, явно подражая дамам из крепости. Движения его были изящны, талия сузилась и выпрямилась, точно в корсете, ноги в зеленых сапожках переступали мягко и несколько боязливо.

Новый взрыв смеха... Дольше всех смеялась синеглазая ханум Брусилина, вспоминая своих завистниц из крепости. Сердце полковника таяло от ее смеха, и, весьма довольный, он пробасил:

— А что это за венок у тебя, кваса? Он что, от жары спасает? Скажи - ка нам, любезный, не пригодится ли эта штука в крепости?

Гаджимурад остановился, поднес свой венок из омелы к лицу, повертел его, понюхал и посмотрел на полковника.

— Эта дрянь, ваше высокоблагородие, развелась везде. Пиявками к дереву пристаёт и сосет соки. Кровопийцы! И в вашей крепости их хватает. Но с Гаджимурадом шутки плохи — вырвал с корнем. — Он подошел ближе к столу и протянул полковнику венок. — Посмотрите, пожалуйста. От дерева оторвал — конец, все засохло.

Гаджимурад с брезгливой ужимкой бросил венок на землю, наступил на него и, смеясь, закатил глаза.

Он смеялся один. Не пришлась по душе придумка квасы. Слишком дерзкая. Антон Никифорович посмотрел на Брусилина, опасаясь, что тот взорвется. Но полковник Брусилин был тертый калач. Только позеленел, как омела. Зевнул устало, что-то шепнул ханум и помог ей подняться.

— Прощай, кваса! А мне говорили, что ты балагур. В другой раз придумай что-нибудь поинтересней.

И удалился вместе с офицерами.

Проводив полковника, Антон Никифорович чувствовал себя неловко. А Гаджимурад и глазом не моргнул. Он, как всегда, улыбался.

— Абдул, ты помнишь моего дедушку? Конечно, ты помнишь, Абдул, как же можно дедушку моего забыть? Что бы вы думали, Антон Никифорович, больше всего ненавидел мой дедушка? Базарные весы, клянусь аллахом! — он прыснул, прикрыв рот рукой. — Каждый раз он возвращался с базара злой и говорил: «Гаджи, запомни мои слова — не кланяйся, как весы, в обе стороны...»

С этим Гаджимурад смешно откланялся и ушел.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

У кого душа — у того забота и в святую пятницу. Правоверные еще нежились в долгожданных праздничных снах, а Гаджимурад уже обошел все ахтынские бойни.

«Есть что взять у сытых глаз»? — приговаривал он, принимая деятельное участие в свежевании баранов и потешая мясников своими прибаутками. Сладкие речи змею из норы выманят. Бараньи

потроха исчезали в огромном хурджине Гаджимурада. Мясники и пикнуть не смели. Попробуй отговори квасу — он и до твоей печенки доберется.

Когда хурджин был набит требухой до отказа, Гаджимурад отправился к реке. Ветхий мост, вполне оправдывающий свое звучное название «Зерзалаг», что означало дрожащий, угрожающе закряхтел под тяжестью хурджина с требухой.

— Видно, твоя старая спина меня с потрохами не выдержит, — сказал Гаджимурад и уселся рядом с мостком на камушках.

Трудно поверить, но мыть требуху Гаджимурад любил. Конечно, дело не из приятных, но из души шашлыка не сделаешь. Перебирая кишки и печенки, Гаджимурад думал о своих любимых голодранцах, валом валивших в его чайхану по пятницам. Где же еще поест тот, у кого в карманах бешметов только ветер гуляет? А Гаджимурад из этого добра такие блюда наготовит, что и сытый не откажется.

Каждому не объяснишь, как приходится бедному квасе изворачиваться, составляя отчеты хозяину чайханы. Конечно, все привыкли говорить — «чайхана Гаджимурада да чайхана Гаджимурада», да и сам он прирос к чайхане. Сколько лет уж прошло с тех пор, как проезжий купец предложил эту сделку? Теперь уж и забыл Гаджимурад. А купец — нет, не забыл. Вложил свои деньги — за себя и за Гаджимурада, и, пожалуйста, будь кваса и хозяином, и поваром, и чайчи, и посетителей развлекай. Только выручку подавай. Видит аллах, туго приходится иной раз Гаджимураду. Был бы в мире один нищий — его без труда накормил бы...

Словом, одни неприятности сегодня, даром, что пятница — святой день. К доктору еще надо пойти... Джаваду обещал... Кто-кто, а Гаджимурад давно знал, не кончится добром это дело. Хороша, слишком хороша дочь Кариба, и зачем только аллах создает красоту, от которой меркнет разум.

— «Сад твой благоухает всеми прелестями рая, если только рай есть у аллаха...» — проговорил Гаджимурад и задумался.

Да, пожалуй, будь он сам помоложе, он не растерялся бы. Уж Гаджимурад не уехал бы, куда глаза глядят, не уехал бы никогда, будьте покойны, джумала джахан свидетель. Нет, нет, не приведи аллах уезжать вот так, когда еще ничего неизвестно. Определенно неизвестно, если сам Гаджимурад еще ничего не знает.

Вставало солнце, привычно ворчал у ног Ахты-чай.

Ветерок, нахлынувший с горы, вместе с осенней прохладой принес крик. Он лился долго и протяжно. Гаджимурад с досадой оторвался от требухи, прислушался.

— Эй-э-й, люди! Слушайте меня, правоверные! Сегодня в пятницу в Джума-мечети кадий Гарус эффенди прочитает вяз большой важности. Слушайте, мусульмане, послание от аллаха после полуденного намаза. От каждого двора должен прийти один мужчина! — кричал чауш с минарета главной мечети.

Крик то приближался, то удалялся — аульский глашатай обошел все четыре стороны минарета.

Гаджимурад насторожился.

— Неужели старый осел все-таки одолел свое упрямство? Или он опять что-нибудь придумал? — спросил Гаджимурад с сомнением, глядя на воды Ахты-чая, словно от них-то и ждал ответа. — Клянусь аллахом, я не верю ушам своим. С того дня, как он пообещал доктору поговорить с джамаатом насчет водопровода, он не имел ни минуты покоя — все ломал комедию. В конце

концов не осталось ни одного фокуса, чтобы он не выкинул. То он, видите ли, женится, то он, видите ли, заболел, то, видите ли, занемог... Видит всевышний, довольно нам этих неприятностей!

Бросив требуху на попечение мальчишек, которые никогда не оставляли в одиночестве веселого квасу, Гаджимурад помчался в аул.

Большой двухэтажный дом с садом, как и луга с огромными стадами, достался кадию Гарусу в наследство от отца. Имея пай в трех лавках, в таком доме сотню лет без забот проживешь. Да, верно сказано — жажда имущего дна не имеет. Вот уж и новые дубовые ворота успел отгрохать наместник аллаха. Побавляется за свое добро.

Видеть не мог Гаджимурад эти ворота, которые за «ради аллаха» строились всем джамаатом. Он с силой толкнул их и оказался в полутемном от зелени дворе кадия.

Под высокой лестницей террасы, оцепившей дом крепким кольцом с замысловатой резьбой, лежал белый валун — от дурного глаза. Гаджимурад сплюнул несколько раз, пересчитал ступеньки. С самым независимым видом прошелся он по террасе, прикидывая на ходу, в какую из множества дверей ввалиться. Дело решили дорогие персидские башмаки кадия Гаруса. Нахально отвернув длинные носы от плотно закрытой двери, они словно уверяли, что их владелец отправился в другую сторону. Осторожно повернув их носами к двери, Гаджимурад снял свои стоптанные чевяки и поставил рядом с наглыми башмаками. Затем он открыл дверь и переступил порог так решительно, словно за дверью была его чайхана.

Ахтынский наместник аллаха восседал за столиком на горке мягких ковровых подушек. Голова кадия Гаруса была запрокинута назад, взгляд устремлен в потолок. Можно было подумать, что эффенди Гарус молится. Но кувшинчик с золотистым напитком, стоявший на столе, свидетельствовал, что здесь творится дело богопротивное.

— Ассалам-aleyкум, свет очей нашего джамаата! — подал голос Гаджимурад, сложив руки на груди и кланаясь как самый благочестивый мусульманин. Кадий вздрогнул, поперхнулся.

— Алейкум салам, шайтан оголтелый! — буркнул кадий и встал лицом к Гаджимураду, загоразивая столик. Но Гаджимурад протопал к столу и, оттесняя кадия, понюхал пиалу, стоящую рядом с кувшинчиком. Знакомый запах коньяка приятно защекотал его ноздри, отчего Гаджимурад сначала улыбнулся, а потом скорбно посмотрел на кадия Гаруса.

— Да проклянет аллах тех, кто вводит в соблазн верных слуг его. Разве они понимают, что сказано в коране? — он поднес к глазам тряпку, которая вечно болталась у него за поясом, и вытер сухие смеющиеся глаза.

Кадий Гарус и слова не мог вымолвить.

— Что же делать, не расстраивайтесь, о светлый луч аллаха, — тяжело вздохнул Гаджимурад. — До вчерашнего дня я сам был во власти дурных помыслов, насылаемых шайтаном на правоверных. Конечно, я не из тех, кто будет молчать в сторонке и думать, будь что будет. Я не из тех, кто забывает заветы пророка. Нет-нет, я истинный мусульманин. Но дело это мирское, и так может быть и этак... — он посмотрел в потолок. — Аллах ведь ничего не видел, в вашем доме такая крыша надежная. Если бы в сакле это было — другое дело, через гурмаг всевышнему все грехи видны...

— Говори поскорее, зачем явился? — Дар речи наконец вернулся к кадию. — Ты что, не знаешь, я в мечеть спешу, — и убрал кувшинчик с пиалой в угловую нишу, заставленную толстыми арабскими книгами.

Гаджимурад расхохотался.

— Вы знаете, эффенди, почему я смеюсь? Конечно, вы не знаете. Наш мулла Фалз говорит на каждом перекрестке, что ахтынская вода умирает. Конечно, мулла Фалз грамотный человек, он общается с аллахом, но все же мне что-то не верится... Вот я и пришел узнать у вас, эффенди, умирает ли вода и что написано об этом в коране? Интересно, как выглядит вода после смерти и куда попадет — в рай или в ад?

— Ты что, ума лишился, проклятый? Куда ты гнешь, что ты мелешь, скажи ради аллаха! — взбесился кадий и воздел руки к небу, застывая в излюбленной позе скорби.

Со стороны казалось, что эффенди советуется с аллахом, и Гаджимурад решил так — пусть немного ответит душу. Знай он, какие мысли одолевали чалму пророка, он бы не стал медлить ни минуты.

Откуда мог знать Гаджимурад, что накануне кадий Гарус побывал у его высокоблагородия господина полковника и получил разнос. «Вы что же, святейший, не заботитесь о подданных аллаха? — опросил его полковник строго, и по дрожащему голосу незаменимого Панаха Гарус понял, что дела плохи. — Ваш главный молельный дом, ваша Джума-мечеть, как вы ее называете, качается по ветру. Что за беспечность такая? Если она рухнет в один прекрасный день и придавит ваших правоверных, кто будет отвечать перед губернатором? Я лично осматривал мечеть с доктором Ефимовым и пришел к убеждению, что мечеть никуда не годится. Не откладывая, подумайте о строительстве новой мечети и завтра мне доложите...»

Вчера-то кадий не очень расстроился. Дело было на руку. Он и сам все чаще побаивался славить всевышнего в ветхой мечети. И сразу сообразил, что за строительством мечети можно окончательно прикрыть дело с водопроводом. Господин полковник всегда так — поговорит, пошумит и забудет. А мулла Фалз тоже не чужой... Теперь вот появился этот шайтан, и все перемешалось. Известно, куда гнет проклятый. Как ни торговался сам с собой эффенди Гарус, как ни рядил, из двух зол приходилось выбирать оба. Плакали денежки, одной мечетью рот шайтану не заткнешь...

Гаджимурад, прогуливаясь по комнате, прощупал глазами поочередно все ее двадцать пять ниш и добрался до ниши с арабскими книгами. Пристально глядя на нее, тяжело вздохнул:

— Я вот думаю так... Допустим, вода умирает, как говорит мулла Фалз. Так и объявите джамаату, эффенди. Или положим, мулла Фалз просто ошибается, тогда прикажите ему вернуть пожертвования джамаата на водопровод... Дело это в ваших руках, и тоже может быть так и этак, — он опять неопределенно помахал рукой. — Конечно, я могу до самой смерти не узнать, умирает ли вода, но как мне жить с этой тягостью, эффенди? Мне и так аллах послал испытание. Вы думаете, это легко — быть немым свидетелем соблазна, которому подвергает шайтан слуг аллаха? Нет, не легка моя ноша, видит аллах, не легка. И справедливо будет, если вы, многоуважаемый эффенди, снимете с меня хоть одну половину этой тяжести.

Кадий Гарус, оставив в покое аллаха, подошел к зеркалу и стал решительно накручивать чалму. Ничего не ответил ахтынский праведник своему мучителю, но зеркало кивнуло чалмой в знак согласия. Только бы отвязался, проклятый!

Ничего нет удивительного: хочешь дело уладить — поговори с судьей наедине.

К полудню площадь возле большой мечети жужжала, как пчелиный рой, благо по пятницам правоверные не работали. Поближе к святому месту расхаживали разодетые мужчины, в сторонке жались женщины — им тоже хотелось послушать кадия Гаруса. На крышах саклей, обступавших большую мечеть, томились старухи и дети. Известно, что по пятницам правоверные ахтынцы отличались особенно завидным благочестием, считая своим долгом воздать аллаху сразу за неделю.

Только кадий Гарус появился на площади, правоверные стихли. Домотканые коврики, пестрые паласы и просто куски войлока мгновенно устлали площадь, и, встав лицом к югу, джамаат свершил полуденный намаз.

Покончив с молитвой, кадий Гарус отправился в мечеть и вынес оттуда расписной ларец.

— Правоверные! — сказал он торжественно, пробираясь сквозь коврики и паласы на самую середину толпы. — Взгляните на эти святые стены. — Рука кадия вытянулась в направлении мечети, и вслед за ней устремились взгляды джамаата. — Наша мечеть, единственная обитель всевышнего на земле, пожалованная нам светлейшим шейхом Абумуслимом, разрушается. Можем ли молиться в ее святых стенах, если они еле держатся? Нет, клянусь аллахом, я не допущу, чтобы мечеть стала кладбищем для правоверных. Не дай аллах свершиться этому злу!

Одобрительный гул джамаата облетел площадь. — Джамаат должен подумать о новой мечети сегодня же, — продолжал кадий. — Сказано: отложишь на другой день, отложишь и на следующий. Я жертвую на новую мечеть десять рублей золотом. — Червонец сверкнул в руке кадия и стукнулся о дно ларца. — Пусть оценит аллах щедрость своих верных рабов!

Кому захочется в глазах ближнего показать свою скупость? Целый час писарь аккуратно заносил пожертвования джамаата на новую мечеть в особую книгу. Новую мечеть одаривали и деньгами, и коврами, и отарами. А те, у кого копейки от роду не водилось, отдавали на святое дело свои собственные руки.

Наконец, страсти улеглись, джамаат притих, подавленный величием собственной щедрости. Казалось, на сегодня все богоугодные дела закончились. Кадий Гарус, заглянув в длинный список приношений, сложил руки на груди и вдруг встретился взглядом с Гаджимурадом, который возник невесть откуда и стоял рядом.

— Уважаемый эффенди Гарус, — громко проговорил кваса, без труда привлекая внимание притихшего джамаата. — Я вот что хотел спросить у вас...

Но кадий воздел предостерегающий перст в небо.

— Подожди, брат, подожди! Разве не видишь, я еще не кончил беседу с джамаатом? — Глаза его зло сверкнули. С отчаянием, глубина которого могла сравниться только с отчаянием прыгнувшего в бездну, кадий произнес:

— Правоверные, наши дела еще не закончены. В нашем виляете развелось много болезней, переходящих от одного к другому. Помните, правоверные, веление аллаха: больной не должен есть на одной скатерти со здоровым, никогда не простит аллах вам такого греха. Постель, посуда и вещи больных аллах велел содержать отдельно, об этом сказано в коране! Всевышний, пославший рабу своему болезнь, посылает ему и избавление. Не грешно обращаться за помощью к любому врачу, которого аллах научил врачеванию! Призываю вас, не гневите всевышнего, наведите чистоту в своих домах, на улицах и у источников! — стонал кадий все громче и громче,

— Но и это еще не все, правоверные! До меня дошли такие слухи: кто-то уверяет вас, что вода смертна, как и мы с вами! Нет, братья, клянусь аллахом, вода не умирает никогда — такова воля всевышнего! — Кадий Гарус выразительно замолчал и покосился на Гаджимурада. Судя по выражению лица, кваса был доволен наполовину, и кадий, помянув аллаха, решил, что своя рубашка ближе к телу.

— Правоверные, водопровод в нашем ауле будет построен, почтенный мулла Фалз заботится об этом деле. Сейчас мы попросим его передать ваши деньги трем представителям, которых вы сами пожелаете избрать...

По толпе пробежал шумок, загудели все разом:

— Правильное решение! Давайте старика Севзихана!

— И квасу пошлем!

— И Ильяса давайте, он деньгам счет знает, его не проведешь! А то по веревке муллы Фалза в колодец спускаться опасно!

Фалз пробирался к кадию Гарусу, с беспокойством оглядывая людей, но Гаджимурад бочком оттеснил его.

— Достопочтенный Фалз, разве нам в эту сторону идти? Нет, нет, нам в другую сторону. Сейчас отправимся к вам в дом, возьмем денежки и сдадим в кассу для сирот. — Он обнял Фалза и силой повернул его обратно.

А кадий Гарус словно и не видел несчастного Фалза. Кадий был, как всегда, занят общением с всевышним.

Ничего не скажешь, путь Фалза к своему дому был устлан не розами. Скорее всего он напоминал шествие обреченного к виселице или по крайней мере шествие погребальное. Впереди понуро плелся сам покойник, за ним следовал его могильщик в обличье веселого квасы. Завершали процессию почетные поборники справедливости, избранные джамаатом.

Дорогой Гаджимурад, что называется, отвел душу, понося притихшего муллу.

— Ты, Фалз, жаден, как волк, а жадность и святую душу с пути сведет, — говорил он, оглядываясь на старика Севзихана и Ильяса, идущих сзади. Те согласно кивали, подбадривая квасу. — Говорю тебе истину — погубит жадность тебя, Фалз, одну дорогу оставит — прямо в ад. — Гаджимурад тяжело вздыхал, закатывая глаза и давая волю воображению, принимался оплакивать адские муки грешного Фалза.

По мере приближения к дому, Фалз все больше мрачнел. На мостике через ручей, встретившийся по пути, он откинулся на перила и задышал тяжело и часто.

— Ой, плохо мне! Что-то голова болит, не могу дальше идти, давайте подождем немного... — стонал он, соображая где сейчас можно достать денег.

Но лиходеи были неумолимы.

— Побойся аллаха, Фалз! — подал голос старик Севзихан. — Неси деньги, и мы отпустим тебя с миром.

— Сейчас, сейчас принесу! Подождите меня здесь! Клянусь аллахом, принесу, подождите меня здесь, — сказал Фалз и, забыв о притворстве, во всю прыть побежал в ближайший проулок.

Гаджимурад махнул своим спутникам и бросился за Фалзом. Однако, увидев, что пятки Фалза в последний раз сверкнули у дома лавочника Кероглы, он подождал запыхавшихся Ильяса и Севзихана, и все троем они уселись у входа, украшенного огромными рогами тура...

— Рад видеть тебя, мулла Фалз. — Маленькие глазки ахтынского ростовщика загорелись. За долгую жизнь Кероглы научился распознавать отчаявшегося с первого взгляда. — Сколько же ты должен джамаату?

«Сейчас три шкуры сдерет, проклятый!» — подумал Фалз и прокашлялся, собираясь с мыслями.

— Пятьсот мне надо, ох, пятьсот. Выручи меня, ради аллаха! Тебе, Кероглы, я доверяюсь как брату родному. — Фалз вздохнул, прикидывая, во что обойдется ему новое родство.

— Ну что ты, хорошему человеку как отказать? Где теперь найдешь человека, чтобы помог ближнему, время теперь не такое. У тебя, кажется, Фалз, сад есть на яргарских землях? Ну вот, видишь, сад у тебя есть. Ты мне и дай его в залог, сам понимаешь — пятьсот рублей деньги не малые, а мне сына надо женить.

Тщетно пытался Фалз уговорить Кероглы взять под залог хотя бы пару больших отар. Тот и слышать не хотел.

— И чего тебе расстраиваться, Фалз? Будто я сад у тебя отнимаю? Отдашь долг — опять твои урожаи будут. Конечно, пока я там своего сторожа оставляю, без этого нельзя, но на время, на время... Будь мужчиной, Фалз, садись и пиши расписку... — Он подтолкнул Фалза к столу, где всегда лежала чистая бумага, пенал с тушью и перо для расписок. — А вот и денежки! — На стол полетела пачка ассигнаций, аккуратно упакованных. — Не горюй, Фалз, что тебе стоит вернуть сад? Не зевай только, пораскинь мозгами. Почему бы тебе не собрать деньги для бедных сирот? Разве наш джамаат когда-нибудь отказывал бедным детям, а? — Кероглы хитро подмигнул удрученному Фалзу и похлопал его по плечу.

«В пасти дьявола поможет ли аллах?» — подумал Фалз, вспоминая цепкие руки Гаджимурада.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Антон Никифорович не находил себе покоя.

Привычно, но как бы чуть замедленно выполнял свои ежедневные обязанности: по утрам принимал больных в лечебнице, составлял и выдавал лекарства, во второй половине дня посещал на дому тяжело больных. Он убеждался, что горцы все меньше сторонятся и боятся его, — многие благодарно кланялись ему на улице, и даже седые старики, встречая его, снимали папахи и шапки. Еще совсем недавно, год или два назад, он считал себя счастливым. Многие горцы принимали его как друга, верили ему, — его пребывание в этих диких, позабытых богом горах становилось необходимым. Он делал благородное дело, о котором мечтал еще мальчишкой, а затем и в аудиториях университета: он облегчал человеческие страдания, он нес людям свет добра, тянул их в мир культуры, в котором жил сам. И это казалось прекрасным — ведь именно о такой жизни когда-то мечталось ему...

Но радости не было, с каждым часом и днем жизнь становилась сложнее...

Больше недели он не видел Алван, она перестала приходить в его дом, — сернич с молоком теперь приносил по утрам один из ее братьев.

А Джавад? Бедный Джавад... Тогда, на тропе, он казался Антону Никифоровичу почти безумным. Нелепые законы предрешили его судьбу еще в колыбели. Джавад и Алван молочные брат и сестра. Правда, не кровное родство, здесь нет кровосмешательства... Но до сих пор стоит перед глазами Антона Никифоровича перекошенное от боли красивое лицо Джавада. И кто знает, забудется ли оно когда-нибудь?

Доктор доставал с книжной полки покрытые пылью томики Пушкина, Лермонтова. Рассеянно листал «Героя нашего времени», «Казачков», «Путешествие в Арзерум». В этих книгах, которые он любил с детства, происходило нечто подобное тому, что случилось с ним. Русские люди вторгались в патриархальный, живущий по своим многовековым законам, мир горцев, и именно здесь, на горных тропах, подстерегала их любовь, именно здесь их привычный мир и уклад жизни, который они считали единственно приемлемым для людей, сталкивался с миром, где властвовали иные законы, где вещи и отношения мерились иной меркой... Но он не Печорин и не Онегин. И Алван не быть Беллой. Судьба Алван — Джавад. Как просто и как горько...

Проводив последнего больного, Антон Никифорович не мог оставаться один. Его тянуло к людям, на узкие, карабкающиеся по горным склонам улочки аула, на майдан, в караван-сарай. Его тянуло в горы. Оттуда он смотрел на плоские крыши аула. Люди, населявшие эти бедные сакли,

рождались, жили всю жизнь и умирали здесь, так и не услышав опьяняющего шума весенней березовой рощи, не увидев пологих берегов русской реки. У них свои несчастья и трагедии. Разве мог он чувствовать себя счастливым, если бы на всю жизнь, от рождения до могилы, оказался прикован к этим однообразным, хотя и величественным местам? А между тем он здесь жил и не хотел возвращаться в привычный мир.

Здесь жила Алван, с ее темными, удлинёнными, полными невысказанной нежности глазами. Это она, сама того не зная, заставляла думать его о сложностях, о неразрешимых противоречиях, возникающих на границе двух разных укладов человеческого бытия.

Он жил среди людей, верящих иному богу, поклоняющихся иным святыням, считающих его «гяуром», «неверным», человеком низшего сорта. Вчера, когда он заглянул в лавку Кероглы на базаре, — с каким презрением смотрел на него хозяин и его сын Фарух, беспрерывно кашлявший, с лихорадочно горящими щеками. Открыто они не выражали доктору вражды, но он всегда чувствовал ее, как только переступал порог лавки. Как и во всех аульских лавках, здесь торговали всем, начиная от фиксатуара для усов до стеариновых свечей, от ковочных гвоздей до серебряных бус, от чесоточной мази до ячменной муки. Не входя, Антон Никифорович постоял на крыльце, наблюдая, как чахоточный Фарух, кашляя в совок, отвешивал пожилой горянке в черной шали муку. Много раз доктор запрещал Фаруху развешивать продукты, и каждый раз, стараясь потушить в глазах ненависть, кланяясь, Кероглы обещал доктору, что это последний раз. Но доктор уходил, а чахоточный Фарух по-прежнему кашлял над мешками с мукой.

В один из вечеров, когда тени поползли на аул со стороны гор, Антона Никифоровича потянуло вдруг к своим, к русским, захотелось послушать родную речь, протяжную песню, которая будит в груди неясную грусть.

Он просидел весь вечер на террасе Брусилиных, почти не принимая участия в разговорах, не отвечая на шутки. Молодые офицеры, навещавшие полковника каждый вечер, плоско острили, чтобы развлечь тоскующую госпожу Брусилину, и пели «Тройку» и «Хазбулата».

Взяв доктора под руку, Брусилин увел его в свой кабинет, усадил в кресло и, помедлив, достал из стола несколько писем.

Брусилину жаловались на Ефимова аульские «джарахами», те самые бессовестные шарлатаны, которым доктор мешал калечить и обирать народ. Антон Никифорович безучастно скользил глазами по безграмотным строчкам, — многие из них были написаны печатными буквами. «Ради господ бога и ради государя Николая II просим милость вашего сиятельства избавить нас от каспадина Ефимова». Некоторые письма были написаны по-арабски, и доктор откладывал их, не читая.

Благодушно посмеиваясь и искоса поглядывая на Ефимова, Брусилин ходил по кабинету из угла в угол, потом подошел, брезгливо сгреб письма, швырнул их в ящик стола.

— Часть этих писем, дорогой Антон Никифорович, мне пересланы губернатором, начальство требует разобраться. Но вас, батенька, я уж, конечно, ни в коем случае в обиду не дам. Вот какую репликацию настроил я в ответ. Гляньте - ка...

Доктор взял крупно исписанный лист бумаги, прочитал:

«Все, что написано в доносах, — гнусный вымысел. От лица всех сослуживцев докладываю, что врач Ефимов пользуется всеобщим наилучшим расположением и полным уважением, как человек безусловно честный и во всех отношениях порядочный. Таким же точно расположением он пользуется и среди населения округа. Как врач, он никогда никому из населения не отказывает в помощи и делает даже более того, к чему обязывает его устав и служебные полномочия. Осенью прошлого года, когда окружная аптека оставалась без лекарств, он в необходимых случаях покупал их на собственные средства и никогда не отказывался посещать трудно больных на дому

не только в Ахтах. По первому призыву во всякую погоду, по ужасным дорогам он ездит всюду, куда его ни позовут. Все это делается им безвозмездно...»

— Спасибо, Борис Александрович! Я рад, что хоть вы признаете полезность моей работы в этом диком краю... Право, спасибо.

— Не за что, не за что, батенька. — Брусилин грустно прокашлялся и, словно смущенный чем-то, остановился против Ефимова. — Но последнее время, Антон Никифорович... э-э... как бы это сказать... характер клеузных доносов несколько изменился...

Антон Никифорович встал.

— В чем дело, Борис Александрович?

— Да так, пустяки... — Брусилин засуетился, не глядя Ефимову в глаза. — Какие-то пакостники распускают слух о... как бы это сказать... ваших авансах, что ли, юной лезгинке по имени Алван. Простите, но я — старый русский офицер, рубака, я привык эдак, рубить с плеча. Да-с, да-с! Неужели вы действительно намерены жениться на мусульманке? А вы представляете себе препятствия, встающие для русского на пути подобного, можно сказать, немислимого брака?

«Так вон куда зашло, — с горечью подумал Антон Никифорович. — Словно в уездном городишке. Сплетням и горы не преграда...»

А Брусилин тем временем продолжал:

— Мне докладывали, ее жених из-за этого даже покинул Ахты...

— Не может быть! — вскрикнул Антон Никифорович.

— Это так. И в этом деле замешано ваше имя.

— Извините, Борис Александрович. Я полагаю, есть поступки, в которых я волен разбираться сам...

— Да, да, — заторопился Брусилин. — Это ваше личное дело, но я как старший по чину, по званию...

Они вернулись на террасу. Госпожа Брусилина, томно улыбаясь, с понимающим видом начала расспрашивать Антона Никифоровича о его житье-бытье, о причинах его меланхолии. Он ответил ей что-то, попрощался и ушел.

Аул спал, внизу бессонно гремела камнями речка, странно и одиноко сверкали звезды. И Антону Никифоровичу казалось, что человек со всеми своими горестями и печалью ничтожен перед лицом этих звезд и гор, этой немеркнувшей и непреходящей вечности. Он был одинок и несчастлив, и никто на свете не знал об этом, разве что эти звезды.

«А если?.. Нет, я люблю ее, — думал он, — это значит, что я должен забыть о себе».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Шумный Гаджимурад появился неожиданно рано, когда Антон Никифорович еще завтракал, как обычно, в саду, под старой грушей. С аппетитом поглощая жареную баранину, Гаджимурад рассказывал доктору, с каким трудом удалось джамаату выудить у Фалза деньги на водопровод. Хохотал, балагурил, размахивал руками и вскакивал, представляя все в лицах. Но глаза его при этом были невеселы. Наконец, Гаджимурад затих, облачко раздумья набежало на его широкое лицо.

— Встретил я одного нашего знакомого джигита, доктор... — сказал он, внимательно разглядывая падалицу в пожухлой траве. — Он просил меня низко кланяться доктору и пожелать ему счастья на дороге любви...

Антон Никифорович вскрикнул:

— Джавад! Так это правда! Как же мог ты его отпустить, ты — мудрец Гаджимурад?!

— Прости, не сумел, не смог. Упрям наш кипарис...

— Ужасно! Это твоя вина. Это моя вина. Это наш с тобой позор, что он уехал. Как его вернуть?

Гаджимурад не успел ответить. Во двор вбежал маленький братишка Алван, загорелое лицо его было заплакано, глаза испуганно блестели. Преодолевая робость, он подбежал к столу и, просительно сложив перед грудью руки, быстро и сбивчиво что-то залопотал. Антон Никифорович ничего не мог понять в этом стремительном задыхающемся шепоте.

Гаджимурад выслушал мальчугана и погладил по растрепанным волосам.

— Дело плохо, доктор. Улетел орел, улетел, и теперь коршуны вьются над незащищенным гнездом. Да что коршуны... Шакалы пришли сватать нашу лань! Они торгуются с Халум, а бедная Алван совсем потеряла голову...

Кероглы и его сын Фарух, оба в новых черкесках с блестящими газырями, оба при оправленных в серебро кинжалах, сидели в сакле Халум. Говорил Кероглы требовательно и сухо.

— Аллах свидетель, я всегда был добр к твоей семье, Халум. У меня все записано за три года. Еще Кариб был здесь, приходил в лавку, брал что хотел. Потом Кариб уехал в Баку, я тебе тоже не отказывал ни в чем.

— Так, Кероглы, так... Вернется Кариб, мы все отдадим, аллахом клянусь...

— Да, таков закон, Халум, взявший долг отдает... Но я повторяю тебе, Кариб три года назад сказал: подрастет Алван, пусть Фарух приходит, будет свадьба. Да-да, так, клянусь аллахом, так говорил Кариб.

— Ничего я не знаю, ничего не слышала, — в десятый раз повторяла Халум, — спрашивайте у Кариба. И за что послал мне аллах такое наказание?..

— Выходит так, что сын мой — наказание? — возмутился Кероглы. — Посмотри, Халум, разве плохой джигит мой Фарух? Разве лавка, где он станет хозяином, мала? Разве нет у него баранов и коз, ишаков, коней? Весь аул купить может сын Кероглы. И ты, Халум, будешь доживать свой век на пуховых подушках и каждый день будешь есть плов и шашлык...

Увидев Ефимова и Гаджимурада, вошедших в саклю, Кероглы осекся и вскочил. Поднялся и Фарух.

— Уважаемая Халум, — взволнованно и торопливо проговорил Антон Никифорович, вытирая мокрый лоб, — не отдавайте Алван за сына Кероглы! Поймите — здоровый полевой цветок радуется глаз больше, чем больная роза... Нельзя отдавать Фаруху вашу дочь... Я заплачу ваш долг, если потребуется...

Халум хотела было что-то ответить, но Кероглы решительно отстранил ее.

— Послушай, кашка, — запальчиво крикнул Кероглы, подступая к доктору с перекошенным от злобы лицом. — Чем это не понравился тебе мой сын Фарух? Разве...

Гаджимурад нахмурился и сделал шаг к Кероглы, но Антон Никифорович удержал его.

— Прошу вас, успокойтесь все, — сказал он тихо. — Успокойтесь. В таком состоянии какой может быть между нами разговор? Поговорим спокойно, и я отвечу на все ваши вопросы. Давайте присядем...

— Нечего нам расслаивать здесь. — В лице Кероглы было что-то жестокое и отталкивающее. Да, такому лучше не попадаться в лапы — пощады от такого не жди! — Ты, я вижу, господин, чувствуешь себя и здесь хозяином. Ты требуешь — и люди метут и скребут улицы и дворы, муллы и знахарки имя твое произносят со страхом. Там ты утвердил свое право, ты показываешь свои бумаги с печатями. А здесь что тебе нужно? Ты что же, господин, мать матери Алван или старший в их роде?..

Ростовщика прервал сухой кашель Фаруха. Приложив платок к губам, он кашлял долго и надрывно. Кероглы с тревогой глядел на сына.

— Я понял вас, Кероглы, — сказал Антон Никифорович, лишь только Фарух успокоился. — Поймите и вы меня. Я врач и не могу не вмешиваться в судьбу больного... Вы ведь знаете, уважаемый Кероглы, у вашего сына чахотка. Но понимаете ли вы, что грозит Фаруху, если он сейчас женится? Не далее чем через неделю он сляжет и уже никогда не встанет с постели и... уже никакая сила не спасет его. А сейчас его еще можно лечить, и он может поправиться, будет совсем здоров...

Кероглы молчал. И без того мрачное его лицо еще больше потемнело. Было видно, что слова произвели на него впечатление, и он погрузился в глубокое раздумье.

А доктор тем временем перешел от рассуждений к доводам:

— Вы, вероятно, знаете, что сказано в коране по этому поводу? «Если больной человек с умыслом заразит здорового, то аллах найдет на него столько беды, сколько бы он не заслужил за другие преступления, и отправит его прямо в ад». Вы, мусульманин, хотите нарушить заповедь аллаха...

Антон Никифорович, давая Кероглы время для размышления, подошел к Фаруху, взял у него из рук платок и, осмотрев его, сказал с убеждением:

— Если ты хочешь, я буду тебя лечить. А когда поправишься — женишься. Зачем тебе торопиться?.. Ты ведь еще так молод...

Смуглое, измученное болезнью лицо Фаруха осветилось радостью. Он было хотел что-то сказать, но новый приступ надсадного кашля помешал ему, и он лишь успел взглянуть на отца. Кероглы тяжело вздохнул, помолчал насупившись и неожиданно сказал совсем тихо:

— Придется поверить вам... Пусть будет так, как велит коран. Но мы еще вернемся, Халум...

Они ушли.

Украдкой вытирая слезы, Халум повела Антона Никифоровича во двор, туда, где под тенью туты лежала ее дочь, ее ласточка Алван, покинутая Джавадом. Бледное лицо Алван казалось безжизненным. Антон Никифорович бережно поднял ее и понес в саклю. Руки его не чувствовали тяжести.

— Джавад, ты вернулся? — прошептала Алван, не открывая глаз, и сердце Антона Никифоровича вздрогнуло, как от удара, в нем смешались боль и нежность.

«Уезжая, Джавад оставил Алван мне. И я отвечаю за ее судьбу. Это мой христианский долг...» — думал он. Пульс девушки становился все ровнее.

— Ничего опасного, пусть полежит, — глухо сказал он и вышел.

Гаджимурад подждал его у калитки. По хмурому, отчужденному лицу доктора Гаджимурад понял, что об Алван лучше не спрашивать.

— Джумала джахан свидетель, — пробормотал он, — я бы не дал тебя в обиду! Ишь, вырядились, как петухи!

— Не о том ты, не о том, Гаджимурад. Думай, как вернуть в аул Джавада.

— Я понял, все до самого дна понял, кашка-духтур!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Задыхаясь, кадий Гарус с отвращением отталкивал от себя Махлус и пятился. Цепкие крючки сухих пальцев старухи скользили по нежному шелку темно-красной абы кадия, издавая звуки омерзительные, как скрежет зубов шакала. Сердце Гаруса, скованное страхом, падало и замирало. Наконец, завладев абой, Махлус набросила ее на свой отвратительный горб, с блаженством закрыла щелочки глаз, улыбнулась беззубым ртом, а кадий Гарус пустился бежать по узкой тропинке вдоль пропасти. Но из-за скалы вылез огромный шакал и встал поперек тропы. Лениво помахивая хвостом, он поднялся на задние лапы, повернулся к Гарусу и вперил в него свой огненно-рыжий взгляд. Гарус снова попятился, но уже обратно, с ужасом обнаружив, что мохнатая шея чудовища держит совсем не звериную голову. Ненавистное лицо кашки-духтура несколько минут с сожалением смотрело на Гаруса, а потом рассмеялось громко и зло. Шакал протянул к кадию свои мохнатые лапы, то ли отталкивая, то ли маня к себе несчастного, и это было так ужасно, что Гарус закричал, прыгнул в пропасть и проснулся весь в холодном поту.

У него не было сил встать. Страшный сон все еще не выпускал кадия из своих черно-рыжих объятий, и Гарусу казалось, пошевелил он пальцем — все начнется сначала. Наконец, кадий очнулся, сел на тахте, подложив под тощую спину огромную подушку, и принялся перебирать четки. Но святые слова молитвы не шли на ум. Темные мысли, как рой пчел, носились вокруг его головы, жужжали и жалили, а сердце ныло и ныло.

«Аллах свидетель, недаром приснился мне этот сон. Ко всему протягивает свои лапы проклятый гяур, проклятый сын проклятого отца. Ни одного дня не проходит, чтобы я был спокоен. Даже ночью нет покоя мне от него, — думал кадий и вздыхал тяжело и прерывисто. — Всех взбаламутил, все вверх дном перевернул с тех пор, как явился сюда. Мало ему того, что вынудил меня написать муллам в другие аулы. Видите ли, ему нужна везде чистота! Бедный Фалз, святая душа, отдал под залог Кероглы свой лучший сад. А сам Кероглы — пусть болезнь сына его Фаруха перейдет к проклятому кашке! Из-за него страдает честь почтенного в ауле человека! Теперь сам Кероглы стоит за прилавком, никто не хочет покупать товар у его сына... Он, конечно, он, гяур проклятый, подослал ко мне этого голодранца Гаджимурада. Нет, нет, так больше продолжаться не может, аллах не простит мне, если и дальше гяур будет вмешиваться в дела правоверных...»

Тяжело поднимаясь с тахты, кадий с досадой ткнул в бок свою молодую жену. Нехотя рассталась она с безмятежным сном молодости, и тяжелый овчинный тулуп, поданный ее проворными руками, лег на острые плечи кадия.

На веранде было прохладно. «Часа два, никак не меньше», — определил кадий, взглядываясь в землю и небо, плотно укрытые темно-синим полотном ночи. Чем дальше думал кадий, тем тяжелей становилось у него на сердце, а небо темнело и темнело. Голые тополя тянули к Гарусу тонкие черные руки, и редкая серебряная листва их казалась ему грязными лохмотьями дервишей. Звезды вспыхивали ярким холодным огнем и, хитро подмигивая, исчезали в черной пропасти неба, а горы, как разбойники на большой дороге, стерегли жалкий осколок луны. Когда он пропал под одной из черных бурок, сердце Гаруса похолодело от страха. Все вокруг слилось в непроглядную темень. «Неужели ум мой помрачился от дум? Ничего не вижу и не слышу, или я совсем ослеп? — проговорил Гарус и дрожащей рукой протер глаза. — Нет, слава аллаху, вот мой

тулуп, — он потрогал длинные белые пряди овчины. — Вижу я, о всевышний, и даже слышу свой голос...»

Внезапно пахнуло осенней прохладой, и послышался привычный говор Ахты-чая. Притихшие звезды как ни в чем не бывало восседали там, где повелел всевышний, а горы сбросили разбойничьи бурки и заалели сверкающим одеянием сказочной Пери.

— О всевышний, я понял твое указание, — шептал кадий, протягивая руки к светлеющему небу. — Прояснился мой разум, как эта непроглядная тьма, сотворенная тобой. Не проклятый кашка сохранит честь мусульманской девушки, оставленной непоседливым отцом. Гяур будет знать свое место, уж не самому ли ему приглянулась дочь Кариба... Клянусь, этот лакомый кусочек попадет в достойные руки...

Едва прокричали первые петухи, жена кадия отправилась в дом соседей, и через несколько минут черноволосый мальчишка помчался во всю прыть по дороге к дому Панаха.

— Я слушаю вас, дядя, — сказал Панах, кисло поглядывая на самовар, за которым ждал его Гарус-эффенди.

— Сын мой, сегодня всю ночь я читал коран, и всевышний повелел мне вспомнить о тебе. Сорок лет ты живешь бобылем, а сказано в коране — нехорошо правоверному жить одиноким, не подобает мусульманину жить без жены...

«Чтоб отсохли пальцы у того, кто это писал!» — подумал Панах. Он пуще огня боялся прилепиться к подолу жены. И спросил, глядя на кадия мутными глазами:

— Что-то я не понимаю вас, дядя, не такое сейчас время, чтобы рвать цветы... и потом у меня болит голова... — он начал тереть свой лоб. Голова его действительно трещала с похмелья, и, откровенно говоря, он ничего не понимал.

Гарус-эффенди покосился на жену, всегда торчавшую у него на глазах, и перед Панахом появилась большая четырехгранная бутылка с розовым вином.

— Ну вот, ты чувствуешь себя теперь здоровым, слава аллаху, все надо делать в свое время, так велит всевышний. Молодое вино слишком кислое, а весенние цветы быстро вянут... Кто понимает в этом деле, — кадий метнул взгляд на свою молодую жену, — всегда рвет цветы осенью. Только осенью они полны аромата и пьянят, как вино. Я знаю, где растет цветок, достойный тебя, — кадий прикрыл глаза, давая понять, что он приступил к общению с всевышним.

Передохнув немного, Панах взялся за третий стакан, залпом осушил его до дна, глаза его прояснились и повеселели.

— Дорогой дядя, говорите прямо, какое у вас дело ко мне...

— Аллах свидетель, мне нечего скрывать от тебя, я с утра занят исполнением воли аллаха. Сегодня ночью мне было видение, я видел тебя и дочь Кариба. На цветущем альпийском лугу она протягивала к тебе руки, моля взять в жены, она плакала, бедная, и цветы вяли от ее слез... Утром я встал и послал за тобой — такова воля аллаха. Ты ведь знаешь, как красива дочь Кариба, чего еще ждать?

— Что вы, дядя, что вы! — испугался Панах и замотал головой. — Убьет меня сирота бабки Майрам, если я посватаюсь к дочери Кариба. Нет, нет, я и думать о ней не могу, мне моя жизнь еще не надоела!

— Не торопись с ответом, не торопись, неужели я дам тебя в обиду? Верная Махлус сказала мне вчера, что давным-давно сироты бабки Майрам нет в ауле, а проклятый кашка, как коршун, вьется

над ее домом. А вдруг он сам задумал украсть ее или, спаси аллах, жениться на ней? Всевышний проклянет наш аул — и страшный позор падет на наши головы... Нет, никогда не простит нам аллах такого бесчестия...

Неизвестно, сколько бы еще говорил кадий, если бы Панах, услышав имя ненавистного кашки, не потемнел лицом. Оно стало каменным.

— Аллах свидетель, я не могу допустить такого позора. Я сегодня же засватаю дочь Кариба, но учтите, дядя, денег на свадьбу у меня нет.

— На дело, угодное аллаху, я никогда еще не отказывал, — сказал кадий и пошел к нише, где стоял ларец с деньгами на новую мечеть.

Петляя в темных глухих переулках, Халум пробиралась к дому доктора. Слезы отчаяния душили ее, и резкий холодный ветер рвал края пестрой кашмирской шали, которую Кариб привез ей три года назад из Баку. Редко надевала Халум эту шаль, разве что на свадьбы, как заветный талисман берегла в приданое дочери...

Подойдя к калитке, вытерла слезы, свела концы шали на груди и перешагнула русский порог.

— Уважаемый доктор, спаси несчастную мать, у нее отнимают единственную дочь! Будь проклята наша бедность, некому заступиться за дочь без отца! Как змеи ползут в наш дом сваты, будь прокляты они! — в отчаянии выпалила Халум, когда Абдулжалил, разбуженный стуком, провел ее в комнату доктора, ни о чем не расспрашивая.

Прислонясь к косяку двери, Халум все говорила и говорила. Слезы опять закипели в ее черных глазах, но она уже не стеснялась их. Они катились по ее пылавшему, помолодевшему от волнения лицу, капали на заветную кашмирскую шаль... И так прекрасна была Халум в своем материнском горе, что казалось, сама Алван, усталая и поблекшая от страданий, стоит перед Антоном Никифоровичем и проклиная свою судьбу.

— Алван не хочет идти за этого пьяницу Панаха, будь проклята вся его родня, а он уже три раза присылал сватов. «Мама, неужели я должна идти за него, отец никогда бы не отдал меня. Если мы бедные, то нас и будут сватать всякие пропойцы? Нет-нет, лучше мне умереть, мама-джан», — говорит мне Алван и плачет день и ночь. Ради аллаха, помогите мне! Что может сделать женщина, если мужчины нет в доме, где взять мне силы прогнать весь этот сброд? Ни я, ни Алван не умеем писать, а кто же еще напишет письмо, кроме Панаха? Никто не хочет писать, все боятся его, сам кадий Гарус ему родной дядя. Заклинаю тебя, будь милосердным, напиши Карибу в Баку, пусть бросит все и едет домой, аллах велит родителям беречь своих детей! Помогите мне, не дай погибнуть моей дочери... — Она громко всхлипнула и закрыла лицо руками, совсем как Алван в свой первый приход в его дом.

Доктор подошел к ней, бережно подвел ее к тахте, дал выпить воды.

— Не плачьте, уважаемая Халум. Даю вам слово, все обойдется и Алван станет женой того, кто дорог ее сердцу...

Халум с сомнением взглянула на Антона Никифоровича: широко распахнутые карие глаза его смотрели твердо и упрямо, и она согласно закивала в ответ.

Какая мать не пожелает дочери такого жениха? Халум невольно улыбнулась, вспоминая стройного Джавада с серничем в руке, идущего по дороге рядом с ее дочерью.

— И Кариб как родного сына любит Джавада... — медленно проговорила Халум. — Неужели я опять увижу их в родном доме?..

— Вот и отлично, не правда ли? Теперь успокойтесь и успокойте Алван. Дайте мне время до утра.

Халум низко поклонилась, сказав, что всю свою жизнь она будет молить аллаха о здоровье кашки-духтура.

Проводив Халум, Антон Никифорович отослал Абдулжалила за Гаджимурадом, сел к столу и достал лист бумаги.

«Любезный Джавад!

Прошу тебя незамедлительно оставить все дела и возвратиться в Ахты, ибо лишь один ты можешь успокоить разбитое сердце Алван. Девушку сватают, и судьба ее зависит от твоего приезда. Разыщи, голубчик, отца ее, Кариба, и возвращайтесь вместе поскорее, как говорят твои сородичи: не по земле, а по небу».

Кажется, все... Антон Никифорович отложил перо и задумался. Ему вспомнился Джавад, с разбойничьим лицом стерегущий возле тропы. Какая это была нелепость! Никто никогда не должен узнать истину о его любви к Алван. Никогда.

«Брат мой, не думай ни о чем, — приезжай. Ты не выслушал меня до конца, не понял моих истинных намерений. Я люблю Алван как сестру, не более. Я виноват в том, что так нелепо вмешался в вашу судьбу, прости меня и позволь искупить свою вину. Алван ждет тебя и страдает. Все расходы по устройству свадьбы я беру на себя, и это не должно задевать твою честь.

Твой Антон Ефимов».

Антон Никифорович долго сидел за столом, бессмысленно глядя на письмо, которое, как лакмусовая бумажка, проявило вдруг постыдную зависимость дорогих ему людей от него же самого. Правда, иного выхода он не видел, да его и не было. Не будь Антона Никифоровича, Джавад, вероятно, лежал бы на кладбище, а бедная Алван была бы брошена в постель к чахоточному Фаруху...

Но все-таки что-то неясное тревожило его. Он ходил из угла в угол, думал и, наконец, боясь унижить человека своей щедростью, приписал в письме:

«Будет возможность — отдашь, а медлить со свадьбой нельзя».

Захочет ли Джавад принять эти деньги? Простит ли? Мир меняется с каждым уходящим днем, а вместе с ним и люди. Горец вместо того, чтобы привычно прирезать соперника, ушел с его дороги... Глупый мальчишка, и все же как дорого дал бы Антон Никифорович за то, чтобы быть на его месте...

Запечатав письмо, Антон Никифорович в раздумье вышел в сад.

Стояла лунная ночь. Молоденькие тополя, высаженные его руками перед домом, заметно окрепшие за лето,гнулись под холодным ветром, и ему показалось, что один из них, самый тонкий и хилый, непременно сломается.

Антон Никифорович побежал в сарай, где Абдулжалил хранил всякую хозяйственную утварь, и, найдя там старый черенок от лопаты, воткнул его рядом с заморышем. Потом он разыскал в кухне обрывок веревки и осторожно привязал ствол к палке.

При новом резком порыве ветра заморыш согнулся, но устоял, прижавшись к черенку....

Антон Никифорович смотрел на тополя до тех пор, пока на дороге не послышались приглушенные голоса Абдулжалила и Гаджимурада.

— Любезный Гаджи, прости, что потревожил тебя так поздно, но дело у меня неотложное, — начал он, когда все трое вошли в дом.

— Да, я знаю это дело, доктор. Дай мне твое дорогое письмо...

Кваса прошелся по комнате, почесал затылок, повертел письмо.

— Конечно, Джавад в Баку — как игла в стог сена... но меня выручит моя чайхана... Да, клянусь аллахом, в моей чайхане собираются рабочие, которые ходят на заработки в Баку и Грозный. Вы бы послушали, доктор, что они говорят — дух захватывает! В Баку такие дела творятся! — Он подошел к Антону Никифоровичу и прошептал: — Я так понял, Антон Никифорович, бедные люди хотят стать хозяевами нефтяных промыслов... Хватит, говорят, кланяться... Был у меня и ахтынец наш, Казимагомед, он у них, как я понимаю, один из главных. С ним-то Джавад наш и улетел, понимаете? Но я все это сделаю с одним условием...

— Говори, Гаджимурад, ничего я не пожалею ради этого дела...

— Тамадой на свадьбе буду я!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В долине Самура холодело, и солнце ленилось подыматься высоко. Под резкими ветрами зябли горы, поспешно прятали от дождей пестрые летние наряды. На склонах пожухла трава, и лишь кое-где виднелись случайно забытые зеленые лоскутья поздних деревьев, да белые капли отар покорно стекали в аулы. В свинцовом, выцветшем за лето небе крикливо сокрушались стаи журавлей и, облетая низкие облака, исчезали за горами... Долгим взглядом провожал их Антон Никифорович, кутаясь в горы все выше, унося хозяина от самого себя.

Нет, не дано человеку, как птице, улететь в теплые края и переждать непогоду у чужого порога.

Легко покидал Антон Никифорович Ахты, но чем больше верст оставалось позади, тем тяжелее становилось на сердце. Тянуло назад в аул, где звякали у калитки монетки на платье Алван...

Но конь упрямо вышагивал по узкой тропе, поднимаясь в горы все выше, унося хозяина от самого себя.

Часа через три впереди, у Хновского прохода, замаячили силуэты двух проводников, молодых, сильных парней из Хнова, вызванных накануне через чабанов.

— Антон Никифорович, люди говорят, что войска царя Николая прошли в Ахты по этой дороге, — сказал Берали и пришпорил коня.

Тоннель зиял как раскрытая пасть допотопного чудовища, и голоса глохли в его, казалось, бездонной глубине. Когда-то тоннель соединял дороги к важнейшим русским крепостям — Ахты и Нуха. Сколько дней и ночей солдаты долбили ломами и кирками его твердокаменное брюхо лишь для того, чтобы в один день можно было перебросить отряды из Нухи в Ахты? Теперь стратегия никого не интересовала. Горцы смирились и, как сто лет назад, гибли с отарами в зловещем Салавате, не смея ступить на дорогу. Как и сто лет назад, они завидовали орлам, которые свободно перелетали через горные хребты, и передавали из поколения в поколение сказку о крылатом чабане.

С годами ливни и обвалы привели дороги и тоннель в полную негодность — проехать здесь теперь не было никакой возможности. Бывалые офицеры крепости часто посмеивались над новичком, карьера которого обычно начиналась с ремонта дороги. Все знали, это безнадежное дело кончится обычно — о нем забудут. Полковник Брусилин давно убедил губернатора в том, что необходимость в этой проклятой дороге, слава богу, давно отпала...

Путники молча ступили на опасную тропу, извивающуюся по краю отвесных скал. Впереди ехал один из проводников, второй замыкал цепочку. Ехали долго. Густой туман, поднимаясь из ущелий, залезал под теплую бурку, леденил душу, и, думалось, конца не будет этой чертовой тропе...

Но вот послышался глухой лай собак, и вскоре показалась первая сакля Хнова.

Аульские улочки были безлюдны. Недалеко от мечети, на ровной площадке, старик плел веревку из козьей шерсти. Ему помогали два мальчика. Один, закручивая веревку, медленно пятился, глядя на старика, другой сматывал готовую веревку в моток. Все трое с любопытством разглядывали прибывших: Хнов редко посещали чужие.

Дома и сакли аула мелькали перед глазами, но проводник остановил коня лишь в самом конце улицы у небольшого саманного домика.

Крыльцо странно отличалось от почерневших стен дома новыми ступеньками и перилами с затейливой резьбой. Ставни в двух окнах тоже были совсем свежие и вдруг так живо напомнили Антону Никифоровичу Ахты, что сердце его тоскливо сжалось.

Берали, нисколько не удивляясь странному виду домика, сказал:

— Аллах свидетель, и здесь не обошлось без нашего неутомимого Абдулжалила.

Он поднялся на крыльцо и открыл дверь.

— Неужели никто не ждет гостей в дом с такими новыми ставнями?

Но ему никто не ответил. Доктор и Берали вошли в дом. Большая комната была уставлена по-городскому. Круглый стол с чистой белой скатертью, концы которой касались пола, выстланного войлоком. В углу тахта, покрытая недорогим ковром, а над ней небольшое зеркало. Только потолок комнаты был из камыша.

Берали, сняв обувь, вошел в другую комнату и тотчас возвратился оттуда взволнованный.

— Пожалуйста, идите сюда, Антон Никифорович. — И доктор, тоже сняв обувь, последовал за ним.

Старый Алияр-буба неподвижно лежал в углу, прямо на войлоке, тяжело дыша под бараньим тулупом. Глаза его были закрыты, седые пряди волос взлохмачены, сквозь смуглоту морщинистого лица проступала болезненная бледность.

Сбросив бурку, Антон Никифорович склонился над Алияром и осторожно вытащил из-под тулупа его сухую руку. Пульс был несколько учащенный, но жара у старика не было. Неожиданно Алияр открыл глаза, и тут же взгляд его потух, не выразив ни удивления, ни испуга.

— Не понимаю, что с ним стряслось, — прошептал Антон Никифорович. — Старость, видимо, старость...

За дверью послышались вежливые приветствия, вопросы и объяснения. Говорил Берали на каком-то странном наречии, смешивая лезгинские и совершенно незнакомые Антону Никифоровичу слова. Ему быстро отвечал сухой женский голос, и Антон Никифорович понял только одно — Салман на охоте.

Наконец, Берали явился с хурджинами, а вслед за ним вошла нестарая еще женщина, одетая скромно и опрятно. Антон Никифорович сразу признал в ней мать Салмана. Она низко поклонилась, не смея задерживать взгляд на русском, посмотрела выжидательно на Берали.

— Что случилось с вашим хозяином? — спросил Антон Никифорович по-лезгински.

Женщина опять поклонилась.

— Вчера мой сын Салман ушел в горы. Он не знал, что в нижнем магале чабан начал класть камни для нового дома. Весь джамаат пошел к реке, чтобы принести по одному камню для нового дома. «Пойду и я, если нет нашего сына Салмана, — сказал наш хозяин, да продлит аллах его дни! — Как мы будем смотреть людям в глаза, если будем в стороне? Ничего, ничего, я еще могу работать за двоих». Вернулся к вечеру и лег, — она всхлипнула и вытерла слезы краем платка. — Я ходила к старухе Анисе за лекарством, но разве я могу позвать ее в дом? Салман убьет меня, если узнает, что к нам приходила Анисе! — она показала пузырек с черной жидкостью, зажатый в руке.

Говорила она неторопливо, видимо, переводя свое хновское наречие на точный лезгинский язык.

— Не волнуйтесь, пожалуйста. Ничего страшного нет. Ваш хозяин переутомлен, пусть спит. Сейчас не следует его тревожить, — сказал доктор.

Берали объяснил матери Салмана, какого человека он привез в Хнов.

— О аллах, где же были мои глаза! — она улыбнулась и, усадив гостей на тахту, стала торопливо уставлять стол с белой скатертью всякой едой, изредка поглядывая на дверь, за которой спал Алияр-буба.

— Будьте и вы мне сыновьями — покушайте, что послал аллах. Клянусь, вы заслуживаете шашлыка, но разве женщина может приготовить настоящий шашлык? — Она села у двери и с любопытством и радостью смотрела, как едят проголодавшиеся мужчины.

Ефимов улыбался. Здесь ему было тепло.

Покончив с вечерним намазом, мулла Саду запер мечеть и отправился домой в толстом овчинном тулупе до пят. Будь хновцы более внимательны к чалме пророка, они непременно заметили бы, что мулла Саду погружен в море скорби. Но так уж повелось, никому не было дела до того, что там думает и чем занимается мулла Саду. Кому интересен мулла, никогда не выезжавший из аула? Все таинства корана мулла Саду изучил из уст собственного отца, тоже муллы, а на такое дело большого ума не нужно, был бы под рукой грамотный отец. Ну, письмо написать или прочесть письмо от дальней родни — это он может, а так ничего особенного мулла Саду не знал. По молодости мулла Саду обижался на правоверных за откровенную непочтительность. С годами он привык к этому равнодушию, жил замкнуто в доме с коврами и подушками, который мысленно называл уголком рая, обряды справлял исправно, но без души. Словом, мулла Саду отличался от своих односельчан лишь достатком, в котором джамаат служителю аллаха не отказывал.

После того как сын старого охотника Алияра-бубы побывал в Ахтах, и без того неяркая звезда муллы Саду померкла.

Провожали в Ахты покойника, а вернулся в Хнов румяный красавец джигит. Хнов ахнул. Только и разговору было что о Салмане, толпами ходили смотреть его залеченную русским доктором ногу, ощупывали ее, не веря глазам своим. Салман в присутствии джамаата поклялся кораном, что кашка-духтур не взял с него за лечение ни копейки! Мало того, подарил новенькую двустволку...

Возвращаясь с охоты с полными хурджинами дичи, удачливый Салман обносил своей добычей бедных людей в ауле, не забывая и почтенного муллу. Так уж положено. «Ешьте, добрые люди, и молитесь аллаха о здоровье кашки-духтура!» — приговаривал Салман. Кто же откажется от шашлыка из горной индейки? Такой человек в Хнове еще не родился. Брал и мулла Саду, но чем слаще был шашлык, тем горше было на душе у муллы.

Как хотелось Саду вышвырнуть очередную индейку вслед Салману, забывшему заветы пророка! Да рука не поднималась.

В своем доме Салман завел диковинные порядки, повесил зеркало, сколотил круглый стол и застелил его белой скатертью, купленной у бродячего торговца. И самое удивительное, старый Алияр, которому давно пора подумать о спасении души, благочестивый мусульманин, во всем потакал бесконечным затеям сына и даже помогал ему рубить новое крыльцо. От их дома за версту несло русским духом, и от этого мулла Саду просто страдал, потому что ничего русского он не выносил.

Правоверные совсем отбивались от рук, с оглядкой жертвовали на мечеть и даже стали поговаривать, что истинная молитва не нуждается в звоне монет.

А месяц назад гонец вручил Саду послание святого шейха — Гаруса-эффенди. С трудом одолев длинный свиток, исписанный мелкой арабской вязью, мулла Саду окончательно потерял голову.

Тщетно перечитывал он письмо. Круглое, как медный таз, лицо муллы позеленело. Аллах посылал своему верному слуге новые испытания. Рукой кадия Гаруса-эффенди всевышний повелевал:

«Правоверные, не доверяйте свою жизнь случайным лекарям, таково веление аллаха! Лечение больных без точного определения болезни и неизвестными снадобьями — большой грех. Помните, правоверные, ваше здоровье — это опрятность вашего дома, двора, домашних вещей и самих себя. Свою еду и питье держите в чистых местах, все, из чего ест и пьет больной, — должно содержаться отдельно.

О тяжелых заболеваниях немедленно сообщайте в санитарное управление округа! Там работают ученые и знающие свое дело доктора. Они лечат всех: бедных и имущих, мужчин и женщин.

Печать и подпись: кадий Гарус».

— Астафирулла! Астафирулла!! Астафирулла!!! — прошептал мулла Саду и долго вопрошал аллаха, могут ли попасть в сети шайтана светлые шейхи.

Ну что ты скажешь, где б ни лежал камень — хромого по ноге ударит! Разве станут ходить люди после этого письма к старой Анисе? Они потащатся в Ахты к лекарям. Зачем им доверяться Анисе, если лечение неизвестными снадобьями — большой грех? Нищей станет старая Анисе, а с ней и мулла Саду лишится верного куска хлеба.

Мулла Саду помолился на коврике, выпросил у аллаха прощение и спрятал письмо в толстый коран: дорога вера, да деньги дороже.

Но вот прибежала в мечеть запыхавшаяся Анисе и принесла черную весть о всадниках, остановившихся в доме Салмана...

Совсем перетрусил мулла Саду.

— О аллах, — взмолился мулла, — я не хотел утаить послание кадия Гаруса-эффенди! Ты же видишь, всевышний, народ сейчас на осенних работах, кто в поле, кто в низины спустился со скотом — кому же я буду читать письмо? Святые слова не должны пропасть даром!

И пошел к Салману.

Салман вернулся в аул под утро, усталый и встревоженный. Все еще не веря проводникам, которых встретил на Салавате, рысью мчался к своему дому. Но увидев двух лошадей, стоявших на привязи во дворе, замедлил шаг. На крыльцо вступил тихо и торжественно.

Всходило солнце. Из раскаленных степей Азербайджана дул теплый порывистый ветер, и горные хребты, застывающие к осени, вспыхивали от этой неожиданной ласки нежным румянцем.

Салман тихонько приоткрыл дверь в большую комнату и по-детски рассмеялся — громко и счастливо.

Доктор сидел на его тахте точно такой же, каким он помнил его всегда. Красиво одетый, со свежим от сна лицом. Только похудел немножко, да белая прядь стала заметнее. Он улыбнулся, увидев Салмана, обнял за плечи, прижал к себе.

— Здравствуй, орел, здравствуй, брат...

Все было так, как мечталось Салману. С рассветом они пошли по аулу, плечо к плечу, и Салман сдерживал шаг, чтобы отец его, старый Алияр, шагавший поодаль рядом с Берали, попевал за молодыми ногами.

— Вам правда нравится наш аул? — спрашивал Салман, любовно заглядывая в глаза Антону Никифоровичу. — Кто скажет, что у нас грязь во дворах или на улицах? Клянусь единым аллахом, нигде соринки не найдете... Конечно, в домах бедность не скроешь. Тут нас, Антон Никифорович, только горы хорошо кормят... Если бы не вылечили вы меня, пришлось бы мне ходить по аулам бедным дервишем. Стадо отец так и не собрал, старый стал. Я теперь охотой живу...

Алияр молчал, согласно кивая головой в белой папахе, а Берали с любопытством разглядывал коровники и кошары для овец, построенные в стороне от аула.

— Интересно, кто это навел здесь такую санитарию? Уж не ты ли, Салман?

— Нет, нет, — воскликнул Салман, — так всегда было, сколько я себя помню, верно, отец? Еще от прадедов наших такое пошло...

А дома Салмана терпеливо ждал мулла Саду.

— Салман, сын мой, я всегда говорил, что ты первый джигит в нашем ауле. Ради аллаха, да пошлет он здоровье отцу твоему Алияру, посоветуй, как мне быть с этим письмом, которое прислал нам Гарус-эффенди, да сохранит аллах его тень над нами...

Мулла Саду стоял за сараем, во дворе своего заклятого недруга. Пухлые, заплывшие жиром пальцы муллы держали послание шейха, свернутое в трубочку.

— Подумай сам, Салман, — сколько может лежать у меня это письмо? Как я ни бился — не могу прочесть его, совсем ослепли глаза. Вот я и думаю, может, твои гости прочтут его джамаату, некому больше прочесть, кроме них... Заклинаю тебя аллахом, Салман, что тебе стоит, ты ведь им свой человек...

Салман, пряча улыбку, с мнимой покорностью взял у муллы бумагу. В тот же день Берали читал ее джамаату на аульном киме.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Куда стекаются вести со всего света? Конечно, на ким. Это любимое место сборищ аульчан. Сюда, к седым камням, лежащим на площади перед мечетью, несут лезгины свои хабары — были и небылицы, только здесь и узнаешь правду о том, что творится в России и в Ахтах, на Кавказе и в Баку...

Незаметно летит время за спорым делом. Один плетет корзину из прутьев, другой точит кинжал на самодельном точиле, третий делает ложки из абрикосового дерева, четвертый шьет чарыки из сыромятной кожи. Любители азартно играют в шахматы на клетках, выбитых на большом плоском камне...

Кого только не встретишь на киме!

Тут тебе и бывалые горцы-мастеровые, известные всему Дагестану, тут смелые охотники и чабаны, знающие сотни удобных переходов через горные хребты. Встретишь тут и пахарей, которые по зернышку выращивают пшеницу на высокогорных клочках земли. Тут же, на камнях кима, и рабочие-отходники. Их сразу узнаешь по одежде — ни горец, ни горожанин, так, ни то ни се.

Седобородые старики, эти старые горные орлы, спрятав под теплые тулупы внучат, тащатся на ким с раннего утра. Малыши, сидя на дедовских руках, таращат глазенки во все стороны, а устав от шума и гомона, уснут на надежном еще плече...

Встретишь на киме и конокрада и бандита, разбойничавшего ночью либо в солдатском обмундировании, либо в женском платье. Приодевшись в честную черкеску, он приходит на ким узнать, что говорят люди о ночном грабеже...

Словом, на киме толкнутся все — и стар, и млад, и честный, и вор, только женщинам здесь нечего делать. Аллах ведает, какими путями хабары попадают к ним значительно раньше, чем на седые камни кима.

В больших Ахтах свой ким был в каждом квартале, и самый оживленный из них Чархаллай, что значит «над овражком», вот уже месяц был поглощен предстоящей свадьбой. День ото дня ждали приезда Джавада. Каждый обитатель кима считал своим долгом просить у аллаха легкой дороги для него. Даже древние старики, которых обычно уж не тревожила ни страшная весть, ни веселая песня, заметно оживлялись и с любопытством ждали событий.

Наконец по киму вихрем промчалась весть — приехали! И загудел весь аул, оживился, сельчане запрудили улицы, ведущие к дому Джавада, — все, все хотели видеть счастливыми сироту бабушки Майрам и свою ахтынскую Пери.

К вечеру в дом жениха явился мулла Фалз и с ним два мюрида — свидетели бракосочетания, положенные по корану.

В бедной сакле старухи Майрам, украшенной двумя старыми коврами, у очага, в котором потрескивали угли, их ждали поверенные жениха и невесты. Конечно, это были Гаджимурад и Абдулжалил. Они с достоинством встретили муллу с мюридами и, выпроводив старую Майрам за дверь, начали переговоры, как водится, издали.

— Да, на дворе уже не осень, а настоящая зима, — сказал мулла Фалз, бросая взгляд на тахту, стоящую в дальнем углу комнаты и застеленную новым покрывалом. Лицо его лоснилось от сытости, глаза масляно щурились.

— Это уж точно, — отозвался Гаджимурад, — так спокон веку заведено нашими отцами. Чуть повеет весной — говорят, жарко, лето в разгаре — говорят, осень пришла, теперь еще только осень, а Фалз спешит объявить, что уже зима... — глубокомысленно отозвался Гаджимурад. — В этом вечном беспокойстве наших отцов своя мудрость.

Муллу Фалзу, как, впрочем, и каждому, кто услышал бы рассуждения Гаджимурада, они показались не очень ясными. Он с сомнением покачал головой и расстегнул верхние пуговицы воротника своего ластикового бешмета.

— Несите кувшин! Время не ждет! — сказал он.

«Пришло время исполнить мулле первый завет аллаха, — подумал Гаджимурад, — сейчас набьет брюхо едой, как бурдюк сыром, развалится на тахте и будет всю ночь с боку на бок вертеться». Но, конечно, ничего этого Гаджимурад не сказал.

Старуха Майрам торжественно внесла кувшин с водой и тазик, с поклоном поставила перед гостями.

— Бисмалахи рахманил рахим, начинаю дело именем аллаха! — запричитал мулла. — Поверенный невесты здесь?

— Да, мулла. — Абдулжалил выступил вперед.

— А поверенный жениха? — с притворным безразличием снова спросил Фалз.

— Я здесь! — Гаджимурад встал рядом с Абдулжалилом.

Фалз искоса глянул на квасу и покачал головой.

— Веление аллаха! Есть у вас согласие невесты и жениха быть их поверенными?

— Есть, есть, — в один голос ответили друзья-приятели.

— Положите ваши ладони на кувшин.

Свидетели прикоснулись ладонями правых рук к кувшину, а мулла со знанием дела поправил их положение: большой палец Гаджимурада положил поверх пальца Абдулжалила.

— Выдаете ли вы дочь Кариба за сына Савзихана Джавада?

— Выдаю.

— А вы, как поверенный сына Савзихана Джавада, берете дочь Кариба Алван в жены для Джавада?

— Да.

— Какие ваши условия?

— Джумала джахан свидетель, Джавад дарит невесте кусок нивы, что на участке Миги, — с готовностью прокричал Гаджимурад.

— Я, как поверенный девушки, согласен. Большого нам и не нужно, — весело сказал Абдулжалил.
— Лишь бы жених и невеста были счастливы, лишь бы каждый день приносил им радость...

Ударили по рукам.

Тем временем Фалз закончил составление накаха о регистрации брака. Обе стороны приложили к бумаге пальцы, оставив на ней свои оттиски. Вынув из маленького кисета именную печать, Фалз припечатал подписи в конце акта. Безмолвствующие до сих пор мюриды приложили к накаху и свои медные печати. И в тот же миг в руку муллы упал серебряный рубль, который он проворно сунул в карман под косыми взглядами мюридов.

— Поздравляю, поздравляю, — торжественно возгласил Фалз.

— Пусть будут счастливы жених и невеста. Наконец старуха Майрам внесла блюдо плова и шурпу.

— Прийти на свадьбу и не попробовать угощения грех, — важно отметил Фалз и уселся к скатерти, расстеленной у очага. Его примеру последовали мюриды.

Прошло не менее получаса, пока мулла Фалз наелся досыта. Выпив чаю и прошептав молитву, духовенство наконец удалилось.

И тут же в саклю влетел Джавад. Нет, и в раю не было более счастливой души...

— Дядя Гаджимурад, я ваш должник до гроба, с этого дня я сын ваш! — воскликнул Джавад, бросаясь в объятия Гаджимурада.

— Когда имеешь, зачем скупиться? — рассмеялся Гаджимурад. — Сколько раз я предупреждал тебя: полюбил дочку соседа — распрощайся с покоем, женишься — и родные чужими станут, джумала джахан свидетель! А пока нельзя ли твоим родичам поесть немного? Видишь, хищные орлы растащили все, нам, бедным соколам, ничего не оставили, чтоб все три брюха их лопнули этой ночью!

— Я сейчас, сейчас! — Джавад поспешно пошел к двери, но на пороге столкнулся с новым гостем.

Антон Никифоровым с добрым и счастливым лицом открывал дверь сакли старой Майрам.

— Здравствуй, орел! Ты, я вижу, и в самом деле не по земле, а по небу летел, — сказал он, входя в саклю и протягивая Джаваду сразу обе руки. — Поверь, я счастлив видеть тебя здесь, искренне счастлив...

Усадив Антона Никифоровича на подушку рядом с собой, Гаджимурад пристально посмотрел на смущенного Джавада и покосился на пустое блюдо из-под плова.

— Джумала джахан свидетель, пора начинать семейный совет... А что, Джавад, плов еще не остыл? Давай-ка его сюда, да разом и порешим, что еще не хватает для завтрашнего дня...

Все последние дни перед свадьбой Антон Никифорович жил странной жизнью. Работа, единственное спасение от тоски, все меньше и меньше выручала его. Лицо Алван неотступно стояло перед глазами.

Теперь он искал уединения. Извилистой тропинкой шел мимо пустырей к берегу небольшого озера. По чистой глади его плавали желтые листья и островки соломы. На току шла молотьба. Антон Никифорович брел дальше по дороге, идущей в сторону Миги. Не один год ходил он этой дорогой в лечебницу. По краю дороги рос шиповник, длинные ветви вишен с ярко-красными листьями склонялись над ней... Но цветущий уголок казался ему унылой пустыней. Из жизни его уходила Алван. Она была с другим человеком. И этот человек ему дорог как брат.

«Возьми-ка ты себя в руки, Антон Никифорович, и живи, как живет вода в этом озере, — носи благо...» — твердил себе доктор все эти дни.

Побывав у Джавада, он опять долго бродил по окрестностям аула, и только сумерки заставили его вернуться. Погода заметно портилась. Ветер со стороны Каспия погнал вверх в Самурскую долину тяжелые облака. Цепляясь своими влажными подолами за вершины гор, они заполнили собой все низовье. И вот уже по камням бойко застучал мелкий дождь. Усталый, мрачный пришел Антон Никифорович домой и заснул. Спал беспокойно. Снилось ему Алван, одиноко идущая по красному от маков весеннему лугу.

Стоит ли говорить, что свадьба Джавада и Алван была справлена не наспех, а как водится у добрых людей, по обычаю дедов и прадедов.

Три дня с первым лучом солнца взлетали к вершинам гор протяжные звуки зурны. Три дня ладно вторил ей неутомимый барабан. Это значит — готовь подарки и деньги, носи новобрачным. В дом жениха. В дом невесты. Так заведено. В двух домах свадьба идет. С утра до ночи не закрываются

двери в доме жениха, с утра до ночи подается плов и у невесты. Веселятся аульчане, а жених и невеста все три дня не видятся. Невесту, родные держат подальше от глаз людских, в отдельной комнате или за занавеской, а жениха могут вовсе в чулан запереть на все три дня.

Но Джавада пожалели...

Квартал, где жили Джавад и Алван, все три дня жужжал, как улей. Соседки Халум и бабушки Майрам принарядились, достали из сундуков новые платья, надели старинные украшения. Дел у каждой было по горло. И сдобные чуреки испечь, и халву сварить, и к невесте сбегать.

Мужчины тоже не отставали. Чуть свет сходились на киме Чархаллай. Вырезали ложки из абрикосового дерева, плели из прутьев огромные корзины — сгодятся в новом хозяйстве, точили ножи и кинжалы для жениха.

Конечно, не обошлось без Гаджимурада. Утром третьего дня на середину кима выскочил жирный барашек с цветастым шелковым платком на шее. Следом за ним на площадь перед мечетью выбежал Гаджимурад. Он подхватил барашка за ноги и громко возгласил:

— Мусульмане, слушайте меня! — Все насторожились, а Гаджимурад повернулся лицом к реке и погладил барана. — Вы все видите этого барашка, посмотрите, какой красивый платок на его жирной шее! В честь свадьбы Джавада с красавицей Алван я объявляю катар — состязание по стрельбе. Кто собьет десять бутылок десятью патронами, тому достанется этот малыш. Кто собьет девять — получит его шелковый платок, джумала джахан свидетель. Теперь смотрите на южный склон Келе-дага. Вы видите на том берегу Ахты-чая бутылки? Ну, кто из вас первый?

Мужчины быстро разошлись по домам за карабинами, и стрельба началась. Как ни бились молодые джигиты, ни баран, ни шелковый платок его никому не доставался. Внезапно к Гаджимураду степенным шагом приблизился старик Севзихан. Лукаво подмигнув неудачникам, он расправил густые седые усы.

— Хочу и я себя испытать, я думаю, твой баран не будет в обиде? — Севзихан пошел и взял ружье.

Раздался выстрел... второй... третий... десятый... Бутылок как не бывало. Довольный Севзихан засмеялся.

— Джумала джахан свидетель, баран теперь твой вместе с платком! Забирай его поскорее, он мне надоел!

Разгоряченный азартной стрельбой, Гаджимурад тащил упирающегося барана к победителю под дружный смех всех обитателей кима. Но вдруг улыбающееся лицо Гаджимурада помрачнело, словно его накрыла туча. Он невольно прижал к себе барана и посмотрел вверх ничего не замечающих мужчин. Тревога Гаджимурада тотчас передалась веселой толпе, и десятки папах медленно повернулись в сторону, куда смотрел кваса.

Рядом с площадкой кима на сытом коне восседал полковник Брусилин. Холодные серые глаза его сверлили каждого, и люди невольно потянули руки к папахам. Один из сопровождающих полковника офицеров оставил седло и, раздвигая толпу, подошел к Гаджимураду.

— Господин полковник требует прекратить стрельбу, — холодно сказал он и удалился так же величественно и небрежно, как и подошел.

Как только офицеры исчезли из виду, Гаджимурад снова повеселел:

— Ну что ж, Севзихан, забирай барана, а мне на свадьбу пора. Я ведь сегодня, джумала джахан свидетель!

Севзихан, веселое настроение которого было непоправимо испорчено, вздохнул.

— Ты думаешь, кваса, зачем я пришел сюда? Я ведь хотел выиграть этого барана в подарок сироте бабушки Майрам. Слава аллаху, хоть это дело нам испортить не успели. Веди барана на свадьбу!

Близился третий вечер, и Гаджимурад подал знак, что пора отправляться за невестой. Собственно, идти было некуда, ведь Джавад и Алван жили рядом. Но Гаджимурад для порядка решил поводить свадебное шествие по узким улицам аула.

— Тронулись!

И в тот же миг грянул барабан и музыканты-зурначи заиграли свадебную. Шумная толпа заполнила улицу. Впереди шли самые близкие друзья Джавада — Абдулжалил, Берали, ашуг Абдулла. За ними следовали молодые мужчины аула, потом разряженные девушки с бубнами и, наконец, женщины. Гаджимурад то и дело подбадривал веселыми возгласами певцов и музыкантов, успевая заботиться и о том, чтобы сельчане не разбрелись, как стадо овец, подгоняемое сердитой плетью чабана.

По его знаку музыка умолкла, и тамада кивнул девушкам. Тогда с новой силой загремели бубны, и над аулом взвилась звонкая песня. Когда песня стихала, бубны все еще звучали под дружное хлопанье сотен ладоней... Так шествие двигалось с полкилометра, пока Гаджимурад снова не подал знак. Теперь очередь была за ашугом. Прижав к груди свой знаменитый чонгур с перламутром, Абдулла взял аккорд, кивнул дудукисту Ярмеду и, глядя на мужчин, торжественно запел свадебную песню.

Потом музыканты грянули пляску. Продолжая путь, мужчины танцевали и пели, приглашая девушек.

Все, кто не принимал участия в самом шествии, смотрели из окон и дверей. Вышел на свой балкон и отвергнутый Панах.

Сердце его жгла старая обида на Гаруса-эффенди.

Не кто другой, а кадий придумал эту проклятую историю с женитьбой на дочери Кариба. Видите ли, ему приснился сон... Не взбреди ему в голову эта затея, разве решился бы Панах на сватовство? Будь она проклята, эта дочь Кариба, теперь позор на всю жизнь... .

Еще издали заметил его Гаджимурад и не мог удержаться, чтобы и здесь не насолить своему недругу. Пошептавшись о чем-то с Абдулжалилом, Гаджимурад хитро улыбнулся, и, когда шествие проходило перед домом Панаха, новая игривая песня огласила аул. Ох, и поддели в этой песне аульчане старого холостяка: и хмельная-то он бочка, и не видать ему девушки, похожей на горную лань, достанется Панаху лишь винная бутылка со свадьбы невесты.... Что и говорить, обидная песня для мужчины, который только что сватался...

Бешенство овладело незадачливым юристом.

— Все это твои проделки! — Он погрозил с балкона Гаджимураду. — Ну, погоди же у меня... — и скрылся за дверью.

Перед домом невесты шествие остановилось. Снова пошли песни и танцы...

Наконец, родня вынесла из дома небогатое приданое — постель, самовар, палас — и подарки. Ничего не пожалели ахтынцы для своей Пери, все тут было приготовлено.

На пороге появилась Алван.

О аллах, как хороша была дочь Кариба в белом новом платье и яркой кашемировой шали своей матери! Связанная узлом на спине, шаль закрывала лицо невесты, но разве скроешь такую красоту?

Навстречу ей шагнул Джавад. Алван доверчиво протянула к нему тонкие руки... Эти минуты были самыми счастливыми в ее неласковой судьбе...

Гаджимурад снова взмахнул рукой, и снова повел всех по узким улочкам квартала, и снова повернул к дому жениха.

Когда Алван и Джавад подошли к порогу, на голову невесты обрушился град муки и сладостей.

— Алван, не забудь наступить на ложку масла перед порогом, — шепнула Халум, протискиваясь к дочери.

Но Алван знала свое дело. Как только деревянная ложка, заранее приготовленная, оказалась возле ее ноги, она ловко раздавила ее. К ложке бросились молоденькие девушки и, собирая капли масла, мазали им виски и волосы.

— О всевышний, пошли мне хоть каплю счастья Алван, — шептали они, застенчиво поглядывая на красавца жениха,

А в сакле молодых встретила старая Майрам.

Она расцеловала Алван, усадила на подушку и дала ей подержать на руках маленького мальчика.

— Дорогая невестка, пусть пошлет тебе аллах семь сыновей и красивую дочку, — торжественно сказала старая Майрам и смахнула счастливую слезу.

Одного дорогого гостя не было на свадьбе — это все заметили. Не было кашки-духтура.

Часть 2

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Они шли вдоль озера Акарского квартала, и приминалась под ногами пыльная, порыжевшая за лето трава. Годы, пролетевшие над аулом резвыми скакунами, будто и не тронули ахтынского квасу, лицо Гаджимурада было по-прежнему круглым, смугло-румяным, а черные усики торчали над пухлыми губами все так же дружелюбно и дерзко. Пожалуй, еле приметная седина в усах да потрепанная синяя черкеска, которую в былые дни Гаджимурад надевал по праздникам, выдавали прожитое.

Рядом с Гаджимурадом шагал мальчик лет десяти, в длинном не по росту новом бешмете, с ясным нежным лицом, какие обычно бывают у детей, особенно любимых родителями.

Они шли молча, время от времени перебрасываясь многозначительными взглядами. Наконец, у развалившейся каменной стены мальчик стал замедлять шаги.

— Здесь, дядя, — сказал он, обводя рукой пространство вокруг себя и одновременно кивая головой то на стену, то на озеро.

Гаджимурад резко обернулся и, привычно почесав затылок, сказал:

— Клянусь аллахом, неплохое местечко ты выбрал, Вадим.

Мальчик виновато опустил голову, потом поднял ее, слегка наклонил набок, словно прислушиваясь к чему-то, и посмотрел Гаджимураду в глаза. Взгляд у него был робкий, виноватый. Рука Гаджимурада тотчас легла на плечи мальчика, потрепала черную смоль волос.

— Ну ничего, ничего, дело это в наших руках. Скажу тебе прямо — будь я на твоём месте, я бы тоже так сделал. А теперь давай присядем, и ты расскажешь мне все с начала до конца, а голова моя будет соображать.

«Неужели он не верит мне!» — с тоской подумал Вадим, но спрашивать ничего не стал, послушно опустился на траву рядом с Гаджимурадом и начал все сначала.

Конечно, Гаджимурад и не думал выводить мальчика на чистую воду. Знай Вадим истинную причину, почему Гаджимурад потребовал рассказывать все сначала, он мог бы чего и приврать. Но сейчас Вадим говорил святую правду, не подозревая, какое наслаждение доставляла красе очередная его проделка.

Гаджимурад живо представил себе все, о чем рассказывал мальчик, и сердце его веселилось. Как ни далеки те дни, когда он сам шагал по утрам в медресе, память цепко держит их при себе... Ничего не изменилось с той поры. Все там же стоит медресе в Ахтах, рядом с кимом Кулиярского квартала. Ничего себе — школа для правоверных! Длинный, скучный сарай, обмазанный наспех серой глиной. Ни пола, ни потолка. Огромные, почерневшие от времени балки над головой. Все тот же стол посередине сарая — длинный и низкий. Все та же скамейка вдоль стола. Только наставник теперь другой — Мирза был помоложе... А старый Фалз зол, как шакал, и в голове у него только деньги. Какое дело Фалзу до бедных детей? Ну зачем ему бить Вадимчика? Мальчик добрый, ласковый — мухи не обидит. Совсем как его мать красавица Алван...

Гаджимурад вздохнул легко и печально. Да, время летит, летит, но как и в юности хороша Алван, ахтынская Пери. Конечно, Вадимчик не сахарный. Глаза - то у него от матери, да в них нет - нет и запрыгают чертики. «У кого это я видел такие глаза?» — опять вздыхает Гаджимурад, слушая Вадима.

И кажется ему, что не Вадим, а сам он, Гаджи, в большом бешмете, подаренном богатыми родственниками, входит в медресе. В руках у него ничего нет — только веник. А минут через пять из окон и дверей повалила пыль... Медресе была еще полна пыли, когда вошел туда мулла Фалз. Можно представить себе, как взбесился этот старый верблюд. Сразу набросился на Вадима...

— Какую я велел тебе выучить молитву? — Вадим, подражая Фалзу, старался говорить низко и хрипло, но голос его сорвался, и он захохотал, а вместе с ним и Гаджимурад.

— Я должен был выучить наизусть молитву «Аменту», почтенный мулла, — писклявым голосом ответил сам себе Вадим и, сложив ладони у подбородка, виновато заглянул в глаза Гаджимураду. — Сколько ни читал я — «Басмаллахи рахими рахмани», ничего не получалось. Тогда я сказал: «Почтенный мулла, я не успел выучить молитву, потому что мама послала меня за дровами... Потом велела мне смотреть за маленькой сестрой, а она, вредная, упала в канаву. Мать избилла меня и выгнала из дома, ночью выгнала!» — в голосе Вадима прозвучало притворное отчаяние, и он развел руками. — Ну, ясное дело, все так и прыснули со смеху, а Фалз еще больше разозлился.

— Клянусь верой, я бы тоже не удержался от смеха, — сказал Гаджимурад. — Есть ли у кого сердце более доброе, чем у твоей матери, Вадим? Это все знают, весь аул. Кто же поверит, что Алван могла избить своего сына?

— Я знаю, дядя, но ничего другого не мог придумать. Я учил эту трудную молитву весь день, но она вылетела из головы, и все тут! Потом он стал кричать на меня: «Как ты смел напылить здесь? Почему не побрызгал водой?» — и замахал руками во все стороны. «На полу было много пыли, мулла!» Но он прикинулся, будто не понимает, что от воды на земляном полу будет грязь. «Если бы ты подметал тихо и легко, разве была бы грязь?» — опять проскрипел голосом Фалза Вадим и сжал кулаки. — Ну, а я сказал ему прямо: «Если бы я подметал тихо и легко, то не успел бы и к вашему приходу пол остался бы грязным». Тогда он сказал: «Иди - ка сюда и получи то, что полагается человеку за такие ответы...»

Вадим замолк, а Гаджимурад увидел вытянувшиеся перед муллой дрожащие детские руки. «Как могли они выдержать десять ударов тяжелой, из орехового дерева, линейки? О, аллах!..» А Вадим даже не охнул. «Джигит, настоящий джигит, весь в меня...» — Нестерпимая жалость к мальчику захлестнула его, Гаджимурад обнял Вадима и почувствовал, как дрожат худенькие плечи. Потом внимательно посмотрел на его руки. До сих пор они были в страшных синих отеках.

— И я поклялся отомстить ему! — тихо сказал Вадим. — Ты же сам учил меня, дядя, не прощать никому обид. Я следил за ним три дня и узнал, что домой он ходит этой дорогой, — вот как мы с тобой шли. А здесь, — Вадим показал на развалившуюся кирпичную стену, возле которой они сидели, — было большое осиное гнездо. Сегодня утром я не пошел в медресе... Не знаю еще, что мама на это скажет? Я спрятался за стеной. Когда Фалзу осталось до стены совсем немного, я разворошил гнездо палкой и убежал вон туда. Влез на дерево и стал ждать...

Гаджимурад расхохотался. «Старый верблюд, пока он догадался, что случилось, осы уже одолели его. Наверно, пытался разогнать их и руками, и ногами, и платком, Да где там! Аллах свидетель, осы в Ахтах подстать самому Фалзу — такие же злые...»

— Он побежал во двор, видите вот эту саклю? А там была собака, он прямо на нее и налетел... Потом я видел, как хозяин дома повел Фалза по улице, Фалз был без чалмы и хромал. В медресе он не пришел...

Вадим посмотрел на Гаджимурада широко раскрытыми глазами и стал похож как две капли воды на Алван.

— Клянусь аллахом, дядя, я не желал ничего такого, я думал — проучу немножечко, но такого несчастья я не желал, правду говорю...

— Вадим, ты поступил как настоящий мужчина! — совсем серьезно сказал Гаджимурад и погладил мальчика по вихрам. — Джумала джахан свидетель, я бы не мог поступить иначе. Считаю, что я тоже ворошил это гнездо, это месть твоя и моя, старый верблюд ее заслужил. Но никому ни слова об этом, сынок, слышишь? Если Фалз отправится в ад, а ему туда прямая дорога, нас сошлют в Сибирь, ты понимаешь?..

Вадим согласно кивнул головой.

— Валлах, пусть отсохнет мой язык, если об этом узнает хоть одна живая душа!

— А теперь пойдем, сынок, всевышний вразумил меня насчет этого дела.

— Дорогой доктор, время не терпит, пошлите Берали в любой аул, лишь бы подальше от нашего, — повелительно проговорил Гаджимурад, входя в дом доктора с Вадимом. — Посмотрите, и вы не станете возражать мне! Вот так учит наших детей почтенный Фалз!

Антон Никифорович внимательно осмотрел отекие пальцы Вадима, ничего не спрашивая. Смазав пальцы йодом, он усадил мальчика на тахту рядом с собой.

— Послушай меня внимательно, дружок... Ты не должен больше ходить в медресе. Будешь ходить в русскую школу.

— А как же арабский? Мне надо дочитать маме сказку о рыбаке Халифе... — тихо сказал Вадим, поглядев на Гаджимурада.

— Ах, да... арабский... — Антон Никифорович задумался... В то лето, когда заложили Джума-мечеть, он убедил Брусилина построить в ауле русскую школу. Средства собрали быстро; обошли всех русских, и сам он внес двадцать пять рублей золотом. На церемонии открытия Антон Никифорович сказал Брусилину с улыбкой:

— Теперь, Борис Александрович, вы увековечили себя здесь. Проходя мимо школы, люди будут вспоминать ваше имя с благодарностью...

Брусилин съездил к губернатору и привез в Ахты молодого, лет двадцати пяти учителя словесности. Тот несколько дней неуверенно бродил по аулу, пристально разглядывая каждого встречного, а вечерами появлялся у Антона Никифоровича, задавая тысячу вопросов. Потом засел в школе. Рвением и пунктуальностью учитель напоминал Антону Никифоровичу его самого лет десяти тому назад. После того как в Ахты прислали еще двух учителей, школа ожила. В нее пришли все дети русских и наследники состоятельных ахтынцев. Мусульмане, которым не приходилось думать о куске хлеба на завтра, отличались дальновидностью: со знаниями, полученными в ахтынской школе, можно было определиться в гимназии Дербента, Тифлиса или Темирхан-шуры. А дети бедных по-прежнему ходили к муллам зубрить одни молитвы. Поденщикам в Баку не требовалась грамота...

— Ах, да... арабский, — снова повторил Антон Никифорович. Очень хотелось ему увидеть в русской школе своего «крестника» Вадима, первенца Алван. В шесть лет он научил его читать по складам, а в семь стал обучать географии и истории. Но затея не удалась. Неожиданно заупрямилась Алван. «Пусть мой сын сначала научится арабскому», — сказала она. Джавад только пожал плечами и с сожалением посмотрел на потрепанную, но все еще роскошную книгу сказок Шахразады. Арабская книга с золотой вязью на кожаном переплете появилась в доме незадолго до смерти бабушки Майрам. Она купила ее у странствующего торговца. Джавад не раз говорил, что книга приворожила Алван. Каждый день Алван перелистывала ее, подолгу разглядывая причудливые орнаменты и таинственную каллиграфическую вязь арабских букв. А сын сидел рядом, прислушиваясь к шелесту страниц... Спорить с Алван было бессмысленно. Она редко желала чего-нибудь, но при этом оставалась непреклонной. Верно, Алван решила, что сын ее сделает то, что было недоступно ей самой. Вадим должен был открыть матери тайну, скрытую в арабской вязи... и пришлось отступить. Мог ли он помешать Алван осуществить заветное желание? Нет. Он даже не посмел сказать, что сказки Шахразады можно прочесть и на русском. Он понимал ее. Он ее любил...

Смышленный мальчик довольно легко преодолевал арабский, но как-то сразу, не по годам повзрослел. Странно изменились его глаза, лучистые, как у Алван, и все чаще бывали они недобрыми. А можно ли остаться добрым, если изо дня в день видишь, что твой учитель, твой наставник зол и предпочитает рукоприкладство? Вот и сейчас Вадим смотрит как затравленный, злой зверек. Зло всегда порождает только зло. Надо вмешаться, пока не поздно. Нет, еще не поздно...

— Я поговорю с твоей матерью, Вадим. Успокойся. Завтра пятница, медресе закрыта. Ступай домой и передай родителям, что я непременно найду.

Уходя, мальчик вопросительно взглянул на Гаджимурада.

— Ничего, ничего, сынок иди. Мы без тебя все уладим, — сказал тот и весело подмигнул Вадиму.
— Положись во всем на меня.

— Я так и не понял, Гаджи, почему я обязан отослать из аула Берали, если Фалз...

— Вот именно — Фалз! — перебивая Антона Никифоровича, загорячился Гаджимурад. — Вы знаете, что натворил наш тихоня Вадимчик? Он приоткрыл старому верблюду ворота в сады аллаха! Да-да, Вадим натравил на Фалза ос, и я не удивлюсь, если Фалз уже собирается в дорогу...

План Гаджимурада был прост: Фалз серьезно болен и пошлет за мусульманином Берали, но если Берали не найдут в Ахтах, то Фалз обратится за помощью к Ефимову. Кому же охота умирать? И тогда мулла будет нем как рыба. Никому ни слова о своей болезни не скажет.

— Вы сами знаете, какой у нас любопытный народ, пойдут пересуды, почему да отчего, да кто лечил, да чем лечили... Узнают, что и Фалз посылал за гяуром. Дело это опасное. Он ведь не простой смертный, как ни крути — избранник аллаха! Нет, Фалз будет молчать, он не так прост. — Гаджимурад замолк, молчал и Антон Никифорович. Невозможно было понять, одобряет ли он Гаджимурада.

— Но вы не ходите к Фалзу, доктор. — Гаджимурад решил наконец сказать самое важное и тихо повторил: — Не ходите. Может аллах призовет его к себе... Хватит ему мучить бедных детей! Только и слышишь от него: из небитого риса плов не получится, у каждого мастера свои инструменты... У всех мулл инструменты известные — слова за розги, так всегда было. Хоть одним меньше станет.

По лицу Антона Никифоровича, внимательно слушавшего Гаджимурада, пробежала тень недовольства.

— Нет, Гаджимурад, ты заблуждаешься. Я непременно пойду к Фалзу, если потребуется. Врач обязан лечить всякого. И если кадий и узнает о моем визите, то не от тебя. Верно?.. А Берали я, пожалуй, отправлю в аул...

Как всегда, мудрый Гаджимурад точно предугадал события. Едва стемнело, один из многочисленных родственников Фалза, конечно, умеющий держать язык за зубами, постучал в дверь. Пошептавшись предварительно с Абдулжалилом, который, конечно, выразил — и тоже шепотом — свое сочувствие почтенному мулле, родственник низко склонился перед Антоном Никифоровичем и, не поднимая взгляда, передал ему покорнейшую просьбу муллы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Визит к мулле был тягостным. Такого неприятного чувства Антон Никифорович не испытывал у постели пациента никогда прежде.

Фалз беспомощно лежал на тахте, накрытый ярко-оранжевым атласным покрывалом. Лицо страшно отекло от множества осиных укусов — щели глаз и рта едва на нем различались. Дышал он тяжело и прерывисто, все время облизывал распухшие губы, — у муллы был жар. Но, глядя на него, Антон Никифорович впервые не ощутил в себе привычного сострадания к больному. Он констатировал, что совершенно равнодушен к мучениям Фалза, и укорил себя за это мысленно... Сделал укол камфоры. Протер кожу нашатырем. Наложил повязки с борной водой. Он делал то, что полагалось, привычно объяснял, сколько раз принимать лекарство, но при этом поминутно в нем закипало раздражение, даже злость, которые он не мог подавить. Его выношенные годами убеждения о всепоглощающей и всепринимающей доброте медика и интеллигента, служащего людям, летели к чертям. Фалз был противен ему и больной. «Врач обязан лечить всякого...» — твердил себе Антон Никифорович. Смысл своей жизни он видел в добрых деяниях и помощи бедным. И здесь, в глуши, где бедности не было ни конца ни края, все отлично сходилось. Он лечил, поучал, спасал от бед, помогал средствами — словом, творил доброе. Он ставил себя выше сословных предрассудков и антипатий — среди его пациентов встречались люди ему неприятные, недобрые, но он смотрел на них со своей профессиональной высоты. А сейчас перед ним лежал его недруг, враг, живое воплощение той тупой жестокости, что губила людей, которых Антон Никифорович любил. Тот, кто мешал ему идти избранной дорогой и творить добро... И он с трудом принуждал себя держаться с ним, как со «всяким», говорить спокойно, наставительно, скрывать неприязнь, да что неприязнь — ненависть! А если бы вокруг него были одни фалзы? Мог бы он лечить их всех и всегда с той же добротой в сердце, которую следовало нести истинному врачу. Нет, не смог бы... Оставил бы врачевание. Значит, он, доктор Ефимов, не только врач, «медик от бога», как он твердил себе постоянно. Он оказался как все: Гаджимурад, Брусилин, тот же Фалз... Не пора ли в сорок лет, наконец, покончить с иллюзиями?..

От муллы Антон Никифорович побрел по улицам наугад, не выбирая дороги. Хотелось побыть одному, подумать, вернуть привычную ясность мыслей, и не удавалось.

Вечерело. Солнце уже коснулось ребристой вершины гор, из аула донесся печальный и требовательный призыв чауша к вечернему намазу. И этот призыв, ставший за многие годы привычным, прозвучал сейчас, как вороний крик. Вечерняя молитва — и христианская, и мусульманская — были придуманы, чтобы приносить утешение, прибавлять сил, вселять надежду. А может ли она изменить завтрашний день тех, для кого прошедший был тягостен?

По долгу службы Антон Никифорович непременно бывал на торжественных молебнах, когда в церкви собирался весь гарнизон. Но в церковного, всеблагого и всемогущего бога он давно не верил — с тех пор, как начал постигать в анатомическом театре тайны человеческого тела и зачитываться, подобно всем студентам своего поколения, Писаревым, Молешоттом, Спенсером. Здесь, в горах, где он провел лучшие свои годы, сошлись два мира — у каждого свои обычаи, своя религия, своя церковь — непохожие и в то же время похожие и вечерними молитвами, и проповедью единения, любви, братства, добрых дел и тем, что, проповедуя все это, благословляли насилие и служили ему. Антон Никифорович попытался как-то заговорить об этом с гарнизонным священником отцом Павлом, но тот лишь испуганно отвел глаза и постарался от Антона Никифоровича избавиться.

И в Порт-Артуре перед каждой атакой полковой священник кропил «святой водой» идущих на смерть неведомо за что. И в Цусимском проливе корабельные священники кропили тоже, а потом стальные дредноуты вычерчивали по небу мачтами с андреевским флагом смертные дуги и ложились на борт — и шли на дно, и гибли тысячи и тысячи людей. Кому это было нужно и почему это благословлялось? Портреты убитых под Ляодуном и Мукденом печатались в журналах, и, вглядываясь в портреты, Антон Никифорович не мог себе ответить, зачем они погибли, за что они погибли. Отмахивался от этих крамольных мыслей, твердил себе, что врач со времен Гиппократы — лицо сугубо штатское и его дело — спасать жизни человеческие, спасать жизнь всякого...

И тут же спрашивал себя: а что бы он, доктор Ефимов, стал делать, если бы ему приказали присутствовать при исполнении смертного приговора? Ведь их, начиная с пятого года, вынесены тысячи! И при казнях у виселицы стоят врач и священник, ибо эта смертная казнь оправдывается именем Спасителя!..

Все слова разошлись со своим смыслом. И чтобы все приняло свой истинный смысл, надо кончать с иллюзиями. Кончать! Кончать!..

На берегу Ахты-чая Антон Никифорович остановился и долго смотрел на освещенный луной полумесяц Джума-мечети, потом стал отыскивать глазами в нагромождении саклей едва различимое жилище Алван.

Давно ли он дал имя первенцу Алван? Вадим — герой его любимой поэмы Лермонтова. Имя напоминало родимый край, годы юности. Десять лет пролетело с тех пор. А пять лет назад появилась сестра Вадима Якут, что значит изумруд. Лезгины любят красивые имена. Дети ходят друг на друга, как две половинки одного яблока, но румяная половинка — это Якут. Он любил детей Алван, как любил бы своих собственных. Тайком посылал Абдулжалила с провизией для них, дарил одежду и обувь, но он не мог делать это для всех, и нищих в ауле не убавлялось. Разве что стало меньше больных. Что-то он не понял, в чем-то ошибся...

...Тропа обогнула кладбище, и доктор присел на низкую ограду из нетесаного грубого камня. Могилы последних лет — как много их. Бедность, бедность — сколько надежд и жизней разбила она... Здесь похоронены люди. Они голодали годами, с рожденья. И он со своим заветом добра ничего не изменил в этом, казалось отрезанном от мира уголке.

А дома доктора ждала гостя. Высокая девушка с пышной пшеничной косой задумчиво ходила по комнате, останавливаясь то у окна, то у стола. Абдулжалил неприметно следил за ней в полуприкрытую дверь.

Ничего не скажешь, хороша стала Катя-ханум, и за что только аллах послал полковнику Брусилину такую дочь? Лицо белое, нежное, глаза большие, как у горянок, только серые, одним словом, не ешь, не пей, только на нее и смотри... Настоящий цветок России. Помнит Абдулжалил, как страдала его душа от этой Катеньки, когда он служил поваром в доме полковника. Капризная, своенравная, она с отвращением отталкивала роскошные кушанья, приготовленные Абдулжалилом... А сколько он вытерпел от самой госпожи?.. Ну, да что прошлое ворошить!

Недавно Катя вернулась из шумного Тифлиса. Она часто проезжала по улицам Ахтов вместе с отцом в открытом фаэтоне, прикрываясь от зноя белым с цветами зонтиком. Но никогда раньше Катя, — ни одна, ни с отцом, — не посещала холостяцкое жилище доктора. Открывая девушке калитку, Абдулжалил был немало удивлен. Но Катя-ханум улыбнулась так приветливо, что доброе сердце Абдулжалила растаяло.

— Вы — Абдулжалил, я знаю. А я — Катя Брусилена. У меня очень заболел зуб...

— Наверное, зуб мудрости? — лукаво улыбнулся Абдулжалил.

— Боже мой! — засмеялась Катя. — Как вы угадали?! Катя нетерпеливо выглянула в окно, за которым в красноватом свете луны громоздились по склону горы узкие и крутые переулки аула, рассеянно оглядела стены гостиной и, заметив над тахтой зеркало, в старинной оправе черного серебра, немедленно подошла к нему. Лицо ее размянилось, глаза блестели.

Что ж, доктор Ефимов ей очень и очень нравился. Он был так не похож на офицеров крепости — грубых, бездушных солдафонов, как она их называла. Многие из них пытались добиться ее расположения, но Катя ненавидела их надоедливые нежные взгляды и лесть. Нет, доктор, слава богу, не похож ни на одного из них. Рассеянный, готовый тотчас же бескорыстно откликнуться на чужую беду, он был чуточку «не от мира сего». Служанка Лейла говорила Кате, что давным-давно доктор был влюблен в какую-то горянку Алван...

История казалась такой романтической, что Катя про себя, мысленно, называла доктора Печориным, и ей мерещилась в нем гордая неприступность не понятого никем человека, которого может вернуть в свет лишь женское сочувствие и ласка.

В гостиной Катя пристально вглядывалась в развешанные на стенах фотографии, надеясь увидеть на какой-нибудь из них тайную любовь доктора. Но там ничего такого не было. Вот доктор снят среди рослых и загорелых чабанов в черных бурках и высоких бараньих папахах с неизменными посохами в руках. Вот он стоит у стены сакли с какой-то старухой, а здесь среди офицеров крепости на каком-то пикнике.

— Что же ты, милый мой, такую дорогую гостью в темноте держишь? А? Жаль тебе лампу зажечь? Ну, братец ты мой...

Доктор был смущен и, отойдя к вешалке, с какой-то странной медлительностью повесил фуражку. Абдулжалил, все так же улыбаясь, поспешно внес большую лампу, и в ее свете румяное лицо Кати показалось доктору особенно юным и нежным.

— Вы одна, Катюша? — спросил Ефимов. — Что-нибудь случилось?

— А почему я не могу прийти одна? — с вызовом усмехнулась Катя. — Я знаю дорогу к вашему дому. Чего же мне бояться здесь? Вас ждут у нас, Антон Никифорович. Нет, нет, никаких отговорок!

Через несколько минут Катя и Антон Никифорович шли по сонным притихшим улочкам.

— Право, Антон Никифорович, я до сих пор не могу не удивляться, как я осталась жива, — говорила Катя, лукаво поглядывая на доктора. — Вчера утром я пошла на прогулку в своей новой шляпке с цветами. В ней нет ничего особенного, она скромная, миленькая такая и удобно закрывает лицо от солнца, а вся красота ее в перьях и цветах... До сих пор не могу понять, как я забрела в самую гущу народа... На меня смотрели во все глаза, словно я свалилась с неба. Конечно, я поняла, что все это моя шляпа. Папа предупреждал меня: не носи здесь эту шляпу, народ здесь дикий. И точно. Едва я свернула за угол, чтобы пройти к крепости, как увидела ослика и рядом с ним человека. Он уставился на меня, вернее на мою шляпу, точно перед ним было привидение, в ужасе замахал руками, вскочил на осла, ударил его, и они пронеслись мимо с диким визгом. Я упала и больше ничего не помню... А потом выяснилось, что это был Гаджимурад. Вы его знаете? Он пришел извиняться и долго объяснял мне и папе, что ему привиделась гурия с цветущим садом на голове. Конечно, я простила ему... Ну как здесь жить? — вздохнула она. — Куда деться от скуки, если даже шляпку следует выбирать в соответствии с нравами жителей? Нет, нет, мне здесь просто невыносимо...

Антон Никифорович молчал, и Катя заговорила горячо, с упреком:

— Антон Никифорович, почему вы забыли нас? Сколько дней вы у нас не были? А я посчитала. Вы не приходили к нам семь дней. И когда мы с папой встретили вас на улице, вы сказали, что не можете пойти с нами, что вам необходимо спешить к какому-то больному горцу. Да разве вы не понимаете, что мне это обидно? Не понимаете?..

— Катенька! Но я...

— Кашка-духтур? — с болью усмехнулась Катя, останавливаясь. — Вы уж скажите прямо, что я вам безразлична... Это будет честнее! Мне так скучно здесь! Раньше, когда я училась в пансионе и приезжала только на каникулы, мне все здесь казалось романтическим. А теперь страшно подумать, что можно прожить здесь всю жизнь. Я так одинока, Антон Никифорович...

— Но у вас же кругом столько друзей: офицеры, их жены, их дочери...

— Ах, все это неумные, недалекие люди, поверьте!

Мне надоели их остроты, Их разговоры. Вы один здесь единственно порядочный и интересный человек... Я тоже больна, кашка-духтур! А вы... вы не замечаете...

— Мне тоже опостылило одиночество, милая Катюша, — грустно сказал Антон Никифорович. — Так хочется, чтобы рядом был самый близкий, самый родной...

У ворот дуван-ханы Катя порывисто повернулась к Антону Никифоровичу, хотела было что-то сказать, но лишь пытливо поглядела в его глаза.

Дуван-хану охранял высокий широкоплечий казак в папахе, черкеске, с винтовкой на плече. Узнав Ефимова и дочь полковника Брусилина, он перехватил винтовку левой рукой и отдал честь.

— Доброго здоровья, ваше благородие!

— Здорово, брат.

— Давненько не изволили бывать здесь. Говорят, все дикарей лечите?

— А они такие же дикари, Пахомов, как твои земляки с Кубани, только что говорят на другом языке.

— А бог?! — изумленно воскликнул Пахомов. — Они же бога нашего не признают вовсе! Ваше благородие, да как же можно равнять, скажем, меня и их?..

— Они люди, солдат, люди. Как и ты человек... Что молчишь?

— Так точно, ваше благородие! — весело и ошеломленно ответил казак, вскидывая к папахе руку.

Когда они перешагнули порог дома, в столовой звучно и громко били часы. Ефимов насчитал девять ударов. Встретил его сам полковник.

— Батеньки! Антон Никифорович! Наконец-то соизволили пожаловать! А мне так надобно говорить с вами! Катюша, как же ты застала нашего дорогого эскулапа дома?

Девушка, смеясь, убежала в глубь дома, в свою комнату.

Брусилин с тревогой смотрел ей вслед. «Когда, наконец, этот маленький взбалмошный человечек повзрослеет? — подумал он. — А может быть, она никогда и не станет взрослой? Зачем это женщине?»

Он взял доктора под руку, провел его в гостиную, где еще никого не было, и усадил рядом с собой на диван.

— Простите меня, отца... Право, сейчас мне начинает казаться, что я не сумел как следует вырастить Катю, она теперь стала такая странная и нервная... То капризничает, то прыгает, как коза, то забьется в темный угол и лежит весь день. Как вы полагаете, это связано с ее возрастом? Ведь вы не только терапевт и хирург, но, как и каждый врач, немного психолог? Уж не влюблена ли она?

Теперь Ефимов лишь пожал плечами.

— Вы хотели говорить со мной, Борис Александрович?

Лицо Брусилина сразу стало суровым и напряженным, глубокие складки легли на лбу.

— Вы знаете, как я ценю вас, Антон Никифорович. Ради вас, ради вашего будущего я хочу вас предостеречь. У вас чин, у вас святой Станислав... Не теряйте достоинство русского человека. Не растворяйтесь в чужой среде. Мне хотелось бы видеть вас среди людей нашего круга. Я искренне желаю, чтоб вы стали другом нашей семьи...

— Вы о ком говорите? Об иноверцах?

— Не совсем. Как и везде, среди иноверцев есть, как говорили поэты, и чернь и знать. Чернь всегда нужно держать в уезде, особенно теперь, когда многим кажется, что власть государя поколеблена. Крамола ширится, мне докладывали, что анекдоты о его величестве рассказываются в чайхане вашего любимца Гаджимурада! — Помедлив, он добавил: — И у меня в крепости случаются неприятные факты...

— Возможно... Как говорится, на чужой роток не накинешь платок. Но я не интересуюсь политикой, Борис Александрович. Я-то здесь при чем?

— А при том, дорогой Антон Никифорович, что ваши, так сказать, симпатии... вы, так сказать, фрондируете, раздражаете местную знать, пренебрегаете их обществом, в то время как...

— Но ведь вы-то, Борис Александрович, тоже не любите эту самую местную знать!

— Не в этом дело, я не о чувствах толкую. Верно, я принимаю у себя кадия Гаруса, который мне неприятен. Но это влиятельные люди, мы должны с ними считаться. Мы можем опираться только

на них... И вы обязаны быть на страже наших интересов. А вы становитесь, вольно или невольно — не знаю, на сторону черни. В вашем доме бывают лица подозрительные, я тревожусь за вас.

— Неужели вам кажется предосудительной помощь и поддержка самых слабых и самых бедных людей, Борис Александрович? Разве не тому учит евангелие, разве наш отец Павел не о том же говорит в своих воскресных проповедях? Богач может поехать в Баку или Тифлис, наконец, он может и мне предложить за визит, а что может бедный?

— Не то, не то, батенька, — сердито покачал головой Брусилин. — Вы прекрасно знаете, о чем я говорю.

Доктор пристально посмотрел на Брусилина.

— Ну хорошо, давайте говорить начистоту, Борис Александрович! Я убежден, что этот дикий, как вы говорите, край нельзя покорить силой оружия. Ведь разговор идет не только о земле, а прежде всего о людях! Да? Так вот: орудия и солдаты только восстанавливают их против нас. Они горды и свободолюбивы. Не забывают зла, но всю жизнь помнят оказанную им помощь, сделанное им добро. Врагам своим они всегда будут мстить, и мстить жестоко, поверьте мне. Зачем же нам поступать так, чтобы народ — именно народ, я имею в виду все население, — считал нас, русских, своими врагами? Разве в этом ключ политики? Вы хотели откровенного разговора, Борис Александрович...

Брусилин устало покачал головой, достал портсигар и неторопливо закурил.

— М-да-с...

Наступила пауза. Антону Никифоровичу показалось, что Брусилин почувствовал его правоту и задумался, но тот кашлянул, пожевал губами и произнес:

— Что ж, спорить нам не пристало. У каждого своя точка зрения. Об одном лишь настоятельно прошу, — в голосе его была необычная сухость и твердость, — коли вы не желаете вникать в государственную политику, то и не вмешивайтесь в нее, так же, как я не вмешиваюсь в вашу медицину. Заболев, я обещаю слушаться ваших врачебных советов, а вы извольте не пренебрегать моими, когда дело касается поддержания государственного порядка. За него здесь отвечаю я!

На этом разговор оборвался: в передней шумели и смеялись припоздавшие гости. Через несколько минут все перешли в столовую, и началась вечеринка, которые устраивались вот так почти ежедневно.

Антон Никифорович сидел за столом грустный и печальный, Катя под села к нему.

— Вы опять, Антон Никифорович? Неужели всю жизнь вы будете такой задумчивый?

За столом было весело и шумно, уже раскраснелись от выпитого вина лица, уже кто-то смеялся во весь голос, а молоденький прапорщик, любитель танцев и скабресных анекдотов, присаживался к роялю.

— Просто, Катенька, я вспомнил нечто печальное... Хотите, расскажу?

— Ради бога! Не надо ничего грустного, дорогой Антон Никифорович... Ну, хотя бы сегодня не надо, прошу вас. Пойдемте танцевать!..

Поздно ночью, возвращаясь к себе, Антон Никифорович думал о Кате, вспоминал ее взгляды, то обиженные, то лукавые, ее смех, ее милое старание развеселить его... Неожиданно вспыхнувшее чувство Кати к нему волновало, именно сегодня понял он, как одинок. Но мыслям его о будущем, где могла быть Катя, что-то мешало. Казалось, сегодня ему и поставили условие, предъявили цену, которой он должен платить за приближение к семье полковника.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Антон Никифорович обнял Гаджимурада. — Какие новости в Баку, друг? Ты ведь там был? Ну, что творится на белом свете?..

— Все расскажу, доктор, все расскажу, но сначала — самое главное. В Баку я видел нашего земляка Казимагомед. Это такой сокол, доктор! Высоко летает. «Гаджимурад, — сказал он, — ты молодец, ты и твоя чайхана так нужны рабочим и бедным». А вам, кашка-духтур они передали поклон.

— Вот как?! — удивился Антон Никифорович. — А что, разве они меня знают?

— Бакинцы все о вас знают. «Это наш человек, ему можно довериться», — вот как они сказали мне. А это вам...

Гаджимурад вынул из кожаного кисета, который был пришит у него под мышкой, вчетверо сложенный конверт.

— Любопытно, — сказал Антон Никифорович, нетерпеливо разрывая письмо.

«Мы — лезгины и весь трудовой народ Баку шлем вам, уважаемый кашка-духтур, горячий салам. Ваше сердце, полное любви к бедным людям, ваша забота о них восхищают нас. Примите и вы нашу любовь. Желаем вам, дорогой доктор, добра и долгих лет жизни. Ваши друзья Казимагомед Агасиев и Мухтадир Айдыбеков».

— Я тронут, Гаджи, искренне тронут, — проговорил Антон Никифорович, — спасибо твоим приятелям на добром слове.

Прохаживаясь из угла в угол, Гаджимурад рассказывал, как все подорожало в Баку, и сокрушался, что не смог купить и половины обещанного своим близким. На промыслах, понятно, побывал Гаджимурад. Совсем плохо стало на промыслах. Говорят, еще одни хозяева пожаловали, чужеземцы — французы, англичане какие-то. А бедные земляки его перебиваются с гроша на копейку, ничего не могут послать своим в аулы.

— Пропадают они, доктор, пропадают! А куда еще подашься, где работу найдешь? Везде народу полно, плюнуть некуда. Рабочие руки ничего не стоят! — говорил он и вдруг подошел к Антону Никифоровичу, сидевшему на тахте.

— Тут такое дело у нас, Антон Никифорович... — Гаджимурад заметно волновался. — В беде человек один... В большой беде. Земляк наш Казимагомед очень просит вас, доктор, помочь человеку. И я прошу...

— Право, Гаджимурад, я удивлен, — улыбнулся Антон Никифорович, — в жизни своей ни разу не отказывал я больному.

— Этот человек здоров, доктор, — тихо сказал Гаджимурад. — Он служит в нашей крепости. Если он останется здесь, беды не миновать. Не спрашивайте меня ни о чем, доктор, поверьте на слово, он не убил, не украл. Он честный человек. Только вы и можете помочь ему уйти со службы.

«Уйти со службы?!» — мысленно повторил Антон Никифорович и понял теперь, почему был так взволнован Гаджимурад. Просьба незнакомых бакинцев оказалась отнюдь не той, которые Антон Никифорович всегда охотно исполнял. К Брусилину тут не обратишься. Все надо самому. И найти причину. И обойти... да что обойти — нарушить закон, который так ревностно охраняет полковник.

«Крамола ширится. И у меня в крепости случаются неприятные факты...» — так, кажется, говорил Брусилин.

Гаджимурад прошелся по комнате, сел за круглый стол и выжидательно посмотрел на доктора. Лицо Гаджимурада было спокойно.

«Понимает ли он, о каком трудном деле просит»? Антон Никифорович никогда не кривил душой, а здесь нужно было лгать. Нужно было солгать при медицинском освидетельствовании. В присутствии коллег. Так сказать, при всем честном народе. А во имя чего? Во имя чего рисковать добрым именем, местом, благополучием? Во имя исполнения просьбы неведомого Казимагомеда? Но какой-то человек был в опасности, если о нем просили.

«Он не убил, не украл, он честный человек», — говорит Гаджимурад.

Значит, этот человек должен укрыться от властей по вполне понятным ныне причинам. И друзья его, люди, которые прислали привет, вероятно, тоже скрывались от властей. Они просили, чтобы кашка-духтур Антон Никифорович спас их товарищу жизнь. И Гаджимурад просил. Начни объяснять Гаджимураду, что это выше твоих возможностей, — и сразу лопнет нить, которая была меж ними. А за нею начнут рваться нити между ним и теми людьми, ради которых и жил здесь кашка-духтур.

«Только вы и можете помочь...» — говорит Гаджимурад.

И значит, чтобы остаться самим собой, Антоном Никифоровичем Ефимовым, надо будет лгать коллегам и идти при этом на риск. Может быть, люди, которым приходится скрываться от властей, и утверждают, наконец, разумную справедливость на земле...

— Кто этот человек, Гаджимурад?

— Иван Кудряшов, унтер из второго взвода.

Иван Кудряшов... Что мог он совершить здесь, в нашей глухомани, где ничего не скроешь от всевидящего ока Брусилина? Гаджимурад молчит, а спрашивать невозможно. В таких случаях не принято задавать вопросы. А если дело сорвется? Нет, надо верить в удачу. Если и есть о чем думать, то лишь о том, как все получше сделать. Завтра суббота...

— В воскресенье, после заутрени я буду на берегу Самура недалеко от старой часовни...

Воскресным утром, как только звон церковного колокола проплыл по реке и эхом отозвался в горах, Антон Никифорович немало удивил Абдулжалила. Он попросил немедленно принести ему рыболовные снасти и накопать червей. Семь потов сошло с Абдулжалила, пока он разыскивал в подвале среди прочего хлама связку коротких удочек, валявшихся без дела года три.

— О аллах, неужели это гиблое дело опять прилипло к нему? Теперь будет пропадать на берегу каждое воскресенье, — ворчал он.

Прямо по лугу, раскинувшемуся перед крепостью, Антон Никифорович отправился на берег Самура, оставил в прибрежных кустах снасти и через главный вход вошел в крепость.

В церкви он пробыл недолго. Для виду раза два перекрестился и осторожно, чтобы не обратить на себя внимание молившихся офицеров и солдат, стал пробираться к выходу.

И тотчас увидел Брусилина, который в окружении офицеров неторопливо прохаживался по чисто выметенному двору. Встретаться с полковником сейчас было совсем некстати. Быстро свернув за угол церкви, он нырнул в проем крепостной стены и очутился на одной из высоких ее башен. Здесь стояли пушки. Жерла двух больших и одной маленькой были направлены на аул. Он был виден отсюда как на ладони.

А на реке дышалось легко. Над старой часовней вились голуби, их было видимо-невидимо. По берегу сновали стайки куропаток, отыскивая пищу. С гор хлынул ветерок, и голуби, обогнув часовню, понеслись к хмурым скалам, висевшим над гудящим мутным потоком.

Обдумывая свое дело, Антон Никифорович ловко наживлял червя на крючок, забрасывал наживу в бурлящую воду и, укрепив удочку меж камней, брался за следующую. Так он расставил по берегу штук десять удочек, отошел в тень крутого берега и сел на плоский камень. Грохот реки поглощал все звуки, и поэтому Антон Никифорович внимательно смотрел прямо перед собой.

Когда на прибрежную гальку легла еще одна тень, он поднялся. Наверху стоял молодой сероглазый унтер.

— Здравия желаю, господин доктор! Разрешите подойти?

— Садитесь, Кудряшов. Поговорим...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кто побывал в горах на празднике цветов хоть один раз — не забудет веселого звука зурны и блеска глаз юных горянок. Девичий смех, звон монет на их ярких платьях — шелковых, атласных, парчовых, ситцевых, — то жадные, то робкие взгляды парней, долгожданные встречи влюбленных — аллах свидетель, нет ничего прекраснее на свете! Здесь выбирали подруг на всю жизнь, здесь ссорились навсегда, здесь состязались в танцах, удали и пении, здесь каждый был как на ладони...

Праздник начался еще накануне вечером. В каждом квартале аула был избран «шах» — душа праздника, заводила. Не легко добиться чести стать шахом в своем квартале, но еще труднее с достоинством удержаться на престоле и не прогневить своих добровольных подданных. Мало того, что шах обязан и верховодить, и шутить, и танцевать, и петь лучше всех. Он головой отвечает за честь своего квартала, который, ясное дело, обязательно соперничает с соседним. От соседей жди любого подвоха, того и гляди обставят в два счета, выдумают что-нибудь такое... нет, тяжела ноша, тяжела! Шаху нужна и смекалка и выдумка, шаху нужна и решительность и изворотливость, тут не зевай.

Кулиярский квартал, где жил Антон Никифорович, вот уже два года подряд избирал шахом славного молодца Бубу. Красота, сила, удаль — все при нем. Язык как острый кинжал. С легкой руки шаха Бубы Кулиярский квартал славился песнями и выдумкой на весь аул. Между тем в соседнем Петлюярском квартале объявился новоиспеченный шах, достойный соперник Бубы.

Гюлемет, большеглазый и стройный, красив, как тополь в цвету. Лицо его юно и мужественно; пожалуй, о нем и сказано: нежнее цветка да крепче камня. Тонкую, как лоза, фигуру Гюлемета облегает белая щегольская черкеска с газырями из слоновой кости, на голове белоснежная папаха с верхушкой алого бархата, на котором по всем правилам моды перекрещиваются две белые полоски. Легкие и мягкие сапожки из красной кожи, кинжал с резной рукояткой, тоже из слоновой кости, серебряный ремень — все это очень идет Гюлемету, и он, чувствуя свою красоту и подражая сказочным шахам, держится величаво и чуточку надменно. И как совсем уж истинный шах, Гюлемет честолюбив и падок на лесть и похвалу. Не приведи аллах кому-нибудь задеть его словом — не сдобровать тому, высмеет, как мальчишку...

Кто же сегодня окажется первым?

С заходом солнца на зеленой лужайке, меж развесистых черешен, тутовников и яблонь по велению шаха Бубы были расстелены ковры и паласы. К вечеру в неярком свете газового фонаря их замысловатые узоры и краски кажутся сказочными.

Зурначи, без которых не может начаться ни одно празднество, еще не явились, но все вокруг ждет их и гудит, как улей... Деревья и стены сада облепили аульчани. Юные горянки, с синими и красными платками на ладных, тщательно убранных головках, с детским восторгом в глазах сбиваются стайками и весело тараторят о пустяках, время от времени прорезая слитный гул

беззаботным смехом. У стены, отделяющей сад от улицы, толпятся парни. Переговариваясь, они поглядывают на девушек: у каждого есть своя избранница, и сегодня выдался редкий случай повидать ее хоть издали.

В сторонке от ковров, под тутовником сидят почетные гости. Доктор Антон Никифорович со своим верным Абдулжалилом и своей тенью — фельдшером Берали, ашуг Абдулла, непревзойденный певец аула, Гаджимурад, без которого не обходится ни один праздник. И, конечно, юрист Панах. Разве он пропустит такое? Все они оживленно говорят, вспоминая былые веселые праздники и свадьбы в Ахтах, которые за далью дней кажутся им неповторимыми...

Наконец, в саду появляются зурначи — и все мигом смолкает. А через несколько мгновений под звуки походного марша в сад торжественно входит шах Буба. С ним его визири и нукеры. Буба с достоинством оглядывает своих подданных, ступает на самый красивый ковер и садится на мягкую подушку с узорчатым ковровым верхом. Справа и слева от шаха располагаются визири, а сзади, обнажив сверкающие мечи, застывают нукеры.

«Жаль, право, что Катя не видит всей этой красоты, — думает Антон Никифорович, досадуя в душе на госпожу Брусилину, которая не пожелала отпустить свою дочь «на ночь глядя». — Непременно явлюсь за ней часов в шесть утра, как уговорились. Лейла ее разбудит. Была бы Катя здесь, мне легче было бы объяснить ей, почему я так привязан к этим простым людям. Какая завидная любовь к жизни и друг к другу живет в каждом из них. Они умеют веселиться так же самозабвенно, как и работать...»

А шах Буба величаво поднимается с подушки и открывает танцы. Первым танцует он сам. На нем новая темно-вишневая черкеска, красные сапоги и красная феска с бахромой. На плечах сверкают погоны, расшитые золотой ниткой, а грудь украшает широкая шелковая лента, положенная наискось.

Вслед за шахом на ковре появляются парни — один, второй, третий, — и кажется весь сад кружится и мчится в бешеном танце, который, по утверждению мудрых стариков, обновляет кровь... Но в самый разгар танца рука шаха Бубы неожиданно поднимается и повелительным жестом останавливает музыкантов.

В калитке сада появляется красавец Гюлемет в своей роскошной белой черкеске, в сопровождении свиты и почитателей. Гюлемет надменно оглядывает подданных шаха Бубы, презрительно подергивает черными усиками и, не роняя достоинства, приближается к «престолу» Бубы.

— О великий шах Буба, ты приглашал меня?

Буба поднимается, еле заметным кивком приветствует Гюлемета.

— Да, я звал тебя, о светлое солнце, шах Гюлемет, окажи мне честь, будь моим гостем!

Подданные замерли, можно подумать, что сейчас им покажут восьмое чудо света. И правда, происходит нечто неожиданное.

Шах Гюлемет, перебирая смеющимися глазами почетных гостей, вонзает свой взгляд в Гаджимурада и говорит скорбным тоном:

— О светлейший шах, могу ли я воспользоваться твоим гостеприимством, если в твоём дворце я вижу рожу самого дьявола?

Шах Буба весело смеется, стараясь понять, чем не угодил Гаджимурад красавцу Гюлемету. Неужели он боится, что кваса, защищая честь Кулиярского квартала, выкинет что-нибудь и осрамит его? Смешно, но это так. Ясное дело, Гюлемет боится длинного языка ахтынского квасы, не один шах от него натерпелся. Гаджимурад давал поблажку только своему, Кулиярскому, шаху,

а другим с ним не совладать. Разве напасешься на квасу шуток-прибауток, у него они вылетают, как пчелы из улья, — одна злей другой. Поэтому так настойчив шах Гюлемет.

— Если ты, о светлейший шах Буба, не прогонишь этого дьявола, я обижусь на тебя и уйду.

— Гаджимурад, — говорит шах Буба с мягкой улыбкой, — придется тебе подчиниться его величеству шаху и покинуть мой дворец!..

— Слушаюсь и повинуюсь, о светлейший.

Гаджимурад со вздохом направляется к выходу. По мере приближения к Гюлемету лицо его морщится и впрямь становится похожим на рожу самого дьявола.

— Ну погоди, я проучу тебя, выскочка, — беззлобно шепчет Гаджимурад.

Никто его не слышит. Все смотрят на шаха Бубу — когда же он подаст знак зурначам? Где еще, как не в танце, можно шепнуть словечко любимой и коснуться тонкого стана? Но нет, шах Буба неумолим и своенравен. Он повелел петь, и девушки Кулиярского квартала, разделившись поровну, охотно выполняют прихоть своего властителя. Песни слагаются тут же, на ходу, одна группа запекает куплет, другая подхватывает, давая волю выдумке и воображению...

Наступает ночь, звездная, душная. Юрист Панах, оглядев поющих девушек, решает, что среди них нет достойной его, поднимается со своего почетного места и уходит в темноту сада. Словно услышав вздохи его усталого сердца, из зарослей к Панаху тянутся горячие руки, незнакомка прижимается к нему и шепчет:

— Молчи!

Лицо ее и фигура скрыты под шалью. Она целует растерявшегося Панаха и тащит через щель в ограде в какой-то темный двор.

— Молчи, молчи, мой красавец, не бойся меня, мы скоро вернемся... Позволь молодой вдове побыть с тобой хоть один час, я так давно мечтаю о тебе, — слышится ее задыхающийся шепот. Движения незнакомки полны такой опьяняющей женственности, что сердце Панаха сладостно замирает.

По лестнице, приставленной к стене какого-то дома близ ограды, они взбираются на крышу. Панах обнимает незнакомку, но она ловко высвобождается из объятий.

— Не торопись... сейчас я принесу коврик... Подожди меня здесь...

И тотчас раздается треск, лестница падает на землю, а вдовушка исчезает за оградой. Подойдя к лужайке, откуда несется пение девушек, она рукой манит к себе паренька и шепчет ему на ухо:

— Дорогой сынок, сделай милость, позови сюда на минутку шаха Гюлемета, я не смею подойти к нему сама, — и закрывает лицо руками.

А через минуту, схватив Гюлемета за руку, она тянет и его в глубину сада... В самом темном месте вдовушка падает на колени и шепчет, задыхаясь:

— Когда я вижу тебя, о светлый шах Гюлемет, о господин мой, я таю, как воск в пламени, — вдовушка вскакивает и страстно прижимается к Гюлемету. — Завтра ночью я буду ждать на дороге в баню, а сейчас иди, иди, любимый, а то тебя хватятся...

— Пусть будет так, как ты желаешь, красавица, — шепчет Гюлемет, окрыленный неожиданной удачей, и голос его срывается от волнения, руки тянутся к темной шали, но вдовушка исчезает во

тьме. А счастливец с пылающими щеками возвращается на лужайку и бросается в самую середину танцующих...

О аллах, что за глупый смех? Неужели смеются над ним? Гюлемет оглядывает себя и видит на своей белоснежной черкеске следы четырех черных лап. Белая папаха тоже измазана чем-то черным и похожа на кошку, вылезшую из печной трубы. Шах свирепеет и хватается за кинжал, но тут же вспоминает незнакомку, страстно обнимавшую его в темноте. Прижимая к груди папаху, опозоренный Гюлемет быстро удаляется, а за ним и его верноподданные.

Из сада доносятся шорох птичьих крыльев и писк голодных птенцов, в буйной листве шарахаются совы и летучие мыши, пугаясь предрассветной синевы неба. Сладка, да коротка праздничная ночь.

Вот уже на середину лужайки выходит ашуг Абдулла. Густые, сросшиеся брови, черные длинные усы, орлиный взгляд — Абдулла, кажется, высечен из глыбы. Нет на свете удивительнее ашуга. Сколько сказок и преданий он знает? А как рассказывает!

— Послушайте, молодые люди, предание об Аслане и Эмине, имена их еще помнят ваши родители. Они родились здесь, вот на этой самой земле. Говорят, что они были большими врагами. Сколько ни старались аульчане примирить их, ничего не получалось. Несколько лет они преследовали друг друга, каждый хотел отправить другого на тот свет. Эмин, подобно раненому тигру, искал Аслана и в горах, и в долинах, а Аслан — Эмина. Но умные люди, оберегающие покой аула, указывали им не тот путь, по которому шел враг. Но не все, не все были такими. Иные дьяволы разорения и смерти стремились свести вместе этих двух несчастных. В один из коротких зимних дней один плохой человек узнал точно день и час, когда Эмин должен был пройти заваленный снегом Салаватский перевал. Аслан схватил свой карабин, вскочил в седло и помчался вслед за врагом. Но Эмин, решив переждать непогоду, остался ночевать в одном ауле, что лежал на его пути.

Думая, что в этом ауле никто не знает о его кровнике, Аслан подъехал вечером к одному старику, сидевшему на окраине аула в длинной овчинной шубе, и спросил:

— Отец, сегодня через ваш аул к Салаватскому перевалу не проехал, ли вооруженный всадник с красным лицом и с длинными усами?

Не догадался Аслан, что старик и сидел здесь для того, чтобы предотвратить несчастье, подготовленное самим дьяволом. Его упротил Эмин сделать это. Говорят, старик ответил:

— Дорогой сынок, как раз такой человек, которого ты ищешь, недавно проехал мимо верхом и направился в сторону Салаватского перевала. Он то и дело оборачивался и всматривался вдаль. Мы этого человека долго упрашивали остаться в гостях, но он сам ответил: «Очень тороплюсь, братья, мать при смерти...» Ты, наверное, скоро нагонишь его... А все же лучше, если ты останешься и переночуешь в нашем ауле, останься до утра, сынок... Снега в горах много.

— «Нет, нет, спасибо! Умирающая и мне приходится родственницей...» — ответил Аслан, ослепленный жаждой мести, и погнал лошадь в сторону Салаватского перевала. Метель хлестала его по лицу, но он не замечал ничего. Злоба кипела в его сердце, и он шептал ветру: «Теперь уже скоро, вот за тем утесом увижу его и выпущу в него весь заряд...» В то время, когда Эмин спокойно спал в ауле, Аслан стал пленником высоких снежных гор. Всю ночь пробыл вместе с лошадью в снежной лавине. Утром, уставший и измученный, еле выбрался вместе с несчастным животным наверх, но вскоре опять провалился на самое дно ущелья. К счастью, склоны были не очень круты. Снежная лавина, падая вместе с ними вниз, дробилась на мелкие кусочки, подобно сухому песку. Дрожала лошадь, Аслан тоже прощался с жизнью. Голова его тяжелела от тысячи дум, он с надеждой оглядывался по сторонам, но долина вся была безлюдна и забита снегом, словно громадный мешок, полный ваты. «Вот здесь и настигнет меня смерть, дети мои останутся сиротами...» — думал Аслан, но в этот самый момент над ущельем показался Эмин, направлявшийся в Хнов. Он тотчас узнал бурку и винтовку Аслана, которые лежали на краю ущелья. Взглянув вниз, он увидел и самого Аслана, по грудь сидевшего в снегу.

Эмин сошел с лошади, дулом воткнул в землю карабин и привязал к нему своего коня. Снял с себя бурку и кинжал, с помощью веревки, сплетенной из волос, спустился в ущелье. Над своей головой безоружный Аслан увидел кровника и закрыл глаза в ожидании последнего часа.

— Мир тебе, Аслан! — закричал Эмин, спустившись в ущелье.

— Ладно, кончай поскорей! Я теперь в твоих руках. Над человеком, попавшим в беду, смеяться грех...

— Сначала я помогу тебе выйти из беды, — отвечал Эмин, — потом уж, пожалуйста, — кто кого, продолжай свою вражду...

Открыв глаза, Аслан увидел, что Эмин разгребал большой сугроб, он хотел облегчить себе путь к нему.

— Иди, Аслан, принеси наши бурки, что лежат на дороге. Из них мы сделаем тропинку для лошади. На, бери веревку и поднимайся...

Аслан вмиг поднялся на дорогу, где лежали их заряженные карабины. Здесь же лежал и кинжал, брошенный Эмином.

Голова Аслана кругом пошла от черных мыслей. «Жалость, принятая от врага, хуже смерти. Чего ждешь, несчастный, когда враг сам попался тебе в лапы? Убей его!..»

Не легче было и Эмину, который остался на дне ущелья. «Что ждет меня?» — думал он.

Но Аслан даже не подошел к оружию. Лишь последний негодяй может поднять руку на спасителя. Аслан взял бурки и спустился обратно в ущелье. Эмин и Аслан устраивали на снегу небольшие площадки, застилали их бурками и подымали на них лошадь. Постепенно из таких площадок они соорудили лестницу и вытащили лошадь на дорогу. Долго молча смотрели они друг на друга, потом раскрыли свои руки, как орлы крылья, и крепко обнялись, прижав друг друга к груди. Наконец, Аслан промолвил:

— Ты победил меня, Эмин!.. Ты настоящий джигит! Если я посмею поднять на тебя руку, пусть она отсохнет... Если мои глаза на тебя посмотрят косо, пусть они ослепнут!..

Эмин тихо рассмеялся и сказал ему:

— Когда я увидел тебя в беде, я понял, что человек и создан для того, чтобы помогать другому человеку!.. Если люди и в беде будут продолжать бесполезную вражду, они все станут добычей хищников...

Он взял своего коня под уздцы и прошел вперед по тропе, не оглядываясь назад.

Помогая друг другу, Аслан и Эмин вернулись в родной аул. Аульчане, увидевшие их вместе, не знали, что и думать, пока не поняли: в дружбе сила наша...

Абдулла замолкает, и тишину пререзает крик первого петуха. Шах Буба с сожалением смотрит на гаснущие звезды и велит своим подданным:

— Все по домам! Через час, клянусь аллахом, никто не застанет меня здесь! Пора в горы!

Все расходятся по домам. Спешит и Антон Никифорович. Проходя вдоль стены сада, он видит толпу зевак, стоящих у дома, с крыши которого несутся вопли и рыдания. Антон Никифорович невольно замедляет шаг и останавливается. На крыше торчит юрист Панах и отчаянно машет руками. Возле него носится пожилой, но рослый и кряжистый хозяин дома. Взбешенный хозяин то

наскакивает на обомлевшего от страха Панаха, то отходит в сторону, словно любуясь своей жертвой, и истошно вопит:

— Ишачий сын, ты зачем на крыше моего дома? Где эта женщина, покажи мне ее, и я убью вас обоих...

А на лестнице, приставленной к стене дома, стоит Гаджимурад и старается перекричать хозяина. Заливаясь слезами, лестницу придерживает жена хозяина и тоже причитает:

— Дорогой кваса, ради аллаха, спаси мою невинную жизнь! Он расвирипел, как зверь, может убить меня и Панаха! И мне гибнуть без единого греха перед мужем?

Я ведь только дала тебе мою шаль! Спаси меня, дорогой кваса!

Антон Никифорович в недоумении разводит руками, так и не поняв, что здесь происходит. Гаджимурад, помахав рукой доктору, наконец вступает на крышу, подходит к хозяину, что-то объясняет ему. Решив, что Гаджимурад уладит дело миром, Антон Никифорович отправляется домой. У калитки он видит лошадей, приготовленных Абдулжалилом для поездки на джабинские луга, куда сейчас спешат все, кому под силу дальняя дорога. Доктор умывается, взбадривает себя крепким чаем и едет в дом Брусилиных за Катей.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Господи, как славно здесь, — говорила Катя, оглядывая благоухающее великолепие джабинских лугов. — Как славно, что вы повезли меня сюда... Впервые за два года после Тифлиса я чувствую себя счастливой. Я счастлива, Антон Никифорович...

Они сидели на ковре, уложенном предусмотрительным Абдулжалилом в фэтон еще за день до поездки на праздник цветов. Жаркий июньский день. Летняя истома. Говорить не хотелось. Антон Никифорович молча смотрел на Катю так, что она вспыхнула, потупилась, надолго умолкла.

В легком платье из белой кисеи, расшитом бледными чисто русскими незабудками, с пшеничной косой, спадающей с острого, совсем еще юного плеча на колени, Катя казалась чужой, нездешней. И только серьги ее в розовых мочках были похожи на алмазные капли росы, сверкавшие в траве и в чашечках красных тюльпанов, которые виднелись всюду. От Кати исходило тепло и нежность. Белая и тонкая, перетянутая в талии широкой незабудковой лентой, — она была мила. А он был так одинок, так долго и безнадежно одинок...

Катя, словно чувствуя его мысли, потянулась к нему, провела его ладонью по своей пылающей щеке. Рука была теплой и шершавой. «Сколько раз на дню ему приходится мыть руки?» — подумала она неожиданно. И спросила:

— Антон Никифорович, о чем вы сейчас думаете?

— Так... Всякое, Катюша...

— Что значит — всякое? Вы темный, несносно темный человек. Я никогда не могу разгадать ваши мысли. Папа объясняет ваши странности здешним климатом. Он дурно влияет на русских. Папа обещал мне... нет, этого я вам пока не скажу... Пусть у меня будет маленькая тайна... — она рассмеялась, вскочила по-детски порывисто и легко. И тут же заметила Гаджимурада. В одной руке он нес кувшин с водой, в другой — красные тюльпаны.

— Я человек щедрый, дорогая Катя-ханум, — торжественно сказал Гаджимурад. — Сегодня Гаджимурад исполнит любое ваше желание!

Катя охотно выпила несколько глотков воды и поставила цветы в кувшин.

— Такой чудесный день сегодня, а наш доктор хандрит. Взгляните, какой он сердитый. Но я знаю лекарство от его болезни — он должен уехать в Россию.

Гаджимурад присел на траву у ковра, почесал затылок.

— А что это за слово «хандрит», Катя-ханум? Я, клянусь аллахом, его не понимаю...

— Ах, господи, — с досадой отозвалась Катя. — Это очень скучное слово.

— Что же делать, Катя-ханум, на свете не все веселы, — вздохнул Гаджимурад. — Не всем людям аллах послал одинаковые глаза, каждый видит горы и солнце по-разному. Когда идешь босиком по каменистой тропе, она кажется не такой прекрасной, как издали...

— Ах, все это мне наскучило, все это я слышала, слышала, слышала! — резко перебила его Катя, схватила цветы, принесенные Гаджимурадом, и бросила в траву.

Антон Никифорович, молчавший все это время, сказал:

— Друг мой Гаджи, дети есть дети, и они не понимают взрослых. Но мы считаемся с их капризами, без них дети не были бы детьми, так устроен мир.

Гаджимурад понял. Он быстро собрал брошенные цветы, сложил букет и опять положил его Кате на колени.

— Катя-ханум, напрасно вы выбросили эти цветы. Они особенные. Они для гаданья, джумала джахан свидетель, только не говорите никому ни слова. Эти цветы расскажут мне о том, что ждет вас впереди.

— Правда? — Катя оживилась.

— Конечно, правда, клянусь аллахом, Катя-ханум!

— Тогда гадайте! Говорите, говорите, только непременно всю правду!

И лукавый Гаджимурад принимается за хитрое гаданье. Оно так прозрачно, что Антон Никифорович не выдерживает, хохочет. Катя сердится.

А праздник идет своим чередом...

То там, то тут мелькают платья. Девушки играют в любимые горелки. Парни цепью скатываются с крутого склона, ухватив один другого за ноги. А те, что поспокойнее, опустошают хурджины с едой.

Все сегодня дышит здесь любовью. Парни готовы исполнить любые желания своих возлюбленных, а девушки выкладывают на скатерти чудесные кушанья, приготовленные для праздника.

Завидев Антона Никифоровича с Катей, бредущих по лугу, одна из девушек подбегает к ним и, заливаясь от смущения румянцем, говорит, опустив глаза:

— Дорогой доктор, не обижайтесь на нас... Мы так счастливы будем, если вы отведаете нашу еду, пожалуйста, просим, — говорит она, кладет на траву узелок и торопливо уходит к подружкам.

Антон Никифорович задумчиво смотрит ей вслед, ему приятна эта сердечность.

— Отказываться грешно, Катюша, — он улыбается и разворачивает сверток. Чего только нет в нем — и свежий румяный хлеб, и сливочное масло, и халва, и жареный цыпленок, даже соль и перец в маленьких мешочках. — Настоящая скатерть-самобранка.

— А где же Гаджимурад? — спрашивает Катя, протягивая руку к халве.

— Откуда мне знать, Катенька? — пожимает плечами Антон Никифорович. — Поживем — увидим.

Мимо них, в толпе девушек, идет Абдулла. Ашуг поет, и голос его, то печальный, то радостный, летит над травами джабинских лугов, обгоняя жаворонков в небе, к вершинам гор.

Весенние луга — как просторы небесные...

С чем сравнишь цветы луговые?

Краше них сыновья наших гор,

Всех цветов наши девушки краше!

Постелем ковер из молодых цветов,

Взгляните на дорогу, что лежит перед вами!

Пусть смело ступят на этот ковер

Только истинно влюбленные! —

поет Абдулла, а девушки украдкой поглядывают на доктора и Катю. Она не понимает слов, а только жадно слушает ашуга, и сердце ее сжимается в каких-то смутных предчувствиях то ли счастья, то ли беды...

Антон Никифорович взял Катю за руку и повел к холмам Мехди, где восседал шах Буба со своими визирями и нукерами.

Катя волновалась, как дитя, вовлеченное в непонятную, но интересную игру. Платье с незабудками смялось и потеряло гостинную элегантность, коса растрепалась, но от этого Катя еще больше похорошела. Она смело рассматривала красавца Бубу и его нукеров, и странная ей прежде серьезность, с которой Антон Никифорович относился ко всем играм и затеям ахтынцев, впервые захватила ее.

За полдень, путаясь в гирляндах, венках, с хурджинами, набитыми цветами до отказа, молодежь стекается к роднику. У многих в руках узелки с одеждой. Таков обычай: менять ее, вернувшись с джабинских лугов. Мягкая, шелковая вода ручья охлаждает разгоряченные щеки... Переодевшись во все новое, парни и девушки, шутливо кланяясь, подходят к своим шахам и ждут повелений.

Катя тоже подходит к ручью, умывается. Ей непривычно, неловко сидеть на корточках, и она становится на колени, забыв о белом платье.

У ручья появляется Абдулжалил с лошадьми, но в тот самый момент, когда доктор подсаживает Катю, с ближайшего холма сбегает Гаджимурад с кувшином в руке.

— Правоверные! — вопит кваса по-лезгински, подбегая к доктору. — Я только что был на небесах! — он быстро вытаскивает из кармана кусок хлеба, завернутый в тряпочку, протягивает доктору и подносит к его губам кувшин. — Семь матерей горянок прислали тебе молоко из своей груди. Они признали тебя своим сыном! Пей, пей на здоровье, дорогой брат. Они сказали мне так:

может, ему вспомнились большие города и он собирается уехать, но скажи ему, кваса, — горцы могут и помереть без него! Пей, пей, пусть каждый день твоей жизни превратится в тысячелетие!

Антон Никифорович решительно берет кувшин из рук Гаджимурада и на глазах замерших свидетелей и самого шаха Бубы съедает хлеб и выпивает содержимое кувшина. Обычное молоко, свежее и сладковатое.

— Вот так, друг Гаджи, — говорит Антон Никифорович, вскакивая в седло. — Передай семи горским матерям, что я никуда не уеду...

Молодые люди отвечают ему веселым дружным приветственным криком.

И уже нет прежнего чувства одиночества. И затихает капризная барышня Катя. В ее душе гордость за доктора, невольное горячее почтение.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Ручейки обретают силу в реке, а человек — в дружбе людской». Так часто думал Джавад после женитьбы и сравнивал себя с бедным мулкидаром из сказки, который на маленькой пашне своей нашел клад. Ходит мулкидар вокруг клада и боится, как бы не обобрали его разбойники. Воистину права была бабушка Майрам — тысяча раз рахмет ей, умерла она пять лет назад. Правду она говорила: найти счастье — три шкуры стоит, а вот удержать счастье — все семь шкур отдашь.

Не умел Джавад ни пахать, ни сеять. Знал лишь черную работу на нефтяных промыслах. Но он холодел при мысли, что Алван будет скитаться с ним по жалким лачугам, в которых жили рабочие в Баку. Оставить Алван одну в ауле? Жестоки законы гор. Один неверный шаг — и как разъяренный барс бросится джамаат на одинокую женщину, сквитаются недруги и с ней, и с мужем.

Выручил друг Казимагомед. Многие бедные горцы считали его своим братом, шли к нему и с радостью, и с бедой, делились с ним последним куском хлеба. Не счесть, сколько разных папах перебивало на голове Казимагомеда. Исстари ведется в народе обычай — с кем папахами обменялся, тот твой кровный брат. Поменялся Казимагомед папахой и с Джавадом.

— Поедешь, Джавад, в наши родные Ахты, будешь жить там, — сказал Казимагомед, — обучись ремеслу, тебе помогут, и жди от меня вестей. Так порешил наш комитет. Для нашего святого дела ты там нужнее. Тут, в Баку, большая сила рабочих, а в горах, в маленьких аулах еще мало сделано...

Не спорил Джавад. Давно понял, какая великая сила копится в народе, когда в лето пятого года вспыхнул в Баку факел революции. Впервые тогда услышал он имя Ленина, впервые увидел, как вышел на улицы народ с оружием в руках. «Долой самодержавие!», «Да здравствует вооруженное восстание народа!» — вот какие призывы слышал Джавад на улицах Баку. А в аулах, и верно, мало кто знал, как бороться надо. Боялись, не верили.

Помогли Джаваду. Стал он портным. Через полгода научился шить и кроить не хуже своего учителя-мастера и стал пленником маленькой мастерской в углу караван-сарая на майдане. Материалы, лоскуты, тряпки — ненавидел их Джавад всей душой, но кроил и шил исправно. День за днем, год за годом. И терпеливо ждал вестей от Казимагомеда. И вести пришли.

Однажды дверь лавки отворилась, Джавад поднял голову и ахнул. На пороге появился смуглолицый молодой человек, одетый по-городскому.

— О аллах, кого ты занес ко мне? Алексалам, милый мой друг Селимхан, с приездом! Ну, чего ты молчишь? Рассказывай скорей обо всем, о жизни в Баку, о друзьях бакинских!..

Селимхан пошел к двери, выглянул на улицу, вернулся, заговорил совсем тихо:

— Все в порядке, брат, наши передают тебе привет! Они довольны твоей работой.

Вскипел Джавад:

— Валлах, какая же это работа? Сколько можно тут шить да пришивать?

— Ничего, ничего, Джавад, успокойся. Терпение и выдержка. Теперь ты в Ахтах самый тихий человек. Кому в голову придет тебя подозревать? Откроешь свою лавку вместе с дядей Карибом и будешь покупать скот и пушнину. С таким товаром тебе в любой город и в аул путь свободен... — Селимхан наклонился и зашептал Джаваду на ухо: — А мы тебе тоже свой товар подкинем, будешь из города в аулы возить. Деньги на покупку лавки и товара я тебе привез, а доходы свои будешь делить поровну — себе и дяде Кариму за работу, а что останется — раздашь в аулах тем беднякам, кто забыл вкус хлеба. Ты их сам найдешь, сам узнаешь.

Слушал Джавад Селимхана, затаив дыхание, и радовалось его сердце. Наконец-то и он вырвется из своей душной портняжки, которая пленила его, как клетка снежного барса. Наконец-то в его руках будет настоящее дело, нужное лезгинам. Маленькое дело, но без него большого не сделаешь — много, много в аулах еще темных людей.

А дядя Кариб, как он будет доволен... Два года сидит он в ауле без работы, сломана рука у дяди Кариба. Заставил его подрядчик работать на ветхой буровой. Рухнула буровая ночью, когда поднялся над Каспием ураган. Хорошо еще, задела дядю Кариба одна доска, — мог бы и с жизнью распрощаться. С тех пор повисла у него левая рука как плеть. Вернулся дядя Кариб в аул и сказал: «И дед мой, и отец отдали молодость и силу нефтяным вышкам, а умирать возвращались в родные горы — так и я. Правду говорят в народе: пока пахали — гнали быка, а когда упал бык, обессилев, — разодрали на чарыки. Так и со мной».

Жалко было Джаваду и дядю Кариба, и тетю Халум, и неокрепших еще братьев Алван, с ними он делился своим заработком.

Теперь вот все поворачивается к солнцу, теперь и дядя Кариб стал нужен людям.

— Спасибо, спасибо тебе, брат Селимхан! Все мне ясно.

А через неделю ахтынцы увидели Джавада за прилавком, где лежали овчины, шкуры, кожи и пушнина. Место для лавки Джавад выбирал с Селимханом. Присмотрели и купили небольшой сарайчик на берегу Ахты-чая. Двухстворчатая дверь сарая выходила на улицу, ведущую к базарной площади. Другая дверь, узкая и высокая, вела в кладовку: стоило отодвинуть пару дощечек — в стене кладовки открывалась щель, которая вела в подвал с выходом в скалы на берегу Ахты-чая. Все здесь было предусмотрено, все ходы и выходы — на всякий случай.

Помощником Джавада стал Кариб, счастливый своей новой заботой. И откуда только сила взялась? Он проворно свеживал быков, баранов, выделявал шкуры, обрабатывал кожи и резал заготовки для чарыков. Дядя Кариб и сидел постоянно в лавке.

Стал Джавад много разъезжать. То скупает в горах у охотников и барановодов сырье и пушнину, то везет это в город, продает фабрикантам. Никому и в голову не приходило, что в огромных хурджилах перекупщика в Самурскую долину проникают листовки и прокламации. Много Джавад передавал верным людям, многое доставлял в аулы сам. Как свой человек открывал он двери бедных домов, клал деньги в руки жен и матерей: «Ваш муж прислал... Ваш сын прислал... Живы и здоровы... Примите привет...»

Приходилось ему и выступать с неслышанными прежде в горах речами в дальних аулах перед народом.

Там, где побывал Джавад, царским чиновникам все труднее было собирать налоги — народ прятал скот в горах, и считал себя Джавад счастливым человеком.

Слухи о неуловимом смутьяне дошли до начальника округа Брусиллина.

Когда Панах привез Брусиллину листовку, которую добыл в Хнове, земля закачалась под лакированными сапогами полковника.

Она была подписана так:

«Рабочий комитет «Фарук».

Однажды подошел к Джаваду друг Гаджимурад.

— Послушай, Джавад! Велено тебя предупредить, за твоей мастерской днем и ночью следит один шкурник. Посмотри напротив, на плоскую крышу, там торчит женская голова, но она не женская. Это предатель, соглядатай.

— Да-да, клянусь аллахом, я вижу эту голову каждый день утром и на закате. Спасибо, брат.

Глубокой ночью в дверь сакли Джавада тихо постучали.

— Кто там?

— Жуванди — свои... Выйди на минуту.

Прихватив кинжал, как положено горцу, вызванному ночью на улицу, Джавад вышел во двор и увидел двух незнакомцев в темных бурках.

— Саламалейкум, Джавад, мы привезли тебе кожи буйволов, — сказал один.

— Понятно... Идите к моей лавке, я подойду с другой стороны.

Ночные гости бесшумно вышли за ворота, а Джавад, выждав немного, пошел вниз по улице к реке. Пройдя пять домов, он подошел к забору, поднял руку, вытащил из третьей от ворот доски гвоздь, и тотчас в доме еле слышно отозвался колокольчик, и у ворот появился хозяин в папахе.

— Это ты, Устар?

— Иди под мост Зерзалаг и жди меня там...

Джавад пошел дальше и, свернув за угол, нащупал в заборе гвоздь. И опять в сакле звякнул колокольчик, и у забора послышался шепот.

Семь раз вытаскивал из заборов Джавад гвозди, семь раз шептал в темноту:

— Ждите меня под мостом Зерзалаг...

Через час два фургона сырых шкур были разгружены; под шкурами — винтовки и патроны. Сколько их было, Джавад не считал, обертывал оружие шкурами, и его тут же уносили разбуженные колокольчиками горцы к прибрежным скалам Ахты-чая. По одному исчезали они в ночной темени, унося дорогой груз в горы. Наконец, ушел последний...

Небо светлело, когда Джавад запер мастерскую и вышел на улицу. Тогда-то и случилась беда. К нему бежали казаки из крепости.

— Назад! Открывай лавку!

— Зачем, господин казак?

— Молчать! Поворачивай! Отмыкай замок! Джавад впустил в мастерскую казаков и засветил керосиновую лампу. И тут же в двери выросла зловещая фигура полицейского капитана Чичинадзе он появился в Ахтах совсем недавно. Острые глазки, злое лицо, брезгливые, тонкие губы.

— Отвечай, почему ночью торчишь в лавке? — вкрадчиво спросил Чичинадзе, ощупывая взглядом каждую полку.

— Господин офицер, ночью прибыл груз... — Джавад показал на огромный ворох шкур и кож у входа в кладовку. — Люди просили меня, они не могли ждать утра, и я не мог им отказать... Разве закон запрещает открывать свои лавки ночью?

— Поменьше разговаривай!.. Я тебе покажу закон! Куда ведет эта дверь?

— Здесь кладовка, а в ней подвал, господин офицер.

— Обыскать, — приказал Чичинадзе казакам. Через несколько минут все было перевернуто вверх дном. Шкуры и кожи летели с одного конца на другой, а утренний ветерок гнал по земле клочки шерсти...

— Ваше благородие, извольте взглянуть! — Рослый казак держал в руках новенький штык, смазанный маслом. — Штык!

Чичинадзе выхватил штык у солдата и пошел к двери, где было светлее. Солнце уже показалось из-за вершин, но ставня единственного окна в лавку Джавада так и осталась закрытой наглухо.

Подойдя к офицеру, Джавад сказал смело:

— Господин Чичинадзе, прикажите вашему казаку не шутить. Откуда у меня может быть штык? Что тут — оружейный склад? Зачем горцу штык, если у него есть кинжал?

Чичинадзе ухмыльнулся.

— Нет, это ты, любезный, ответь мне, зачем тебе штык и откуда он взялся? — Капитан схватил Джавада за плечи и повернул лицом к свету. — Отвечай, где винтовка от этого штыка? Где спрятал винтовку?

— Я не понимаю, о чем вы спрашиваете, господин офицер.

— Ах, ты не понимаешь! Ну, я тебе объясню! Ту самую винтовку, что ты похитил у солдат!

— Я ничего не знаю, господин офицер, — упрямо твердил Джавад, и говорил он святую правду.

— Взять его! — приказал Чичинадзе казакам и вышел на улицу, весьма довольный.

Джавад думал о детях и Алван. Она даже не слышала, когда он ушел ночью. Она спала, и снился ей, наверное, третий малыш, которого она носила под сердцем.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Антон Никифорович торопился из дальних аулов в верховье Самура в Ахты. У Екатерины Борисовны торжественный день, завтра ей исполнится двадцать лет.

Берали обрадовался в душе волнению Антона Никифоровича. С некоторых пор Берали приметил, что неспроста Антон Никифорович зачастил по вечерам в русскую Дуван-хану. «Красивая эта

Катя-ханум, настоящая кейшан свас — фарфоровая кукла, как говорят лезгины. Да пошлет аллах доктору счастья с ней, — сколько можно жить одному? Год ходит вокруг да около. Будет у них своя семья, и подружатся наши дети», — думал Берали. Сам Берали женился совсем недавно, и доктор был самым почетным гостем на его свадьбе.

Первым, кого увидел Антон Никифорович у своего дома, был Гаджимурад. Через несколько минут доктор знал все об аресте Джавада.

— Мы знаем, кто выдал Джавада. Сегодня ночью его сбросили с моста в самый водоворот Ахты-чая.

— Ужасно, ужасно, брат... Скажи мне правду, а было все же оружие в лавке у Джавада... кроме этого злосчастного штывка?..

— Только для твоих ушей, кашка-духтур...

— Только для моих, Гаджи.

— Могло и быть... Не скажу, что не было. Накажи аллах, если вру.

Когда Абдулжалил вошел в спальню доктора с парадным костюмом в руках, Антон Никифорович, сцепив руки, ходил из угла в угол. Увидев Абдулжалила, поморщился, вздохнул и достал из шкафа небольшой сверток. В нем был серебряный женский поясок, заказанный у самого искусного ювелира Самурской долины Эюбова Магомедмирзы. Поясок стоил больших денег. Антон Никифорович повертел его в руках и положил в боковой карман костюма.

— Сегодня, Абдул, я последний раз испытываю свою судьбу, — сказал он. — Боюсь, однако, ох, боюсь, многовато я от нее хочу.

В крепость Антон Никифорович шел при свете фонарей, рассеянно присматриваясь к встречным аульчанам, и впервые вдруг понял, что нет среди них ни одного ему незнакомого. Каждого он знал в лицо. А о многих знал все, что может знать друг. Да, да, он сделает для этих людей, для Джавада все, что в его силах, чего бы это ему ни стоило...

У самой дуван-ханы ему встретилась Лейла, служанка Кати. Завидев доктора, она остановилась, опустив глаза.

— Лейла? Что-нибудь случилось?

— Нет, господин, Катя-ханум хотела узнать, почему вас так долго нет... Она волнуется, Катя-ханум, не заболел ли доктор... Гости давно собрались, пришел даже кадий Гарус...

Антон Никифорович зашагал рядом с девушкой.

Бедная Лейла, с тех пор как полковник Брусилин взял ее в свой дом для Кати, прошло два года, а душевный покой так и не вернулся к горянке. Ее страшную историю рассказал Антону Никифоровичу сам полковник, деликатно попросив доктора понаблюдать за новой служанкой. Лейлу судьба наказала трижды. Сначала она осиротила ее, потом безжалостно изуродовала оспой красивое лицо, а потом бросила в пьяные лапы насильника. Кто был он — бек, мулла или офицер, никто не знал этого. Да и кому это было нужно? Мало ли в лезгинских долинах бездомных сирот? Они везде — и в каждом караван-сараяе, и у каждой печи, где пахнет хлебом, и в каждом дворе, где собираются играть свадьбу. Лейлу заметил солдат у серных источников неподалеку от дачи полковника. В изодранном, жалком тряпье Лейла бродила возле дачи, откуда всегда пахло вкусными кушаньями. Повар, ахтынец, помнящий об аллахе, тайком накормил девушку и попросил уйти. Но Лейла упорно появлялась там каждое утро, ночуя под открытым небом, пока ее

не заметил сам полковник, который со дня на день ждал возвращения дочери из Тифлиса. Кате нужна была преданная служанка. Так Лейла обрела крышу.

Скупко рассказав о себе повару, объяснявшему Лейле, что господа желают знать, кого они берут в дом, Лейла замолчала надолго. И только при Кате, ничего не ведавшей о несчастной, Лейла становилась разговорчивей...

Катя встретила Антона Никифоровича на пороге гостиной, заполненной офицерами и местной знатью. Взяла из рук Антона Никифоровича букет, порывисто поднесла его к лицу, словно целуя.

— Опоздываете, Антон Никифорович... Бог знает, какие мысли приходили мне в голову. Где вы пропадали? А впрочем — нет, не надо, я знаю, вы забываете самого себя.

— Простите меня, Катюша, я виноват... — тихо сказал Антон Никифорович. — И я еще провинюсь... Вы еще будете очень сердиться на меня.

Он заставил себя улыбнуться, повел Катю в гостиную, раскланялся. Но держался отчужденно, невпопад ответил Брусилину на его очередную шутку. Сел за стол рядом с Катей мрачной тучи. Вино пил с какой-то несвойственной жадностью, словно желая напиться допьяна. Он пытался взять себя в руки и не мог совладать с собой.

Он спешил сюда сегодня, чтобы объяснить с Катей и просить у Брусилина ее руки. Но беда с Джавадом не шла из головы, вытесняла из сердца радость. Он не спрашивал себя, справедливо ли обошлись с Джавадом, он давно потерял веру в справедливость законов. Ему виделась Алван, мать двоих детей, которые росли на его глазах. Она погибнет, если он, как двенадцать лет назад, не вернет ей Джавада.

— Антон Никифорович, голубчик. Помилуйте, у меня сегодня такой торжественный день, — сказал Брусилин, наклоняясь к Ефимову.

— И у меня, Борис Александрович, — ответил Ефимов.

Дочь, которая росла вдали от казарм, окружавших Брусилина смолоду, не похожая на отца ни характером, ни лицом, была для полковника существом непонятым, но слепо обожаемым. Все добрые чувства, всю жизнь сознательно подавляемые, но все-таки дремлющие в его порядком загрубевшей душе, сосредоточились на Кате. Таясь даже от жены, стесняясь себя, он мог часами наблюдать детские игры, строжайше спрашивал с нянек за каждую царапину на маленьких ручонках. С превеликой досадой он согласился разлучиться с Катенькой по той причине, что ей необходимо светское образование. Сам отвез дочь в лучший частный пансион в Тифлисе. Навещал дочь не менее трех раз в год. Теперь, когда Катя вернулась к нему в крепость, полковник робел перед ней и готов был исполнить любую ее прихоть, лишь бы дочь была весела.

Возникшее любопытство Кати к доктору Ефимову озадачило полковника: оно не входило в его планы. Но стоило Кате открыться отцу, как полковнику тоже стало казаться, что не кто иной, не ферт какой-нибудь, а именно Антон Никифорович, человек светский, в годах, с покладистым характером и мягкой душой, близок к некоему идеалу. Брусилин никогда не забывал, как доктор спас маленькую Катеньку от дифтерита, и теперь видел во всем происходящем перст судьбы. Правда, доктор был небогат и имел некоторые странности характера... Но в конце концов не в деньгах счастье. Собственное приличное состояние полковника и родовое поместье в Курской губернии всегда возместит недостающее, а странности... до них ли семейному человеку? Уедут отсюда молодые — все как рукой снимет.

В последние два месяца в доме полковника воцарилась атмосфера тайной влюбленности, загадочных улыбок и вздохов. Катя все чаще уединялась и теперь только матери поверяла свои

тайны. У нее полковник и выведал, что дело идет на лад, и, не откладывая, представил Антона Никифоровича к чину статского советника.

Улучив момент, Брусилин взял Антона Никифоровича под руку и повел его в одну из смежных с гостиной комнат. Здесь на овальном столе лежали подарки, преподнесенные дочери, и среди них один совсем необычный — серебряный пояс, какие носили женщины здесь, в горах.

— Как это мило, сударь... — Брусилин рассматривал подарок, оценивая тонкую ювелирную работу. — Я тотчас разгадал, кто принес этот пояс... Полагаете, он пойдет Катеньке?

— Папа, ты еще сомневаешься?.. — сказала Катя, тоже входя в комнату за ними. — Я целую вечность мечтала о таком пояске... — Она взяла у отца пояс, застегнула на своей тонкой талии и закужилась перед отцом. — Ты видишь, он в самый раз мне... Пойду отыщу маму...

Полковник Брусилин потянулся было за Катей, но Антон Никифорович удержал его:

— Борис Александрович... я хотел говорить с вами. Полковник с важностью опустился в кресло возле стола и указал доктору место рядом с собой. «Право, мне приятно его волнение, — думал Брусилин, — стало быть, любит, стало быть, Катенька не ошиблась выбором...»

— Антон Никифорович, друг мой, я вас слушаю, пожалуйста, говорите безо всякой стеснительности...

Антон Никифорович поклонился и сказал твердо и спокойно:

— Борис Александрович, вы сделали так много для того, чтобы оставить здесь, в Ахтах, добрую память о себе...

«О чем это он? — с улыбкой подумал полковник. — Совсем зарпортовался жених...»

— Какие тут заслуги, сударь? — он небрежно махнул рукой. — Верность государю — вот и вся недолга. Когда честно выполняешь свой долг, быть на виду нетрудно...

— Нет, Борис Александрович, — горячо возразил доктор, — не скромничайте. Вы лично сделали много добрых дел для горцев... как и подобает нам, людям образованным... И сегодня, в такой светлый для нас обоих день, будьте милосердным...

— О чем вы, друг мой? — недоуменно перебил доктора полковник. — Говорите прямо, вы знаете, я всегда дорожил вашим мнением...

В душе его шевелилась досада, но он сдержался. Чего не сделаешь для Катеньки?

— Борис Александрович, распорядитесь отпустить из участка Джавада Севзиханова. Я готов взять его на поруки. Я знаю этого человека и ручаюсь за него. Это жертва, Борис Александрович, поймите, жертва...

— Позвольте, сударь, заметить, — перебил его Брусилин, — что этот самый горец, за которого вы так просите, — смутьян, разбойник и грабитель... Вам известно, что у него найден штык от винтовки? Русской армейской винтовки! А вы... развели тут меланхолию, да-с...

— Ошибаетесь, Борис Александрович, этот горец с великим трудом добывает средства для содержания семьи и далек от политики. У него жена красавица. Штык ему подкинули завистники.

«Теперь он будет стоять на своем... — подумал полковник, все более раздражаясь. — Ей-богу, либо он глупец, либо...»

— Антон Никифорович, я бы и рад помочь, но поздно, друг мой, поздно вы спохватились. Делом этого горца занимается прокурор. Он приказал мне переправить арестованного в Темирхан-Шуру, где дело будет доследоваться...

«Врет», — подумал Антон Никифорович, и это откровенное желание полковника попросту отвязаться от разговора возмутило, но он сдержал себя. У него не было выбора.

— Мне жаль, Борис Александрович, что вы так спешите погубить невинного человека.

Брусилин побагровел, встал и выпрямился точно перед строем.

— Невинного, говорите? По-гу-бить! Завистники... Как мило все получается у вас, любезный доктор! Диву даешься, право. А штык от армейской винтовки с неба упал к этой овце... Да знаете ли вы, что два года я ищу винтовки от этих вот самых штыков! — Брусилин нервно зашагал из угла в угол, уже не думая о том, куда заведет этот разговор.

— Вы, сударь, кажется, говорили о наших добрых делах? Так вот, поверьте и вы моим сединам, чем больше делаешь добра этим дикарям, тем более они наглеют... Раньше они называли себя узденами, вольными горцами, и не желали признавать государя. Теперь они крадут наше оружие, извольте поразмыслить — зачем? Прошу вас оставить этот бессмысленный спор. Я ничего не могу изменить. Телеграмма от военного прокурора лежит на моем столе, и не считаться с ней я не имею права. Моя честь и, наконец, голова моя мне дороже десятка этих дикарей, хотя бы и невинных. К тому же я вас предупредил: ваше дело — медицина, а за порядок отвечаю я. Вы, право, нарушаете наш уговор.

— Наш уговор? Вы хотите сказать — ваш ультиматум, господин полковник? — Антон Никифорович поднялся.

Теперь они стояли друг против друга.

— Милостивый государь, я не люблю романтических поз. Для вашего же блага повторяю: нельзя сидеть на двух стульях, служить и царю и его недругам!

И сразу рухнуло все, случилось непоправимое.

— Сожалею, — медленно сказал Антон Никифорович, — очень сожалею... Позвольте откланяться.

Он открыл боковую дверь комнаты и вышел из полковничьего дома, минуя гостиную...

Пока Катя дозналась, куда девался Антон Никифорович, он уже перешел узкий мост.

Он шел в горы...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пришла беда ночью, днем жди другую.

Кончалось лето, а Джавад все еще сидел в глухих застенках Темирхан-Шуры.

Осиротела счастливая сакля Джавада. Тихо и пусто в ней. Не слышно смеха Алван, не видно любопытных глаз детей. Напуганные молчаливым отчаянием матери, они весь день торчат у дедушки Кариба, чаще остаются там на ночь. Что поделаешь, дети есть дети, разве поймут они материнское горе? Дети привыкли видеть мать со счастливым лицом. Никогда мать не плакала. Бывало, останется одна-единственная лепешка — и ту она разделит пополам: «Кушайте, дети, я не хочу. Видеть не могу этот хлеб, так меня бабушка накормила. А завтра отец придет — привезет мяса. Сердце мое меня не обманывает — завтра он явится...»

Бедная Алван, как потерянная бродит она по двору, перекладывая с места на место шкуры, разложенные Джавадом четыре месяца назад. Сколько ни просил ее Кариб убрать шкуры в саклю — не согласилась. А то сядет у старого очага и сидит часами, смотрит в огонь. Что ей там виделось? То ли прошлое, то ли будущее...

Не раз приходил к ней и Антон Никифорович, уговаривал, просил:

— Алван, милая, побереги себя, пожалей детей, даю тебе слово — все будет хорошо.

Алван молча слушала доктора, молча кивала головой, и слезы, тихие и безутешные, текли по желтому от бессонных ночей лицу.

Антон Никифорович брел по тихим улицам аула к своему дому, где его преданно дожидался Абдулжалил. И по глазам доктора Абдулжалил понимал, что ничего не изменилось в сакле Джавада.

После ужина доктор садился у окна и смотрел на тополя у дома, у ручья. Беспомощные когда-то саженцы поднялись в небо, в их серебристой седине золотится вечернее солнце.

Абдулжалил вздыхая бродил по комнатам и проклинал судьбу, которая так зла к его кумиру.

«О аллах, за что ты наказываешь этого доброго человека, когда кругом полно ненаказанных злодеев?.. — думал Абдулжалил, время от времени заглядывая к доктору. — Бедный, как волновался он, торопился к Кате-ханум, хотел украсить наш дом этим русским цветком, а что из этого вышло? Пошел свататься, вернулся — с похорон. Под утро явился серый, как пыль на дорогах. Письмо написал. В дуван-хану, Екатерине Борисовне. А через день, в сумерках прилетела сама Катя-ханум. Не знает, не знает Абдулжалил, о чем они говорили!.. Да на что ветви, когда дерево сломано? Одна ушла домой Катя-ханум. И он один остался. «Все ты перепутал, всевышний, все перемешал в этом добром человеке, и теперь голова его в заботах, как вершины гор в тумане. Думаешь ли ты о народе своем? Оставил ли ты в наших краях для доктора радость души, которая могла бы удержать его здесь?..» И казалось Абдулжалилу, что сейчас Антон Никифорович прикажет уложить вещи и навсегда покинет Ахты.

В один из таких вечеров, не помня себя, прибежал Гаджимурад.

— Доктор, Алван умирает!..

Антон Никифорович не поверил. Только вчера он был у Алван, только вчера говорил с ней.

— Говори толком, что случилось?

— Умирает, доктор, — не может родить. Халум собрала всех повивальных бабок, никто не может помочь... Все уходят, приговаривая — «аллах ее владыка». Что делать, что делать, доктор? Ее уже положили головой к югу!

Головой на юг мусульмане кладут умирающих.

— Клянусь аллахом! Умрет, умрет... Ради нашей святой дружбы — спаси Алван!

Антон Никифорович растерянно, сокрушенно опустил руки. Он был бессилен. Лезгинская женщина предпочтет умереть без помощи, нежели допустит к себе мужчину-акушера. Никогда и не пытался Антон Никифорович помочь умирающим роженицам.

— Ты понимаешь, что говоришь, Гаджи? — наконец выговорил он. — Ты соображаешь, чего хочешь?

— Понимаю! Соображаю! Будьте покойны, я все обдумал. Помните вдовушку, которая молила о любви Панаха? Так вот, я принес ее наряд!.. — Он выскочил за дверь и вернулся с узелком, потряс им перед изумленным доктором. — Вот она! Если вы согласитесь надеть эти тряпки, вас никто не узнает. Я мигом разгоню всех из дома, скажу, что к вам приехала сестра Наташа. Кто там разберет в темноте? Берите, берите, надевайте эту юбку, эту кофточку. А шалью закройтеесь... Поторапливайтесь, пожалуйста, я не знаю, успеем ли мы...

Дрожащими руками Антон Никифорович натягивал на себя платье вдовушки, путаясь в завязках и пуговицах... Когда через пять минут он предстал перед Гаджимурадом и Абдулжалилом, те молча переглянулись. На лице доктора, аккуратно обрамленном красивой шалью, торчали усы.

— Ох! — сказал Гаджимурад и безнадежно опустил голову.

Доктор подошел к зеркалу и тотчас понял, что так озадачило Гаджимурада. Бритва — и усов как не бывало.

Гаджимурад смотрел на него с ужасом. Но в конце концов Ефимов не горец, которому невозможно показаться на людях без усов.

— Веди... скорее...

Под утро в сакле старой Майрам раздался крик младенца. Разгоняя по домам любопытных женщин, Гаджимурад то и дело хлопал калиткой и деловито приговаривал:

— Вы слышали, все хорошо, а теперь успокойтесь. Сестра кашки-духтора Наташа не терпит любопытных... Известно вам, что русские тоже боятся дурного глаза? Они даже плюют через плечо, чтоб их кто не сглазил, джумала джахан свидетель. А тем более здесь такое дело... Вернется Джавад, пожалуйста, — любуйся сыном... Идите, идите, ты одна останешься здесь, мать Халум... и ты, повитуха Садеф.

Когда ушла последняя соседка, Гаджимурад повел Халум к двери и шепотом сказал ей:

— Идите в саклю и поблагодарите сестру Наташу. Но ничего не говорите ей, поклонитесь, и все... Делайте, как я вам велю, а сестру Наташу я отведу домой к доктору, устала она. Идите, идите.

Он приоткрыл дверь, оттесняя ею женщин назад, и позвал:

— Наталья Никифоровна, я жду вас.

Доктор тотчас вышел из сакли, так что и Халум и Садеф увидели лишь спину сестры Наташи. Низко поклонившись ей вслед, они отправились в саклю к Алван и младенцу.

Гаджимурад шагал по улице так быстро, что доктор, путаясь в юбке, едва поспевал за ним. Когда они отошли от сакли Джавада на приличное расстояние, Гаджимурад спросил вполголоса:

— Все хорошо обошлось?

— Сейчас опасности нет ни для нее, ни для ребенка. Но Алван нельзя подниматься с постели дней пять-шесть...

— Тогда я вернусь туда, брат... Эти женщины могут натворить такого, что не распутаешь. Ум их тонок как волос! А вы осторожней, становится светло.

Придерживая одной рукой длинную юбку, а другой шаль, Антон Никифорович спешил к дому, беспокойно вглядываясь в пустынную улицу. Было тихо, мерно рокотал Ахты-чай, горели русские

фонари, их свет уже мерк в утренних сумерках. Подходя к дому, Антон Никифорович почувствовал неладное.

На терраске дома Исми стоял капитан Чичинадзе. Совсем недавно он поселился в доме у Исми.

«Теперь мы соседи, друг сердечный», — говорил капитан, часто навещая доктора, и улыбался при этом слишком радушно для дальнего знакомства.

Рассказывая забавные истории, капитан Чичинадзе называл Антона Никифоровича земляком, поскольку тоже жил долгое время в Тифлисе.

Неужели этот пес смеет выслеживать и его? Зачем он здесь ночью? И смотрит прямо в светящиеся окна его гостиной... Значит, господин Брусилин вычеркнул доктора Ефимова из списка лиц благонадежных.

Антон Никифорович, закрыв шалью лицо, проскользнул мимо дома Исми, открыл свою калитку, поднялся на крыльцо и постучал в дверь собственного дома.

— Кто там? — спросил Абдулжалил, не открывая двери.

— Откройте, любезный Абдулжалил, — шепотом ответил доктор.

Едва он сбросил в кухне женское платье, в прихожей проскрипели половицы и на вопрос Абдулжалила послышался сахарный голос капитана Чичинадзе.

— Доктор дома?

— Спит, господин капитан. Ночь на дворе.

— Что же мне делать, так разболелся зуб... Я не решился бы беспокоить его так рано, но видел, как в ваш дом вошла женщина. Где она? — спросил капитан Чичинадзе довольно бесцеремонно, и по его шагам Антон Никифорович понял, что капитан осматривает кухню.

Затем послышался смех Абдулжалила.

— Это же был кваса Гаджимурад, вот и тряпки его валяются. Неужели не узнали?

— Кваса Гаджимурад?

— Он самый, господин капитан! Вечно он что-нибудь придумает! Сегодня переоделся в женское платье и затащил одного любителя приключений на свидание... Потом прибежал ко мне, он всегда у меня оставляет свой наряд. В чайхане не спрячешь, там все на виду.

— Ах, этот клоун... — сквозь зубы выговорил Чичинадзе. — Куда же он делся в таком случае? Что-то я не видел, как он вышел обратно...

— Конечно, господин капитан. Кваса никогда не выходит в ту дверь, в которую вошел. Я выпустил его в сад, а там перемахнет через забор и — дома... Прикажете разбудить доктора?

— Да нет, пожалуй, не стоит — неловко как-то тревожить.

Прогремел засов, капитан ушел.

Антон Никифорович вышел в кухню и обнял Абдулжалила.

— Абдул, молодец! Не знаю, как я сдержался... Сегодня же потребую у него объяснить этот визит.

Но Абдулжалил посмотрел с тревогой и за многие годы впервые возразил:

— Нет, не торопись, Антон Никифорович... Этот злодей упрятал Джавада. Нельзя тебе из дома выходить. Уехать надо, на время, пока усы отрастут... Кто в горах без усов ходит? Жалкий трус, честь потерявший. Ты столько лет тут живешь, ты видный человек. Сразу слухи поползут. Если тебе своей головы не жалко — Алван пожалей. Подумай, что получиться может...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

С восходом луны тронулись в путь узкими садовыми тропами. Кони шли друг за другом, и всадники то и дело пригибали головы — мешали ветви. За садами дорога стала пошире, но Гаджимурад не стал догонять своего спутника. Он понял, доктор сейчас где-то далеко, в своем. Какие могут быть сейчас разговоры? Устал кашка-духтур. Изранили его сердце. Хорошо рассуждать старикам на киме, у них всегда разум с сердцем в ладу. Увидят доктора, кланяются, кивают вслед: «Пусть любовь твоя рассыплется, как утренняя роса по всей нашей долине...» Да поймите вы, люди, не шейх он — человек! А одного хорошего человека ищут сто лет...

— Послушай, Антон Никифорович... — не выдержал Гаджимурад, пришпорил коня, — не мучил бы ты себя... Давай украдем Катю-ханум, как раньше наши горцы делали, в конце концов!

— Спасибо, Гаджимурад, ты верный друг... Потому и прошу тебя — никогда не говори со мной о Кате, — сказал доктор и снова замолк надолго.

Все это время Антон Никифорович старался не думать о Кате, но и думал, и мучался, и не мог простить себе, что причинил ей боль, обманул ее первое чувство. Он написал ей: «Простите меня. Я не могу бывать в доме вашего отца». И все. «А как же еще я мог бы поступить? — снова и снова спрашивал он себя. — Что и как можно было объяснить Кате, которая ничего не знала в жизни, кроме пансиона?» Она все равно ничего не поняла бы...

— Антон Никифорович, ради бога! Помириться с отцом, прошу вас!.. Может быть, он отойдет... Мы уедем отсюда, еще до этого ужасного дня отец обещал устроить ваш перевод в Тифлис... — говорила Катя сквозь слезы, когда сама пришла к нему объясниться.

Вся жизнь его в этих горах — лучшие годы, полные сил и желания отдать себя людям, казались Кате тяжелой повинностью. Катя так и звала его пленником гор. Когда же он пытался объяснить, что живет здесь по доброй воле и потому, что так уж положил себе в жизни, она пугалась и замолкала...

Но Катя была молода, а он обязан был предвидеть все. Катя никогда не осталась бы здесь, в Ахтах. Полковник Брусилин был куда осмотрительней, он прямо предупредил, что дочь его не может жить в доме, куда запросто ходят дикари. А он одновременно и спасал от неведомой беды Кудряшова, и ездил на прогулки с Катей. И не собирался переезжать в Тифлис. Но только тогда, когда нельзя было отмолчаться, попытался заговорить с Катей серьезно.

— Катюша, милая, зачем требовать от меня невозможного? Я не могу помириться с вашим отцом, я не буду ему хорошим зятем. Но вы, если вы сможете уйти...

И Катя испугалась того, что он мог сказать ей дальше:

— Нет, нет, Антон Никифорович, никогда! Во мне вся его жизнь. Мне казалось, что вы, именно вы, добрый, чуткий, способный это понять, но вы думаете только о себе!

И поднялась, и медленно пошла к двери. Не оглядываясь. Пожалуй, Катя так и не поняла, почему он разошелся с ее отцом. Но с детства она была приучена ставить условия, а не принимать их, и не могла пойти ни на какие компромиссы. Он всегда и любил Катю за эту решительность, которой так не хватало ему самому... Катя никогда не была бы счастлива с ним... На днях она уезжает с матерью в Тифлис.

..Гаджимурад обогнал его, стал поперек дороги. — Подожди, Антон Никифорович, придется нам здесь посидеть до рассвета.

Перед ними была самая опасная тропа на пути в Хнов. Узкая, как змея, она вилась по краю пропасти. Подъезжая к тропе, путники обычно предупреждали о себе выстрелами или криками. Попадется кто-нибудь навстречу — недолго и с лошадью распрощаться. Двоим здесь не разъехаться, и назад коня не поворишь. Всякое здесь случалось. Встретятся двое, спрашивают, кто куда путь держит. Один на свадьбу торопится, честь ему дороже жизни. А встречный к отцу умирающему, последний раз должен услышать старика. Нечего тут долго думать, кому дорога. На свадьбу и пешком дойти можно. Снимет путник хурджины, столкнет своего коня в пропасть, а сам проползет ужом под лошадью встречного.

Тропу проехали, едва рассвело. Гаджимурад умчался в Хнов за Салманом, и Антон Никифорович остался один.

Он посмотрел на небо. Бледная синева, зависшая над горами, казалась невесомым куполом. Под ним, в этой синеве, неслышно проносились птичьи стаи. Он с трудом поднялся на скалу. Над пожелтевшими альпийскими лугами, беспрерывно ломая строй, тянулась лента птичьей ватаги. Иногда стая взмывала в синь и тотчас же падала вниз, и тогда птичьи перья вспыхивали, как искры огромного костра. Вот птицы совсем близко — Антон Никифорович ощутил легкий порыв ветра: несметные стаи дроздов, трясогузок, скворцов проносились перед ним.

Он был один среди скал и неба, и ему казалось, что в жизни нет ничего и не будет, кроме этих суровых скал и неба. Стая словно уносила прочь годы раздумий и сомнений — нелегкие годы.

Увидев двух всадников на дороге из Хнова, Антон Никифорович неохотно спустился вниз.

— Салман, встречай гостя, охотник дорогой, показывай свои владенья! — Гаджимурад подтолкнул к доктору радостного Салмана.

За полдень Салман и доктор подъехали к глубокому ущелью.

— Здесь мы оставим своих коней, дальше я хожу только пешком.

Воздух в ущелье был удивительно чист, вдоль узкой тропинки бежал ручей.

Взглянув вверх, Антон Никифорович заметил скалу, грозно нависшую над тропой, и вопросительно посмотрел на Салмана. Но тот махнул рукой.

— Сто лет тут висит — и ничего. Вы, дорогой доктор, взгляните повыше!

На самом краю уступа грелась на солнце медведица и с наслаждением вылизывала медвежонка.

— Не взбрдет ли ей в голову сбросить камни на нас, Салман?

— Смотрите внимательно, они сейчас спрячутся, не хотят, чтобы люди знали, где их берлога. Я уже третий раз встречаю их на этом самом месте.

— Верно, они скрылись! — удивился Антон Никифорович, не спуская глаз с уступа, где только что была медведица с медвежонком.

Салман вдруг нагнулся и вырвал с корнем какое-то растение. Достав из кармана баночку, он начал выжимать из корней приятно пахучую жидкость, которая напоминала негустую смолу. Когда с одним растением было покончено, Салман вырвал другое и опять выжал корень.

— Это борщевик, доктор, он есть только в наших горах! — говорил Салман, наполняя баночку до краев. — Старики рассказывают, что богатыря долин и степей Лезгистана — Шарвели мать

каждой весной кормила борщевиком. Всю жизнь Шарвели ел борщевик и никаких болезней не знал. Как-то на песчаном склоне горы Курдалай Шарвели повстречался с громадным бурым медведем. Голыми руками схватил его и поломал все кости. С тех пор не увидишь медведя на горе Курдалай. Наверно, думают, что там всегда ходит великий Шарвели...

Вскоре тропинка кончилась, и Салман с Антоном Никифоровичем вышли из ущелья к утесу, похожему на крутой мост с широкими концами и узкой серединой. На нем стоял каменный охотничий домик, построенный, как потом сказал Салман, лет сто назад.

В домике на полу стоял глиняный кувшин, а возле кучи древесного угля валялся горшок и деревянные палочки для шашлыка.

В углу Антон Никифорович заметил большой пучок ковыля.

— Ты и ковыль собираешь, Салман? Кажется, им украшают зеркало невесты?

— Нет, доктор, совсем для другого, — рассмеялся Салман. — Ковыль помогает охотнику узнать, стоит ли сидеть в этой хижине, будет ли удача в охоте.

Салман взял пучок ковыля, привязал его к палке и выставил в окно, пробитое почти под каменным потолком.

— Теперь идите за дверь и посмотрите на ковыль.

В горах было спокойно. Навострив уши, горы чутко прислушивались к тишине. Взглянув на окошко, Антон Никифорович увидел, что седые пряди ковыля затрепетали и склонились в одну сторону — на юг.

— А теперь скажите, дорогой охотник, откуда будет ветер? — улыбался Салман, стоя на пороге хижины.

С горы, взметая столбы каменной пыли, спускалось стадо туров. Вожак с запрокинутыми на спину рогами шел впереди. Туры прошли через каменный мост и разбрелись у подножия утеса, на котором стояла хижина.

— Что они там ищут, там же голые камни?

— Они принимают лекарство, доктор, — улыбнулся Салман, — каждый год я приношу сюда соль и рассыпаю ее на камнях, иначе туры уйдут отсюда в солончаки Азербайджана. Сейчас я схожу за водой к моему роднику и буду готовить ужин. Клянусь аллахом, кто хоть раз отведаст этой воды — все на свете забудет.

Салман взял кувшин и направился к роднику. Антон Никифорович смотрел ему вслед. Как возмужал Салман с тех пор, когда Алияр-буба привез его в Ахты! Удивительный человек с чистыми глазами ребенка, Салман всю свою жизнь посвятил природе, и она открыла ему свои тайны.

Костер развели в хижине, в горах так полагалось. Ночь выдалась теплая, и только треск жарко горевших сучьев нарушал ее величественный покой. Антон Никифорович то ворошил угли, то подходил к двери хижины. В темной синеве ярко искрились звезды. Долины, казалось, слились с настороженными вершинами гор.

Вдруг он заметил на склоне странные светящиеся точки, они приближались к хижине.

— Посмотри, Салман, что это?

— Это, брат, крадутся к нам бродяги и разбойники.

— То есть как это?

— Ну, лисицы, медведи, волки, только заметят свет в моем домике, сразу сюда. Надеются, что им перепадет что-нибудь от нашего ужина. Ну, я бросаю им головы, ножки, потроха. Садитесь, дорогой гость, шашлык готов.

Салман вынул из хурджина большой лоскут и расстелил его рядом с костром.

До зари просидели они у костра и спать улеглись, как братья, спина к спине.

Милая Наташа!

Не брани за молчание. Все письма от тебя приходили именно тогда, когда я бывал в разъездах. Признаюсь, все чаще я пользуюсь возможностью поехать по дальним селениям сам. Берали отлично справляется в лечебнице без моей помощи, он стал хорошим врачом, хотя и не имеет диплома. Как видишь, все в жизни познается опытом.

Сегодня мой верный Абдулжалил взял с письменного стола пачку твоих писем и положил возле тарелки с хлебом. При этом Абдулжалил взглянул на меня с такой укоризной, что я немедленно после обеда отправился в кабинет.

Стараюсь ответить на все твои вопросы и сомнения. Твой переезд и радует и тревожит меня. Сейчас так беспокойно в мире, что было бы разумнее остаться в Тифлисе, где все знакомо и обжито. Но я понимаю тебя — у каждого из нас случаются минуты, когда чувствуешь — иначе нельзя поступить, это было и со мной. Уехала от него — и хорошо. Сейчас нет ни одной семьи, где все благополучно. Все обострилось вокруг до крайности, и мы — песчинки в водовороте событий, о которых я узнаю из газет, приходящих с большим опозданием. Я чувствую, что где-то, от меня далеко — ужас, который уже не исправить отдельным людям, как бы они ни старались жить по совести. Сейчас, вероятно, всем нам нужно что-то новое. Я понял вдруг, что мы долго жили бессмысленной жизнью, но как нужно жить теперь — мне еще не ясно.

Не огорчайся, милая, что с женитьбой моей ничего не вышло — не будем об этом. Видно, уж так я устроен. Катя уехала в Тифлис, и вскоре, перед самым началом войны, уехал и полковник Брусилин, подал в отставку. В крепости у нас новое начальство — полковник Молин Сергей Александрович. Ходил представляться. Можешь поздравить меня — теперь я статский советник. Вот видишь, что значит механизм, работающий точно? Бумага, на которую столько надежд возлагал Брусилин, пришла. Но чин вручил мне полковник Молин. С ним у меня отношения очень далекие, вернее — никаких. В крепости я почти не бываю, встречаюсь иногда лишь с Лазаревым. Он мне по душе.

Недавно пришла телеграмма от главного врача Дагестанской области Янкелевича. Приглашает на должность его помощника. Но я отказался с благодарностью.

Заранее прошу тебя, Наташа, — не отговаривай. Пойми сердцем, я не дичусь, не упрямлюсь, но не могу и не хочу уезжать отсюда. Я чувствую, что люди здесь нуждаются во мне, и не могу их оставить.

На днях в селении все же состоялось торжественное открытие водопровода. Шестнадцать лет люди прокладывали глиняные трубы — в это трудно поверить. Но все-таки водопровод есть, и в чистой воде его — моя капля.

Обещаю тебе писать чаще, обнимаю.

Твой брат Антон.

2 апреля, 1915 год.

Ахты, Дагестан.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Шорох в саду заставил доктора насторожиться.

— Ты слышишь, Абдул?

Вошел незнакомый человек лет тридцати. Подбородок у него был туго забинтован.

— Не удивляйтесь, доктор... Я Казимагомед Агасиев. Казимагомед?! Так вот он какой. Лицо как тысячи других лиц, встреченных здесь, в горах. Смуглое и красивое, только в бровях, может быть, чувствуется особенная твердость характера...

— Входите, пожалуйста, милости прошу. Садитесь.

— Дело у меня не простое, доктор... Меня ищет полиция.

— Вы мне... доверяете свою жизнь, Казимагомед? Мне — одному из царских чиновников?..

Казимагомед улыбнулся.

— Дорогой доктор, если сыновья и дочери моего народа доверили вам свои жизни, то о чем беспокоиться мне? Кто я такой? Я тоже ахтынец, ваш земляк...

Антон Никифорович помедлил.

— Что я могу сделать для вас?

— Пока казаки получают у капитана Чичинадзе разрешение войти в ваш дом, нельзя ли устроить так, чтобы здесь оказался человек с перевязанным подбородком. — Казимагомед снял повязку и показал ее доктору. — Если вы положите его где-нибудь у себя, то мне опасаться нечего. Один только человек издали видел, как я входил к вам, но он опасен... Абдулжалил поможет нам, верно я говорю? — Казимагомед так же спокойно улыбнулся. — Я не собираюсь ничего скрывать от Абдулжалила — все его предки до седьмого колена известны мне...

— Да-да, — закивал Абдулжалил и подошел к Казимагомеду. — Простите меня, брат, я не сразу узнал вас.

— Абдулжалил, посоветуй, на кого мы можем положиться? — спросил доктор.

— Дорогой доктор, я думаю, наш сосед Абдулкерим подходит для этого дела... Кого ж еще мы найдем ночью? Я сейчас пройду к нему через сад.

Абдулжалил исчез, а Антон Никифорович провел Казимагомеда в спальню, уложил на свою постель и прикрыл ворохом одеял.

Вскоре Абдулжалил возвратился с сонным Абдулкеримом, который, ничего не расспрашивая, дал перевязать свой подбородок, улегся на тахте в гостиной и застал.

Абдулжалил, как верный страж, встал у окна, выходящего на улицу, и, жадно прислушиваясь к ночным звукам, подавал доктору знаки то выразительными взглядами, то жестами.

Не дожидаясь, пока два дюжих казака войдут в дом, Антон Никифорович пошел им навстречу.

— Господин Ефимов, его благородие капитан Чичинадзе приказал узнать, куда делся тот человек с перевязанным подбородком?.. Видели, что он вошел к вам в дом совсем недавно. .

— Соболаговолите передать капитану, что человек тот никуда не делся, лежит в гостиной, я сделал ему укол, — резко ответил Антон Никифорович и отворил дверь в гостиную.

С недоумением переглянувшись, оба казака последовали за доктором и остановились возле тахты. Абдулкерим старательно стонал...

— Капитан Чичинадзе ищет опасного преступника, господин доктор, — словно извиняясь, проговорил один из казаков. — Вы знаете, как зовут этого человека?

Антон Никифорович глядел в окно.

— Да отчего же мне не знать? — сказал он не оборачиваясь. — Это Абдулкерим, мой сосед... Передайте капитану Чичинадзе, что я не принимаю незнакомых людей на дому. Для этих целей существует лечебница.

Казак опять недоуменно пожал плечами и вышел. В комнату он вернулся вместе с лезгином средних лет в надвинутой до бровей каракулевой черной папахе. Они подошли к тахте. Лезгин внимательно всмотрелся в Абдулкерима, поднял глаза на казака и покачал головой.

— Нет, клянусь аллахом, не он...

Извинившись, казаки ушли.

— Подумай, Абдул! Этот негодяй предал своего же односельчанина! — вскипел Антон Никифорович, выглядывая на кухню. — Кто он, ты не знаешь его?

— Успокойтесь, доктор! — отозвался из спальни Казимагомед. — Я знаю этого пса... Он может вернуться сюда опять, потому что знает меня в лицо. Оставьте пока вашего друга в том же положении.

И точно, человек в каракулевой папахе вскоре вернулся.

— Простите, я кажется обронил здесь мой кисет, — промолвил он, ползая возле тахты, на которой по-прежнему стонал Абдулкерим.

Ни доктор, ни Абдулжалил не удостоили его взглядом, и он скрылся так же бесшумно, как и пришел.

— Вот и все, — проговорил Казимагомед, выходя из спальни. — Ничего, ничего, брат, не мучайся, — он присел на тахту к Абдулкериму и похлопал его по плечу. — Ты сделал хорошее дело, спасибо тебе. А теперь отправляйся спать, но повязку пока не снимай, знаешь, на всякий случай, верно я говорю, доктор?

Антон Никифорович только сейчас понял, что Абдулкерим совершенно не подозревал о присутствии в спальне другого человека, пока тот не подал голоса. «Боже, какое безграничное доверие друг к другу у этих людей», — подумал он и посмотрел на Казимагомеда.

— Что вы так странно смотрите на меня, — спросил тот, когда Абдулкерим ушел. — Вы удивляетесь, какие разные люди бывают на свете, верно я говорю? Вот вы и ваш сосед спасли меня, а эта цепная собака вынюхивает мой след... И все мы живем под одним небом...

— Да, это верно... — вздохнул доктор. — Вы устали, Казимагомед. Оставайтесь у меня, не отказывайтесь.

— А разве я отказываюсь? — спросил с улыбкой Казимагомед. — Только ставни закройте, спокойней будет.

Скоро они сидели за столом.

— Как говорят у нас в народе, душа моя всегда знала вас, Антон Никифорович, много хорошего рассказывали мне о вас земляки. Редко встретишь такое сердце, человека, который так бескорыстно народу помогает, да еще чужому народу. Давно хотел увидеть вас, да не сводила судьба. Спасибо за все — за Джавада, за Кудряшова, за то, что вы были с нами в борьбе... Вы удивительный человек.

— Что вы, право, — смутился Антон Никифорович, — я ничего особенного не сделал, я далек от политики. Просто помогал тем, кто нуждался в моей помощи.

— Нет, дорогой доктор, сердце не скатерть, перед каждым его не расстелишь. Вы сердцем поняли, где правда, хотя думаю, что вам бывало и трудно. А мы — я не боюсь сказать вам открыто, что я большевик, — ищем и всегда находим поддержку у честных людей, тех, кто искренне любит народ и понимает его страдания. Вы помогли Кудряшову уйти со службы. Хотите, я расскажу вам, что он сделал? Это наша тайна, но вы тоже причастны к ней, доктор.

Слушая Казимагомеда, Антон Никифорович ясно представил себе глухую осеннюю ночь в горах. Дремлют даже овчарки чабанов. Несколько солдат и унтер Иван Кудряшов сопровождают повозки с тяжелыми ящиками. Тревожно и жалобно скрипят в ночной тишине старые колеса. Странно, что солдаты уходят из крепости ночью, но что поделаешь? Официальная бумага из Тифлиса строго предписывала хранить в тайне отpravку оружия. Благополучно миновали разбойничью тропу под аулом Мисхинджи, но на дороге, ведущей к Виштепе, что значит «Сто холмов», случилось невероятное. Над головами солдат загрохотали камни...

— Сюда! Под скалы, — отчаянно кричит Иван Кудряшов.

Напуганные солдаты, забыв о винтовках, укрываются под безопасным выступом скал. В страхе бросают повозки и кучера, а лошади мчатся, куда глаза глядят. Ящики с оружием летят на дорогу, в кюветы, в скалы, а грохот камней наверху все усиливается, и всем кажется, что кошмарному каменному дождю не будет конца...

Наконец, он стихает, и солдаты выходят из укрытий. Слава богу, все живы.

— Разыскать подводы! — командует Кудряшов. — Собрать ящики, поживее!

Солдаты бегут к ящикам, тут и там разбросанным по дороге, и видят, что они пустые. Винтовки и патроны исчезли. Один, второй... пятый... десятый ящик — все пусто!

Сообща решили возвращаться в крепость.

— Полковник Брусилин лично занимался расследованием таинственного исчезновения двух повозок с оружием и патронами... — сказал Казимагомед, лукаво поглядывая на доктора. — Долго допрашивал он старшего отряда — Ивана Кудряшова, но что тут расследовать? Все солдаты в один голос клялись, что не видели у ящиков ни одного живого существа. Ясное дело, когда мимо летят каменные глыбы, и мать родную не узнаешь, — он весело рассмеялся. — Видите, Антон Никифорович, какое дело сотворил этот Иван Кудряшов. Мы опасались за его судьбу. Полковник Брусилин был человек умный. Рано или поздно он докопался бы...

Антон Никифорович никогда не мог бы предположить, что тот простодушный унтер, смутившийся при встрече с ним, способен устроить засаду и помочь подпольщикам выкрасть оружие под носом у самого начальника округа. А Джавад? Вот, оказывается, почему он пропал в городе так долго. Антон Никифорович вспомнил, как он поучал Джавада: «Молодость не вечна,

Джавад, не заставляй Алван ждать тебя... Молодость не повторится, но когда она уйдет, человеку останется только жалеть о прошлом». Нет, Джавад, верно, никогда не будет жалеть о прошлом.

— О чем вы задумались, доктор? Или я наскучил вам своим рассказом? — услышал он голос Казимагомед.

— Я думаю о Кудряшове, Казимагомед. Какая воля у этого человека. Я сам было засомневался, не сумасшедший ли передо мной. Вы представляете, наутро после нашей встречи он уже носился по казарме как очумелый. До восхода он успел разбить окно, поднять тревогу выстрелом и убежать за крепостные стены совершенно без одежды. Себя он называл то первым помощником главного царского конюха, то царским генералом, лез целоваться к батюшке. И ел он тоже странно: одну ложку — в рот, вторую — через плечо, сначала правое, потом левое, и приговаривал: «И сзади меня голодные есть...» Случай, знаете ли, необычный. Доктор Лазарев растерялся, и Брусилин был вынужден пригласить меня для консультации. Но симулировать сумасшествие можно только здесь, в Ахтах, где нет врачей, кроме Лазарева да меня. Скажем, в Тифлисе или Баку это невозможно. Поэтому я констатировал, что у Кудряшова нервное переутомление, и взялся подлечить его. Он успокоился, но за это время мне удалось убедить коллегу Лазарева, что у Кудряшова неладно с легкими. Мы спорили, но фокус какой-то действительно прослушивался, и унтера отправили домой за негодностью к службе. С самого начала я был уверен, что Брусилин не станет держать в крепости больного. Но знаете, я до сих пор беспокоюсь, здоров ли Кудряшов и был ли это просто фокус...

Казимагомед внимательно слушал доктора, но сказал совсем неожиданное:

— Да, Антон Никифорович, я все это знаю. Я видел недавно Ивана Кудряшова, он работает в Баку. Он здоров. Уехав из крепости, Кудряшов оставил себе надежную замену. Есть здесь солдаты, на которых мы сможем положиться, когда пробьет час. Уже год длится бессмысленная грабительская война, которая кажется сейчас такой далекой, но она все равно ворвется в тишину наших гор. И тогда от народа, от крестьян и солдат, от нас с вами будет зависеть исход грядущей революции.

— Да, все смешалось в мире, — задумчиво проговорил Антон Никифорович. — Я не понимаю и не принимаю войну, потому что она несет смерть людям. Но, признаюсь, я не совсем понимаю целесообразность революции. С оружием, в пятом году она тоже унесла тысячи жизней. Я многого еще не понял. Иногда я спрашиваю себя, почему между миром мусульман и христиан лежит бездонная пропасть? Все, казалось бы, люди...

— Пропать, говорите вы? — переспросил Казимагомед и взволнованно зашагал по комнате. — Вы ошибаетесь, доктор. Нет пропасти между мусульманами и христианами, нет пропасти между мусульманами и русскими. Она только между богатыми и бедными, только между ними — по всему свету. Вы это знаете, и кровь не напрасно пролилась в пятом году. Да, сил не хватило, оружия не хватило, но люди научились думать. Тот же Джавад. Мы постараемся спасти его, готовим побег из темирханской тюрьмы.

Антон Никифорович, слушая Казимагомед, думал о себе. Разве эти годы не изменили его собственные представления о добре и зле? Какими нелепыми теперь казались разговоры с Брусилиным о высоком долге русских насаждать культуру в этом крае. Какая там культура... Тысячи нищих думают просто о куске хлеба. Да, верно, только люди, такие, как Казимагомед, как Кудряшов, как Джавад, — кость от кости народа, — понимают истинные его нужды. И в России, и здесь — их много. И жаль, что жизнь не свела его с ними раньше. А может быть, и не жизнь, а он сам не искал сближения?..

— Это вы удивительный человек, Казимагомед. — Антон Никифорович поглядел на гостя с нескрываемым любопытством. — Не знаю, право, отважился бы я на такое? Вас ищут, охотятся за вами, а вы делаете свое дело.

— А что тут удивительного, доктор? — улыбнулся Казимагомед, и в глазах его мелькнули озорные искорки. — Клянусь аллахом, я привык к тому, что меня ищут, как вы привыкли лечить людей. Правда, в последние дни полицейские ищейки сбесились. Они выставили посты на дорогах, обыскали больше двадцати домов... А я, знаете, что придумал? — Казимагомед подался вперед и загадочно улыбнулся, предвкушая удовольствие от тайны, которую он собирался открыть. — В эту ночь, когда меня искали по всему аулу, я спрятался в доме полковника Молина. Опасно, вы говорите? Да что за жизнь, если жизнь жалеть ради жизни?

Утром в Ахтах случилось невероятное. Женщины квартала Пюльтюяр, ставшие первыми свидетелями необычного происшествия, охали потом целую неделю. На самой окраине аула они увидели человека, сидевшего на ишаке задом наперед. Живот его был притянут к спине ишака веревкой, а лицо, вымазанное глиной, приходилось как раз над тем местом, где у ишака начинается хвост. Трудно было понять, мужчина это или женщина. Большие сапоги на больших ногах говорили о том, что это мужчина, но чохто, натянутое на голову, и длинное платье обличало в нем женщину. И наконец — самое странное. На хвосте ишака болтался потрепанный кожаный кисет для табака. «Бедный ишак!» — воскликнула одна из женщин. Она прошла по краю тока, подошла к ишаку, пощипывавшему реденькие колючки, и стала с удивлением оглядывать со всех сторон бедное животное и его странную ношу. Человек, под которого был подстелен старинный дырявый войлок, перепачканный навозом, не мог даже поднять головы. К спине его была прикреплена бумажка, на которой по-русски и по-азербайджански было написано: «Не трогать! Под этого змея подложена бомба!»

— Вот горе! Может, он уже мертвый?

Но вдруг этот «змея» слабым болезненным голосом попросил ее:

— Дорогая сестра, перережь, пожалуйста, эту веревку!

Когда женщина взялась за веревку, к ней подошел высокий молодой мужчина с вытянутым лицом. Вначале он вонзил свои маленькие глазки в несчастного человека, привязанного к ишаку, потом с сочувствием покачал головой. Прочитав бумагу, что была на спине этого человека, он схватил женщину и оттащил в сторону.

— Ты что, с ума сошла? Под ним лежит бомба! Не вздумай больше подходить.

Услышав такое, женщина заложила свою руку под мышки и отскочила от ишака подальше.

— Чуть не наскочила на грех... Я не могу, не могу жертвовать собой, у меня дома целый табун детишек...

— Это неправда, сестра, подо мной, кроме войлока, ничего нет... Не бойся, дорогая. Прошу тебя: развяжи! — кричал ей вслед человек, привязанный к ишаку.

— Смотри, тетка, не говори потом, что тебя не предупреждали. Там ведь написано, что под ним спрятана бомба...

В самом начале всего этого дела на улице детей не было. Они еще спали. Но вскоре дети высыпали на улицу и плотным кольцом окружили это невиданное зрелище. Один из мальчишек, верно, самый озорной, подошел к лошади, привязанной неподалеку, снял с ее крупа несколько лошадиных мух и напустил их на ишака. Вначале ишак начал на месте дрыгать ногами, а потом поскакал по узким тропинкам, с обеих сторон которых возвышались садовые стены, и скрылся с глаз всех собравшихся людей...

В чайхане Гаджимурада эту удивительную историю пересказывали еще семь дней подряд. И каждый раз кваса с любопытством выслушивал подробности и скорбно закатывал глаза, жалея несчастного ишака.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После памятной встречи с Казимагомедом прошел год, но ничего не изменилось в тихих Ахтах. Казалось, дремлющие горы навеки укрыли аул от мира, где гнили в окопах солдаты, где убивали Распутина, заседали в думе и пытались продавать Россию то англичанам, то французам. Газеты приходили в Ахты с большим опозданием, телеграф почти не работал. Даже в крепости, куда Антон Никифорович наведывался только за новостями, не знали решительно ничего определенного.

Гаджимурад, который всегда каким-то чудом узнавал все на свете, пропадал в Баку. Уехал он внезапно, сказав на прощанье: «Бывают, доктор, годы — одного дня не стоят, но бывают дни — стоят сотен лет».

Антон Никифорович не находил себе места. Иногда ему хотелось бросить все и, хоть пешком, отправиться в Баку, чтобы узнать правду, разобраться в событиях жизни, бурлящей за горами. Но каждое утро на каменных ступенях лечебницы его ждали больные, и он шел к ним без опоздания, точно к девяти. По аулу слонялись оборванные, босоногие и голодные дети, а на дороге, ведущей к базару, сидел слепой и пел всегда одну и ту же песню:

Земля тверда, небо высоко,

Мы вырастили хлеб, но сами голодны.

О всевышний, куда нам деться,

Как нам прожить на этом свете?..

В одно такое утро горы расступились. Попробуй удержи бурю... Молнией расколола тишину ошеломляющая весть — отрекся Николай. Русское слово «революция» разнеслось по всему аулу. Об этом толковали везде — в домах, на улицах, на киме, но говорили шепотом, озираясь по сторонам.

В лечебнице доктор ловил на себе пытливые взгляды пациентов, видел немой вопрос: верить ли? Но он и сам ничего не знал толком.

Пышноусый полковник Молин принял его корректно, но сухо, был растерян.

— Да, господин Ефимов, на сей раз вы имеете полную осведомленность о событиях в России. К несчастью, его императорское высочество покинул престол, отказался от власти в пользу светлейшего князя Михаила. Создано Временное правительство. Мы все обязаны остаться на своих местах и ждать дальнейших приказаний.

Выходя от полковника, Антон Никифорович почти столкнулся с Панахом и кадием Гарусом. Черной птицей пролетел мимо него кадий со смятым и обеспокоенным лицом.

— Честь имею, господа, — послышался из бывшего кабинета Брусилина уже спокойный голос полковника Молина, — сейчас я вам все объясню.

«Что принесет она, эта революция и отречение Николая народу, простым людям? — спрашивал себя Антон Никифорович. — Сделает ли она их счастливее, вернет ли с западного фронта отцов и сыновей в Россию, накормит ли голодных детей той же Самурской долины?» — и опять не спал ночами.

Вскоре появился Гаджимурад. Вошел под вечер, усталый, на синей черкеске коричневые пятна нефти.

— Дорогой доктор, дело тут верное — царя больше нет, джумала джахан свидетель! В Баку говорят — революция продолжается. Эти «временные» не спасут народ от войны и голода. Нет, никогда сытый голодного не поймет. Большевики в Баку не хотят признавать этой временной власти. Так и говорят — не подчиняйтесь приказам Временного правительства, прячьте скот, не платите налоги — пора кончать войну. Мне поручил Казимагомед собрать народ в чайхане, поговорить по душам. Надо, чтоб поняли люди, что к чему. Посмотрите на наш джамаат — они все еще боятся кадия Гаруса, взгляните на наших толстосумов — кадия, Панаха — петухами ходят!

И верно, настороженная тишина снова легла в горах, только призывы чауша к намазам да звон церковного колокола нарушали ее. Однажды и он замолк.

К дому Антона Никифоровича прискакал на своем низкорослом жеребчике врач Лазарев.

— Между нами... дружище, полковник передал бразды кадию Гарусу. Мы снимаемся. Ты успеешь собраться?

Антон Никифорович долго молчал, глядя на потрепанный серебряный погон Лазарева. Казалось, доктор обдумывает нечто очень важное для себя.

— Видишь ли, сейчас у меня, как никогда, много больных. Будь добр, скажи полковнику, что я не смогу поехать с вами. Прощай, дорогой, желаю тебе удачи.

Они обнялись.

Возвращаясь из лечебницы, Антон Никифорович встретил на кладбищенской площади офицерскую кавалькаду. На военных двуколках везли бесчисленные чемоданы и сундуки, а в фэртоне сидел полковник Молин. Он сделал вид, что не заметил поклона доктора.

Антон Никифорович долго смотрел вслед уезжающим, потом спустился на берег Ахты-чая. Ворота русской крепости, которая двадцать лет назад казалась ему огромным океанским кораблем, были открыты настежь. Его потянуло туда, но, пройдя вдоль садов полпути, он круто повернулся и пошел обратно.

А в долинах Ахты-чая и Самура бушевал палящий южный ветер. Он поднимал с сухих горных склонов тучи пыли и гнал их в сторону Каспия. В горах гибло все, что было посеяно на безводных землях и в горах. Толпы крестьян собирались на окраине аула. Люди мрачно смотрели на юг, щурясь от колючего ветра.

— Коровы на пастбище бурые от пыли, — говорили крестьяне, — даже хозяева их не узнают. Ручьи высохли, родники ушли под землю.

— Небо не дает воды, братья, — горестно воскликнул стоявший в толпе мулла Фалз. — Небо не хочет видеть то, что творится на земле. Горе пришло в наши аулы! Появились отступники, не признающие волю аллаха. Даже называют они себя не по-людски: юршавик-муршавик. Как шайтаны, они дали себе другое имя. Святой шейх Гарус не хочет выходить из дома, он говорит, что даже земля нашего аула опоганена ногами неверных псов... Правоверные, мы должны уговорить шейха. Если он сегодня вместе с нами не будет молить аллаха о воде, нам ее не видать. Наши посева высохнут, и мы сами высохнем вместе с ними. Идемте все к шейху Гарусу. Аллах не примет молитв, сотворенных без него! В толпе загудели:

— Верно говорит мулла! Шейх Гарус обижен на нас, а без него молитва не имеет силы...

— Если умиловать шейха, аллах услышит нас!.. Сотни людей шумели и спорили, а раскаленная пыль разъедала им глаза...

Они перепробовали уже все средства. Молились. Приносили жертвы. Ходили с чучелами, взывая к дождю. Надев черные папахи с белыми лентами, бросали в реку камни. Ничего не помогало. Оставалось последнее средство...

Отправили посланцев к дому кадия Гаруса. Стали уговаривать шейха пойти в предместье Сил и во главе всех верующих молить аллаха о дожде.

Но Гарус отказался.

— Может, потащите меня силой? Не старайтесь! Сначала вам придется меня задушить! Или несите мертвого или убирайтесь отсюда! Я не стану нарушать слова, данного всемогущему аллаху...

— Что же мы ответим джамаату? — спросил один из посланцев.

Гарус захлебнулся в ярости:

— Что, джамаат ослеп, что ли? Если нет, пусть избивают неверных псов, пусть гонят из аула, пусть сжигают их дома и сакли! Тогда аллах возвратит вам милость.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Гаджимурад глаз не сомкнул всю ночь, и теперь ему казалось, что шум в его голове слышен даже на базаре.

Вчера пришли из Баку Джавад и Алимирза Османов.

— В России народ взял власть в свои руки, — сказал Джавад. — Временного правительства больше нет. Довольно и нам тратить время. Завтра же мы должны сказать людям правду. Пусть подумают, зачем джамаату этот национальный комитет? Разве кадий или Панах отдадут людям свои земли и сады? Нам нужна здесь своя власть — народная, свой аул-совет. Собери-ка завтра в своей чайхане надежных людей. Поговорим. Но и Панах не терял времени даром. Под вечер позвал Панах к себе Керима, известного на всю округу конокрада и бандита. Грузен телом Керим, а ходит неслышно, как кошка, хитер Керим, но не нашелся еще тот человек, который обвел бы Гаджимурада. Спасибо Вадимчику — вовремя встретил он Керима у дома Панаха. Долго стоял в темноте под окном, пока не узнал, зачем конокрад тому, кто ходит в лакированных туфлях, зачем бандит новому падишаху?

— Ты представляешь, что грозит нам всем? — спросил Панах у Керима. — Например, тебе? Явились псы, забывшие об аллахе, они отберут у тебя все, до последнего паласа. Ты будешь подыхать с голоду, а они — издеваться над тобой. Они будут хохотать тебе в лицо — если, конечно, сразу не убьют, как собаку... Они, слышно, собираются избрать аул-совет.

Керим заскрипел зубами:

— Пусть только попробуют ко мне прийти! Я не буду их ждать, я знаю, что мне надо делать...

— Нет, Керим, не надо поднимать шума. Зачем потом иметь дело с кровниками? Все можно сделать тихо, так, чтобы никто ничего не узнал.

— Тихо? — взревел Керим. — Тихая месть — это не месть, меня она не успокоит!

— Успокойся, ты же умный человек, — сказал Панах. — Представь себе — двух или трех главных безбожников найдут убитыми. Что будут делать их приспешники? Сперва будут блеять, как глупые овцы, а потом побегут в мечеть каяться. Ты же умный человек, Керим... Жди, когда я подам тебе весть.

С рассветом Гаджимурад ходил по домам и саклям, предупреждал о встрече в чайхане. Кажется, всех обошел, кому довериться можно.

Едва Гаджимурад вступил на базарную площадь, его окликнул знакомый ахтынец.

— Кваса, подожди! Ты слышал, что старуха Махлус лежит головой на юг?

— Не может быть! Ты правду говоришь?

— Правда, правда, клянусь аллахом...

— Тогда иди и еще раз пообедай в моей чайхане. Нет, два раза пообедай. Хорошая новость!

Бедняк поплелся к чайхане, а Гаджимурад задумался, перекладывая пустую корзину из одной руки в другую. Что ему предпринять? Ведь у старухи Махлус нет ни одного родственника, а вещей и денег у нее — ой, ой! Кому все достанется?

Как всегда внезапно приняв решение, Гаджимурад разгладил свои усики и направился к сакле Махлус.

Дверь оказалась запертой, но это не смутило Гаджимурада. С ловкостью кошки он залез на крышу и прислушался. И тут же до него донесся приглушенный голос Гаруса-эффенди, читавшего молитву. «Надо посмотреть, что там творится», — подумал Гаджимурад и пополз к торчавшей из прохудившейся крыши лестнице, с кривыми, как сама старуха Махлус, ступенями. И тут случилось ужасное: Гаджимурад задел ногой наседку, сидевшую под лестницей. Курица громко закудаhtала.

— Кто здесь? — недовольным голосом произнес кадий и открыл наружную дверь, чтобы посмотреть, нет ли кого возле дома. Дверь скрипнула, как арба без смазки. Воспользовавшись этим, Гаджимурад юркнул в комнату и спрятался за занавеску.

Ведьма Махлус и в самом деле лежала головой к югу. Изборожденное глубокими морщинами ее лицо казалось безжизненным. Умерла она или жива еще, Гаджимурад так и не мог определить.

В комнату вернулся кадий и сел на стул, стоявший около постели старухи. Склонившись над знахаркой, Гарус тихо звал ее:

— Махлус, Махлус...

Старуха не ответила. Тогда кадий снова позвал ее, но уже громче:

— Махлус! А, Махлус!

На этот раз знахарка медленно открыла глаза и просипела:

— Я слушаю вас, житель рая.

— Чтобы избавить тебя от грехов, Махлус, я прочитал все необходимые молитвы. Теперь ты скажи свое последнее желание...

— Мое желание? — переспросила Махлус, и ее высохшее лицо вдруг покрылось багровыми пятнами. — Если аллах не простит все мои грехи, — через силу выговорила Махлус, не спуская мутных глаз с кадия, — то половина их пусть останется на вашей душе, посланец аллаха. Перед смертью я прошу вас — предайте это логово шайтана огню. Эта старая сакля черна от грехов, как и моя душа. Я, как самая грязная сводница, обманывала женщин и толкала их в вашу постель...

Гарус-эффенди побледнел и прошептал, тяжело дыша:

— Астафирулла! Астафирулла! Махлус, повторяй за мной!

— Астафирулла, — повторила знахарка, закашлялась и облизала шершавым языком посиневшие, сохшие губы. Она хотела повернуться со спины на бок, но не смогла.

— Пусть совесть будет тебе судьей... — простонала Махлус — Посмотрите под подушку. Там кубышка с деньгами.

Кадий проворно достал кубышку, а Махлус, косясь на нее, невнятно продолжала шептать:

— Это урожай всей моей жизни, Гарус... Будьте судьей... совести и не откажите сделать все, что надо... по обряду... остальное отдайте джамаату в кассу сирот.

Кубышка с деньгами, которую теперь крепко сжимал в руках кадий, немного заглушила в нем злость на Махлус, вспомнившую о женщинах. Он успокоился и принялся расспрашивать миравшую, сколько у ней скота, есть ли должники.

Но Махлус становилось все хуже. Глядя потухающими глазами то в потолок, то на кадия, она бормотала одну и ту же фразу:

— Еще вот что... Еще вот что...

— О чем это ты, Махлус?

Но Махлус так и не успела ответить Гарусу, закрыла глаза и вздохнула последний раз...

— Счастливого тебе пути, жительница рая, — прошептал кадий и с последним вздохом Махлус надвинул на ее лицо одеяло.

Спрятав под полу абы кубышку, кадий Гарус хотел позвать женщин, которые собрали бы знахарку в последнюю дорогу, но Гаджимурад, выйдя из-за занавески, преградил ему путь.

— Куда вы, Гарус-эффенди?

Зло нахмурив седые брови, Гарус хотел оттолкнуть Гаджимурада, да не тут-то было. Рука проклятого квасы впиалась в кубышку.

— Не спешите, не спешите, о светлейший... Вы еще успеете к красавицам, о которых говорила Махлус...

— Вон отсюда! — расвирипел кадий.

— Я уйду, — невозмутимо проговорил кваса. — Но только сначала давайте пересчитаем деньги в этой кубышке...

— Постыдись! Зачем тебе чужие деньги? Здесь лежит мертвая, постыдись, — сбрасывая со своего плеча руку Гаджимурада, шипел Гарус.

— Мне, клянусь аллахом, не нужно ни копейки, но денежки любят счет, особенно чужие, — потешаясь над Гарусом, ответил Гаджимурад. — А ну-ка приступим к делу, или я расскажу обо всем джамаату.

Гарус-эффенди, струхнув не на шутку, вынул из-под полы абы кубышку и протянул ее Гаджимураду.

— На, шайтан!

— Пятьдесят... восемьдесят, — стал считать Гаджимурад, — сто... сто пятьдесят... сто восемьдесят. Ну, а медяки не в счет.

Проворно положив деньги обратно в кубышку, Гаджимурад протянул ее кадию.

— Пожалуйста, Гарус-эффенди, а теперь я ухожу. Но как только Гаджимурад ушел, тревога охватила кадия Гаруса. «Бродяга Гаджи что-то задумал. Попробую бросить ему в рот косточку, иначе этот шут напакостит мне».

Забыв, что надо сказать женщинам об умершей Махлус, кадий направился вслед за Гаджимурадом.

— Слушай, Гаджимурад, мы не договорились с тобой, — притворно ласковым голосом сказал кадий, с трудом догнав квасу. — Возьми свою долю денег. Сколько ты хочешь?

Гаджимурад остановился, удивленно посмотрел на кадия.

— О светлейший, что-то я не пойму вас. Аллах свидетель, старуха Махлус завещала свои деньги джамаату. Может быть, она хотела хоть раз в жизни накормить голодных детей? Так ведь она сказала вам? Или я совсем оглох? Нет, нет, я еще в добром здоровье. Пойду расскажу народу, как отправлялась Махлус в сады аллаха, да будет легок ее путь на тот свет. Но я должен знать, сколько стоят тяжкие грехи, точно, до копейки. А вдруг вы забудете, уважаемый эффенди? Все, все у нас проходит через ваши руки — и похороны, и свадьбы, и завещания. Нет, нет, не говорите мне ничего!.. Мне некогда, эффенди!

Довольный собой, Гаджимурад нырнул в узкий проулок, чтобы попасть в чайхану через Кладбищенскую площадь, да так и замер.

И черную молнию среди ясного дня нельзя сравнить с тем, что остановило Гаджимурада.

В аул через Кладбищенскую площадь торжественно входили войска турецкого паши. Человек пятьдесят всадников в красных фесках, на карих, одинаковой масти лошадях, с длинноствольными ружьями и кривыми шашками на боку, ехали медленно, шагом и напряженно вглядывались в узкие улицы Ахтов.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Аул гудел. Люди толпились на площади у Джума-мечети, всех волновало одно — что будет с ахтынцами, которых по настоянию кадия Гаруса упрятал за решетку турецкий офицер Хулус-бек. И толки были недобрые. Конечно, жаль земляков, но что поделаешь? Зато теперь кадий обещает пойти в предместье Сил и вместе со всем джамаатом молить всевышнего о дожде. Верно, такова воля аллаха.

Аул гудел, и кадий Гарус поспешил к Хулус-беку. Позвав Панаха, они втроем вышли к народу на площадь.

— Тот, кто продался гяурам, заслуживает смерти, — воскликнул Хулус-бек, простирая руки к небесам. — Они совращают с пути истинного жителей Самурской долины! Только их смерть смоем позор, который навлекли смутьяны на ваши головы. Все, кто против аллаха, — враг государства и враг джамаата! Но я хочу знать вашу волю, правоверные.

Из толпы послышался нетвердый голос Керима:

— Да, господин офицер, наше мнение одно — повесить их, какое еще может быть мнение.

Сотни голов повернулись к человеку с глазами, налитыми кровью. Керим — конокрад и убийца, разве от него услышишь путное?

— И мы так думаем, господин офицер, — крикнул еще кто-то и замешался в толпе.

Тишина. Молчит народ, а молчание иной раз кажется согласием. Нет, нельзя терять ни минуты! Гаджимурад вышел из толпы и встал рядом с Гарусом, Панахом и Хулус-беком.

— Правоверные, овцы вы или люди? Если мы, как овцы, пойдем за сумасшедшим козлом — полетим в пропасть, джумала джахан свидетель!.. Но если мы люди, и есть у нас сердца, и есть у нас дети, которых аллах повелел не бросать, мы должны грудью встать за своих земляков! Что они сделали плохого? Это невинные люди, наши земляки!

— Какие это земляки? Это псы нечестивые! — прошипел кадий Гарус.

— О светлейший шейх, — рассмеялся Гаджимурад ему в лицо, — ответь джамаату, сколько было в кубышке Махлус, он хочет знать, все ли ты передал в сиротскую кассу?

Лицо старого Гаруса посинело, он глухо и невнятно крикнул что-то.

— Скандал, я умываю руки... — сквозь зубы проговорил Хулус-бек. — Кого здесь судят — гяуров или вас?

— Господин офицер, заклинаю вас именем аллаха, не говорите больше сегодня об арестованных, подождем немного...

Хулус-бек недовольно посмотрел на расстроенного Панаха, который сам посоветовал ему известить в ауле нечисть, но возражать не стал. Без кадия и Панаха ему этот народ не удержать в повиновении, как приказал Нури-паша. Что смогут сделать пятьдесят всадников против трех сотен людей, собравшихся на площади, если поднимется бунт? А шейх боится взглянуть на людей. Ему, Хулус-беку, все равно, когда повесить арестованных.

— Я слышу, вы молчите, правоверные? Ну что ж, я пошлю гонца к Нури-паше, пусть решает судьбу смутьянов.

— Пусть решат справедливо! Мы хотим — справедливо! Пусть гонец скажет, как мы хотим! Не виноваты люди ни в чем! — кричали со всех сторон.

— О-о! Нет справедливее суда наместника султана, — проговорил Хулус-бек напыщенно, скрывая, однако, свой страх: он слышал впервые, чтоб джамаат так громко и ясно заявлял о своей воле.

Все эти дни Антон Никифорович ни на минуту не оставался один. Горцы днем и ночью сидели на крыльце его дома с кинжалами под черкеской или бешметом и шли вместе с ним к больным.

Но кяфира Ефимова не смел тревожить и сам Хулус-бек, он помнил наказ Панаха: «Темные люди слепо привязаны к этому нечестивцу, не трогайте его. Он сам уберется из аула, кто станет платить ему жалованье, может быть, голодранец Гаджимурад?»

Но и нужду друзья не пустили на порог.

Сосед Абдулкерим больше не брал у него денег за жилье и сам давал их теперь Абдулжалилу, тайком от доктора. Не было дня, чтобы кто-нибудь не принес Абдулжалилу узелок с едой.

Абдулжалил не спал, ночами ворочался с боку на бок, прислушивался к дыханию в спальне доктора.

«Этого доброго человека кормит благодарный народ, последний кусок хлеба отдает, потому что он нужен людям. Ну, а я кто такой? Теперь я здесь лишний рот... Нет, нет, я должен покинуть этот дом...»

Но утром решимость оставляла Абдулжалила. Не мог он расстаться с доктором! Столько лет жили они одной бедой, одной радостью.

Приходила Алван.

— Брат Антон, я принесла кюрзе... Кушайте скорей, пока не остыли.

— Твое слово, Алван, для меня священно... — шуточно отвечал доктор, втайне любуясь ею.

Два десятка лет пролетело, но, как и прежде, нежна Алван, будто ей шестнадцать. Легка как горная лань, глаза по-прежнему с тихой радостью смотрят на мир, а лоб с гордым изгибом бровей не тронули морщинки.

— Кюрзе — это превосходно, — говорил доктор, моя руки на кухне. — Кюрзе — те же российские вареники. Люблю кюрзе. Но я пока еще не калека, милая Алван, ей-богу... То штопка, то стирка, то этот обед... Мало ли у тебя забот в своей семье!

Алван садилась на тахту, задумчиво глядя прямо перед собой. Как объяснить доктору, что он ей как брат. Куска хлеба не может в рот положить, не думая о докторе. Трижды могла она умереть, если бы не он... Наверняка она умерла бы от грязных лап ведьмы Махлус. А когда Джавад бросил ее, уехал в Баку... Разве она стала бы жить на свете без Джавада? И в третий раз, рожая малыша. Если бы доктор не прислал к ней тогда свою сестру Наташу...

— Когда я забочусь о вас, брат Антон, — нет женщины счастливее, клянусь аллахом! И разве вы... не моя семья?

«И я счастлив, милая Алван, ты это знаешь...» — мысленно отвечал ей Антон Никифорович.

Однажды Абдулжалил все-таки ушел из дома, не прощаясь.

— Наверно, поехал в свой родной аул... — сказала Алван.

Но проходили дни за днями, а Абдулжалила не было. Вернулся он через месяц, неся в руках тяжелые хурджины. Вид у него был виноватый.

— Вот и я, дорогой доктор, — только и сказал Абдулжалил и поставил хурджины на пол.

Доктор обнял друга.

— Где носило тебя, брат?

Абдулжалил осмелел, выложил из хурджинов всякую всячину — яйца, масло, мясо, брынзу, птицу.

— Везде я побывал, доктор, в разных аулах, но во всей нашей долине горцы только и твердили мне: отправляйся обратно, нечего тебе здесь рассиживаться!.. Кто будет ухаживать за кашкой-духтуром, кто будет готовить ему есть! Иди, иди, неблагодарный человек!.. — весело говорил Абдулжалил, однако был невесел.

Антон Никифорович это заметил, а Абдулжалил не стал скрывать.

— Правду сказать, доктор, много наших аулов захватили турки. Совсем заморочили головы людям. Я сам слышал, как турецкие офицеры кричат у мечетей: «Мы перевешаем гяуров». Я и помчался обратно.

«Ах, вот оно что!.. — подумал Антон Никифорович. — Ты, дружок, опасаясь за мою голову, спасибо, брат...»

— А народ, Абдулжалил, что в народе говорят?

— А люди, доктор, так говорят: «Хватит, натерпелись мы, все хороши — только бы схватить бедный народ за глотку... Не нужен нам больше ни царь, ни паша, ни султан...»

— Это отличные слова, друг, и если народ говорит так, то, стало быть, так и будет. А за меня не бойся.

За себя Антон Никифорович и, верно, не опасался. В эти черные дни все чаще и чаще вспоминал ночной разговор с Казимагомедом и повторял его слова: «Что за жизнь, если жизнь жалеть ради жизни?» Но Джавада, второй раз бежавшего из темирханской тюрьмы, уговорил уйти в горы. Джавада все называли в ауле большевиком, его Панах непременно упрятал бы в турецкую каталажку.

Помнится, Джавад сидел у Антона Никифоровича. Была при этом Алван. Она плакала. Нет, не от предстоящей разлуки с Джавадом. К этому Алван привыкла. Плакала потому, что мужчины открыто говорили о своих делах при ней, при женщине. Правда, Джавад и раньше советовался с ней, как с равной, и ходил с ней по улице рядом, а не впереди, как обычно ходили мужчины в ауле. А в тот вечер Джавад сказал ей при всех: «Алван, прости, но я должен опять покинуть тебя. Жизнь моя принадлежит революции, в ней счастье наших детей».

В тот же день, когда Хулус-бек пообещал джамаату просить о помиловании арестованных, Гаджимурад пришел за советом.

— Как вызволить людей из подвала дуван-ханы, что делать, доктор? Не верю я ни кадию, ни этому Хулус-беку. Повесят наших ребят!

— Ты понимаешь, друг, что я бессилен, но все-таки что-нибудь попробуем.

Он сел к столу и красивой арабской вязью написал:

«Господин Хулус-бек! Если вы немедленно не освободите арестованных ахтынцев, мы поднимем на ноги аул и выступим против вас. Вас пятьдесят человек, нас пятьсот! Об этом забывать не советуем! У нас есть оружие, и мы освободим наших земляков. Ваш ответ просим вывесить на воротах крепости, чтоб его видел джамаат.

Ахтынский комитет».

Письмо подбросили турецкому часовому у главных ворот крепости.

Хулус-бек медлить не стал, уже через час на воротах крепости висел листок бумаги — приказ.

«Наш уважаемый Нури-паша изволил помиловать арестованных ахтынцев».

В одну из ночей в дверь доктора постучали.

— Кто там? Зачем тревожите доктора ночью? Горит где или кто умирает? — спросил Гаджимурад, не открывая.

— Впусти, Гаджимурад, у меня важное дело, — слышался голос Панаха. — Со мной никого нет, клянусь аллахом, я один.

— Ну хорошо, входи, падишах, но знай: могу проводить тебя не только к доктору, но и в сады аллаха.

Мутными глазами оглядел Панах кухню, где сидели двое джигитов, и вошел к Антону Никифоровичу.

— Господин Ефимов, у меня к вам дело, но я бы хотел говорить без свидетелей. — Панах глядел на Гаджимурада и Абдулжалила.

— У меня нет секретов от моих друзей, — ответил Антон Никифорович, — извольте при них изложить ваше дело.

Панах замялся и начал издали.

— Конечно, вас, господин Ефимов, любят тут, уважают за службу. Мы, члены национального комитета, не отрицаем этого. Но, увы, вы помогаете невежеству. Уезжайте, пока не поздно! Я обеспечу вам безопасность, и мои люди проводят вас до станции Худат.

— Ценю, господин Панах, вашу откровенность, — резко сказал Антон Никифорович. — Но прежде чем я отвечу на ваше предложение, мне хотелось бы понять, наконец, кто выбирал вас в национальный комитет? Кого вы, собственно, представляете? — Стоя перед Панахом, Антон Никифорович не давал раскрыть ему рта. — Вы говорите, что вы — мусульмане, но почему деньги из кассы джамаата вы отдаете не голодным детям, а посылаете фанатикам, которые продолжают резать друг друга? Молчите? Так вот: меня не интересует мнение вашего национального комитета. Я уеду отсюда только в том случае, если мне поставит это условие весь джамаат.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

А через неделю в ауле лютовал тиф. То из одного, то из другого двора доносились душераздирающие вопли женщин по покойнику, а узкая тропинка к кладбищу день ото дня становилась шире и скоро стала походить на проторенный годами путь к майдану.

Антон Никифорович не спал сутками, обходя больных. Но мог ли он почти в одиночку одолеть эпидемию? В беспомощности лежал его верный помощник Берали. Тиф косил всех, не разбирая, кто беден, кто богат, кто стар, кто молод.

В это страшное время Панаха не было в Ахтах. Вместе с матерью и сестрой он тайком унес ноги на далекое горное пастбище и поселился там в землянке. И близко не подпускал к землянке ни одного человека, завидев прохожего, кричал издали: «Кто еще умер в ауле? Уходи подальше, ты заразный!..» Впрочем, он боялся не только тифа, боялся людского гнева.

Прятался и наместник аллаха, скрывая свое бессилие пред ликом народной беды, народного горя. Умер кадий, как сотни и сотни аульчан.

Притихли турки в казармах русской крепости. По улицам и домам ходила незримая смерть.

И бился со смертью одинокий, слабо вооруженный человек — кашка-духтур.

Эпидемия в Ахтах пошла на спад — меньше стало смертей.

Тогда-то пришел и его черед, тиф повалил его самого.

Антон Никифорович шел мимо кладбища. Порывистый ветер шуршал опавшими листьями. Пахло увядшими цветами, травами и сырой землей. Шумел неумно Ахты-чай, в мертвенно-лунном свете прибрежные камни пели и плакали на разные лады.

Обессиленный, доктор опустился на землю. Сердце билось глухо, голова была тяжела, в висках ломило. Он не помнил, как очутился дома. Кажется, уже в постели в разгорающейся тифозной горячке сказал Абдулжалилу:

— Старайся подольше держать меня в прохладе... — и провалился в бредовое небытие.

Он не помнил, как приходил к нему веселый жизнелюбец Гаджимурад, приходил уже изнуренный болезнью, едва живой. Приходил прощаться.

— Ты заболел, брат Антон, это нехорошо... А я хотел рассказать тебе самый смешной случай в моей жизни... Джумала джахан свидетель, я спешил к тебе, вот как спешил... ты слышишь, брат?..

Доктор не видел и не слышал его. Гаджимурад печально улыбался запекшимися от жара губами.

— Как же ты, кашка-духтур? Как же ты? Мы, горцы, дорогой брат, знаем три стороны света: восток, юг и север... Запада мы не любим, там заходит солнце, там ночь, умирание жизни... Вот чего горец не любит! А разве ты не горец, брат? Я помню, как однажды в Баку был пожар на одной вышке, бросились тушить огонь все ребята... А в нашей долине сегодня горят сто вышек, но тушит пожар один человек, один ты, джумала джахан свидетель. Я говорю: ты... А ты лежишь... Как же так, кашка-духтур? Как же так?

И слег Гаджимурад у постели Антона Никифоровича, потому что иссякли его последние силы.

— Так уж повелось, нынче в доме весело, завтра горькие слезы... Куда входил со звоном барабан, туда придет и мяфа (Мяфа — носилки, на которых по мусульманским обычаям выносят покойника.), джумала джахан свидетель. Скажите моему брату, скажите кашке, чтобы он сам принес мяфу в мой дом — это мое последнее желание...

Глаза Гаджимурада закрылись навеки.

Много дней провела Алван у изголовья доктора, плакала и молилась. И Берали ни на минуту не уходил из докторского дома, и Абдулжалил. Многие, многие горцы из разных аулов сидели на пороге, дожидаясь, что скажут: жив или умер кашка-духтур?

А он все бредил, все звал и звал кого-то и повторял в бреду: «А что за жизнь, если жизнь жалеть ради жизни?..»

Наступил, однако, день, когда Антон Никифорович пришел в себя, увидел исхудавшую, измученную Алван, озабоченное и обрадованное лицо Берали, увидел друзей, которые не дали ему умереть, и впервые за несколько недель попросил у Абдулжалила... поесть.

Это был день радости и печали.

Узнал Антон Никифорович, что в Ахтах нет больше тифозных больных. Берали, его ученик, поднявшись после тифа, сумел заменить кашку-духтура. Немцы и турки проиграли войну. Нет больше турок в Ахтах, ушли восвояси, с ними удрал и пройдоха Панах. Узнал Антон Никифорович, что в Баку власть Советов и в горах уже не услышишь недоуменных вопросов, что такое власть рабочих и крестьян.

Но, уходя с Кавказа, турки оставили кровавый след. В Кюринском округе по приказу турецкого бея был расстрелян человек из аула Ахты.

Живуч был этот человек, и горд был этот человек, и турки долго не могли его убить. В него стреляли, а он стоял и пел... Он пел новую песню, неслыханную прежде в горах. Много истратили турки на него свинца, а он все пел, хрипя, стараясь подняться. И турки перестали стрелять, попятились. А человек все же поднялся и пел свою песню. Он допел ее до конца. Он пел, что это будет... последний... и решительный... бой...

Так умер Казимагомед Агасиев. Пойдите на то место, где его убивали, и вы услышите сейчас, через полвека его голос.

Узнал Антон Никифорович и то, как сторел рядом с ним Гаджимурад, и долго плакал, не стыдясь своих слез, мысленно называя дорогие имена: Гаджимурад... Казимагомед...

И думал он о том, что осиротели Ахты и сам он осиротел. Было у него два любимых брата, любил он их, и они его любили... Нет, не названные это братья — родные. И вот их не стало. Не стало двух сыновей у аула Ахты, у народа гор. Это были горячие и верные сердца.

А вскоре наступил день разлуки с кашка-духтуром.

По аулу летели тревожные слухи: «Доктор едет в Баку!»

На широкой улице, которая называлась Кладбищенской площадью и была свидетельницей многих событий, собралось много народу. У всех на устах было имя кашки-духтура.

— Хорошо провожать, если вернется назад... А вдруг не вернется?

— Попросим... Чтобы и не думал оставаться в Баку. Надо просить! Пусть будет нашим ангелом-хранителем до конца дней...

Решили — от всего джамаата белобородый Атакиши скажет кашке-духтуру нужное слово.

На улице появился фаэтон, им правил Берали. В фаэтоне сидел Абдулжалил.

— Берали, где же доктор? — спросил дед Атакиши.

— Сейчас придет, отец, видите, идет... хочет напоследок по нашим улицам пройтись...

Антон Никифорович подошел к народу, поклонился, многим пожал руки.

— До нас дошло — уезжаешь, сынок, поэтому мы и собрались, — сказал дед Атакиши, выступив вперед. — Говорят, твоя сестра Наташа тяжело больна. И наверное, тебе хочется посмотреть своими глазами, как живут твои русские братья. Они и нам братья тоже — счастливого тебе пути, да будет путь твой легок, как пух. Но помни, сынок, об одном: мы просим тебя... не оставляй нас... возвращайся... Столько лет мы делили с тобой хлеб и воду... Старики уступают тебе дорогу на улицах. Помни, ты в наших сердцах.

Антон Никифорович обнял деда.

— Ахты — моя вторая родина. Спасибо, Атакиши-буба. Я вернусь непременно, и мое сердце остается здесь, Абдулжалил будет открывать вам двери моего дома, а Берали принимать в лечебнице.

Доктор сел в фаэтон. Все аульчане сняли папахи и махали ими в воздухе; отцы, матери, сестры и братья кричали ему:

— Счастливого пути, кашка-духтур!

Алван стояла у школы. С хурджином на плече, наполненном всякой снедью, она ждала доктора. Все еще прекрасно было ее лицо, а в глазах — горе.

— Проводи меня немного... — сказал ей Антон Никифорович.

Ее посадили в фаэтон. Молча ехали до оврага, где кончались ахтынские земли и начиналась большая дорога.

— Ну, а теперь прощай, милая Алван... И ты, Берали, прощай... Ну, давайте по-русски...

И Антон Никифорович впервые в жизни поцеловал Алван.

— Ну, улыбнись... Улыбнись, чтобы в дороге мне было что вспомнить. Ну, веселее!

Алван, утирая слезы, сказала:

— Ты один уезжаешь, брат Антон, а для моего сердца весь аул опустел... Скоро вернется Джавад, он где-то в горах с партизанами. И тогда будет свадьба моего сына, которому ты дал имя. Смотри, приезжай... Эта дорога ведет туда, откуда всходит солнце, я каждое утро буду встречать тебя...

Алван подняла голову, торопливо смахнула слезы краем шали.

— Встречай, милая Алван... встречай, дорогая моя... — сказал ей Антон Никифорович.

Берали и Абдулжалил, сдерживая слезы, подошли к Антону Никифоровичу, и они крепко обнялись...

Фаэтон проехал по мосту, что над оврагом Гур. Антон Никифорович оглядывался назад, пока мог видеть шаль Алван, летящую по ветру. В душе его росло предчувствие неотвратимой утраты. Он долго смотрел на вершины седовласого Шалбуздага и сказал громко, потому что его никто не слышал:

— Горы, я верно служил вашим детям. Простите, если я что сделал не так, как надо было...
Эпилог

Багровое солнце медленно поднималось над землей Апшерона. Соленый ветер рябил темные воды Каспия; на берегу валялась рыба, водоросли, обломки разбитых штормом лодок.

В эти тихие часы раннего утра Антон Никифорович шел к морю. Он сел на камень, холодный и влажный, и долго смотрел вдаль.

Он вспоминал Ахты, горы и чистое синее небо над ними... Он снова смеялся с Гаджимурадом, спорил с Брусилиным, утешал Катю. И видел Алван...

А позади лежал город, подпирая небо сотнями черных вышек.

Бывшая столица нефтяных магнатов — Баку напоминал выздоравливающего больного. Только-только он оправился после приступа смертельной болезни. В магазине на главной улице кусками стекла латали разбитые пулями витрины, на тяжелых ломовых телегах везли школьные парты, на крыше бородатый печник выкладывал дымовую трубу взамен разбитой снарядом. Всюду толпились возбужденные люди, громко разговаривали, смеялись. Играли дети, гонялись друг за другом по мостовой. По улицам проходили вооруженные отряды матросов и рабочих. Да, зима была трудной, по всему Апшерону шла братоубийственная война. Мусаватисты, мечтавшие удержаться у власти на иностранных штыках, были особенно жестоки. Повсюду гуляли банды, они убивали, истязали, грабили.

Даже хозяин Наташиной квартиры, хотя и был рабочим нефтяных промыслов, оказался фанатиком. Боясь гнева мусульманского духовенства, он потребовал от Наташи покинуть дом.

Вряд ли удалось бы уговорить упрямого хозяина, если б не Абдулжалил. Он приехал из аула в ту трудную зиму. «Я нужен здесь, Наташа-ханум, — без долгих слов сказал Абдулжалил, — без меня разве доктор поест вовремя?» Как и доктор, Абдулжалил постарел, поседел. Щеки его, которые Антон Никифорович смеясь сравнивал с ахтынскими яблоками, пожелтели и впали. На плечах Абдулжалила висели тяжелые хурджины.

— Вы спрашиваете, как я добрался до этого кипящего котла? — рассказывал Абдулжалил. — Как всегда, по земле. Я лгал людям, брат Антон. А они помогли мне. Аллах да простит мне эту ложь. Встретишь в дороге обдуренных дашнаками армян, говоришь с ними по-армянски, я знаю их язык. Говорю: «Я армянин, там остались мои дети, хочу спасти их». Они не хотели пускать меня: «Тебя там мусульмане убьют», — кричат. Я говорю: «А на что мне жизнь, если я не увижу моих детей?..» Встречаю мусульман, ругаю дашнаков, именем аллаха заклинаю... Вот так я и шел. А что делать, доктор? Весь аул беспокоится о тебе.

С хозяином квартиры Абдулжалил поговорил коротко.

— Эти люди сделали нам, мусульманам, столько добра, сколько не сделали своим детям ни одни родители, свидетель аллах и свидетели мы — все лезгины Самура. Если ты посмеешь выгнать их на улицу, всевышний обрушит на тебя гнев свой. Астафирулла! Астафирулла! Астафирулла!

Спас Абдулжалил их и от голода в трудную зиму. Побывал во всех районах Баку: в Балаханах, в Сурханах, в Сабунчи, в Биби-Эйбате и нашел тех, кто, покинув Самурскую долину, работал на нефтяных промыслах. Все лезгины знали кашку-духтура, но мало кто знал, что доктор в Баку нуждается в помощи. И хотя люди жили бедно, многие с великой радостью отзывались на просьбу Абдулжалила. Конечно, Абдулжалил таился, скрывал свои походы, приносил деньги и убеждал Наташу, что ему удалось добыть их на базаре.

Антон Никифорович стал работать в Сабунчинской больнице. Было невероятно трудно: не хватало санитарок и врачей, не было лекарств и белья, не было угля и дров. Привозили раненых и больных партизан с Джалгандача, где они сражались с денкинцами, бандами дашнаков и мусаватистов. Доктор работал до тех пор, пока не падал от усталости, часто ночевал в своем кабинете.

Потом раненых стало меньше. Больницу отстроили заново, и в светлых ее стенах появились новые пациенты — простые рабочие люди, пропахшие нефтью. Они приходили к доктору Ефимову не только за помощью — со всеми своими бедами.

Всегда готовый откликнуться на зов о помощи, он выглядел, однако, не по годам старым: сердечная слабость после тифа давала о себе знать. Сердце теперь быстро утомлялось и стало огромным и тяжелым, временами ему в груди не хватало места. Жить на свете оставалось недолго.

И однажды случилось. Весенним утром на берегу Каспия. Со стороны города доносилась песня. Доктор оглянулся, отыскивая глазами певца. Пел молодой рабочий у новой буровой вышки, еще не почерневшей от непогоды и нефти.

Жизнь, ты блестяшь, как маленький осколок солнца,

И не затеряешься незаметной песчинкой,

Любовь, нежность моя и сила, всегда ты со мной,

И непустишь в сердце мое ни черную зависть,

Ни подлую измену...

Антон Никифорович хотел вернуться в город и вдруг почувствовал боль в сердце. Он постоял, ожидая, что приступ пройдет. Но боль становилась острее и острее. Он тихо опустил на землю. Сияло над ним безоблачное небо, пели в вышине невидимые жаворонки, где-то смеялись и кричали дети.

«Вот... здесь... суждено...» — подумал Антон Никифорович, лежа лицом вверх. И еще он подумал, что первыми увидят его мертвым дети, могут испугаться... А они приближались к нему с охапками маков и тюльпанов.

— Смотрите, дядя!

— Мои лучше! Мои лучше!

У него еще хватило сил улыбнуться им.

— Я сейчас... Я сейчас... — чуть слышно прошептал он, но дети уже бежали прочь, смеясь, ликуя, маленькие счастливые люди, только начинающие жизнь...

Весть о смерти доктора Ефимова быстро облетела Баку, и на следующий день в Сабунчи собралось множество народу — здесь были и лезгины, и армяне, и русские, и грузины, и татары... Одни пришли с работы, в запятнанных нефтью спецовках, другие — в черной траурной одежде. Многие несли цветы, многие плакали.

Огромная толпа стояла на улице перед крыльцом дома Ефимовых и перед открытыми окнами.

День выдался светлый и ясный, во всю свою майскую силу светило небо, горланили птицы — весна шла по земле. Но к часу, когда выносили тело Антона Никифоровича, внезапно подул резкий ветер, из-за гор выползли черные тучи, ударил гром и хлынул дождь, но никто не ушел и не укрывался от дождя.

Вынесли гроб, и печальная процессия тронулась к кладбищу. У горцев не принято, чтобы покойника несли старики — в последний путь человека несут сильные молодые люди. Правда, ноша не тяжела, но ведь для тех, кто любил ушедшего, — это самая тяжелая на земле ноша. И все же кашка-духтура несли и белобородые.

Наталья Ефимова, сестра доктора, и постаревший ссутулившийся Абдулжалил то и дело оглядывались, идя за гробом. Они ждали людей из аула Ахты. Телеграмму в аул послали тотчас же, как привезли Антона Никифоровича из-за города домой, — два дня назад. Телеграмму послали Алван...

Но вот и кладбище. Опущено в могилу бездыханное тело, приняла его земля. И когда надмогильный холмик скрылся под бесчисленными венками, у ворот кладбища раздался пронзительный женский крик.

Все повернулись к воротам и увидели женщину. Она бежала с распущенными волосами, судорожно прижав к груди руки; черное платье ее и красный платок рвал ветер. За ней бежал молодой джигит.

Люди расступились, и женщина упала на свежий холм, обняв его руками. Целую вечность она лежала так, словно мертвая. Наконец она встала и, приняв из рук своего старшего сына глиняный кувшин, стала поливать могилу родниковой водой. Таков был обычай. И летел над кладбищем надгробный плач горянки.

О брат любимый! Ты нас навсегда оставил,

Оставил жизнь и любовь, здоровье и счастье...

Без тебя будут журчать родники.

И весна и цветы — все без тебя...

О, горе мне, горе детям моим!

Они любили его,

Куда я дену тебя, мое горе?!

Ты превратило весну мою

В ад, опаленный огнем...

Погребальная песнь надрывала сердца, все плакали, мужчины и женщины. И те, кто близко знал доктора Ефимова, без слов, одними взглядами говорили друг другу, что эту женщину, единственную, всю свою жизнь любил кашка-духтур. Ей завещал проводить себя в последний путь. С ней он сегодня прощался.

Текст воспроизведен по изданию:
Кияс Меджидов. «Сердце оставленное в горах»
Москва, «Советская Россия», 1971

© Текст — Кияс Меджидов
© Scan — A.U.L. 2009
© OCR — A.U.L. 2009
© Сетевая версия — A.U.L. 09.2009. a-u-l.narod.ru
© «Советская Россия», 1971